

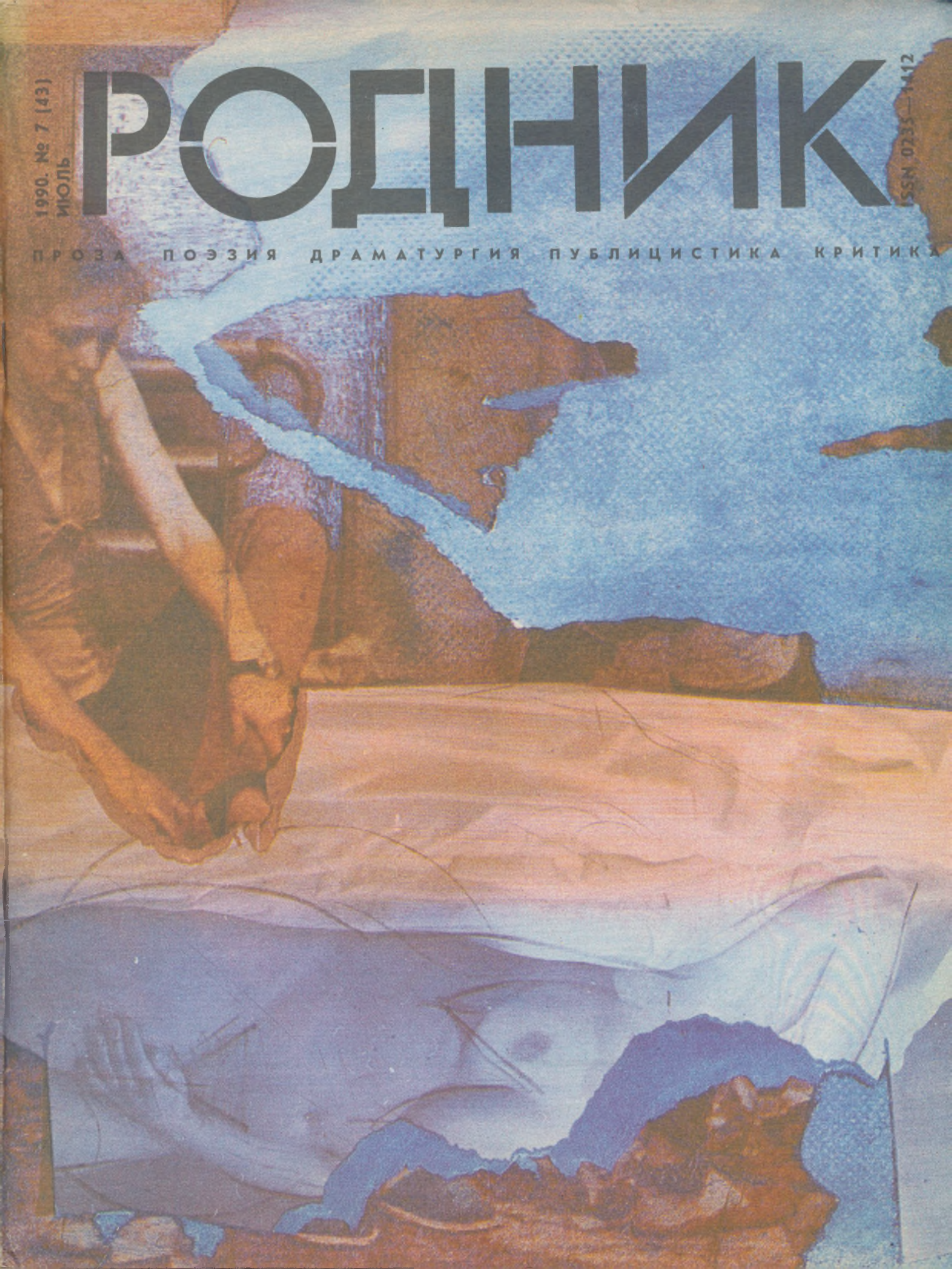
1990. № 7 (43)

ИЮЛЬ

РОДІННИК

ISSN 0233-1412

ПРОЗА ПОЕЗІЯ ДРАМАТУРГІЯ ПУБЛІЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
РУДИТЕ КАЛПИНЯ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИЛИЯ КРУГЛИКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

Сдано в набор 10.05.90. Подписано в печать 20.06.90. ЯТ 01356. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 21,5 уч. л. отт., 14,3 уч.-изд. л. Тираж 140 000 [на латышском языке 87 000, на русском языке 52 000]. Номер заказа 808. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, 3. АБОНЕНТНЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225654; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Клявис. «Я зову — отзовитесь!» (1)
Гундега Репше. «Черный стул» (10)
Андрис Жеберс. Стихи (14)
Леонид Могилев. «По последней»,
«Тот свет» (16)
Михаил Сухотин. Стихи (22)
Руслан Марсович. «Летать и плавать» (24)

КУЛЬТУРА

Беседа Екатерины Борщовой
со священником Иоанном Шенроком (32)
Гатис Гудетс и Айя Зариня (34)
Айварс Лейтис. «Белая ворона» (42)
Георгий Кизевальтер.
Монолог Анатолия Зверева (50)

ПУБЛИЦИСТИКА

Ирина Каменская.
«Полет над стеной нелюбви» (52)
Сергей Аскольдов. «Религиозный смысл
русской революции» (56)
Юрий Дружников. «Вознесение
Павлика Морозова» (63)

ЛИТЕРАТУРА

Марина Нижевасова.
Ольга Доренская. Стихи (72)
Зиновий Зиник. «Русская служба» (73)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС СМ. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

Я ЗОВУ—ОТЗОВИТЕСЬ!

Чем больше сопротивлялась Рудите, тем больше охватывало меня чувство, которое в книгах называют страстью. Собой я, честное слово, уже не владел. Я так завелся, что еще чуть-чуть, и совершил бы преступление. Хотелось силой заставить ее быть нежной. Хотелось целовать девушку, прижать ее к себе, ощутить тепло ее тела, ее ласку. Мне много чего хотелось, но руки хватили воздух, потому что Рудите сопротивлялась так отчаянно, что приходилось уклоняться — как бы она не заехала в глаз или не поцарапала лицо. Во всяком случае, в гневе она бы просто этого не заметила. По крайней мере, это бы ее не остановило. К счастью, мне наконец удалось схватить ее запястья левой рукой. Плечом я прижал ее к шкафу. Сопротивляться в таком положении она уже почти не могла, а если бы и захотела, тотчас потеряла бы равновесие. Правой я лихорадочно принялся расстегивать кофточку. То ли от волнения, то ли от испытанного раньше напряжения пальцы дрожали, и я никак не мог справиться с пуговицами. К счастью, их было не много.

Я стал ее целовать. Сначала в шею, потом расстегнул этот дурацкий лифчик и стал целовать грудь. Рудите не сопротивлялась. Стояла тихая и покорная, а мои губы неотвратимо приближались к кончикам ее груди.

Постепенно я и сам успокоился.

На свете ничего и никого больше не существовало. Только этот миг и мы двое. Я ощутил такой покой, что мне стало даже страшно. Покой во мне и покой вокруг меня.

— Пусти! Мне неудобно, — наконец произнесла Рудите.

Ясно, что ей было неудобно.

Я выпустил ее руки. Девушка обняла меня за шею, и наши тела слились. Слились плотно-плотно, так что я чувствовал ее живот, бедра, ноги. Я высвободил из блузки ее тоненькие плечи. Рудите вытащила сначала левую, потом правую руку, и одежда упала на пол.

Она стояла передо мной обнаженная по пояс, а я почему-то все время отводил глаза в сторону. Я испытывал какое-то чувство неловкости, словно стеснялся этой неготы.

Так она стояла передо мной, и в глазах ее не было и следа от прежнего упрямства. Наклонившись, я губами нашел ее губы. Моя рука легла на ее бедра, и я попробовал расстегнуть юбку. Это мне не удалось, так как я не знал, как расстегивается эта чертова юбка.

— Подожди, так ничего не получится, — сказала Рудите. — Пусти! Я сама.

Отступив в сторону, она расстегнула юбку, и та упала на пол. Потом она сняла трусики и бросила их рядом с юбкой.

В комнате снова повсюду валялись вещи.

«Зря убирала», — мелькнуло в голове.

Раздевшись, Рудите достала из бельевого ящика одеяло, простыни, подушки и принялась стелить постель. Молча я наблюдал за ней.

Линия шеи, изгиб спины. Маленькая круглая грудь. Большие, чуть темнее, чем остальная грудь, соски. Ослепительно-белые, не тронутые солнцем полоски вокруг кру-

ди и на бедрах. Тоненькие руки. Особенно в суставах. А ноги длинные и стройные. Красивые ноги, на что раньше я почему-то не обратил внимания.

Странно, вопреки логике меня возбуждали не белые, нетронутые солнцем полоски, а контрастирующее с ними темно-коричневое тело.

Рядом с нею я, должно быть, выглядел как бледная немочь. И вообще... вообще чувствовал я себя страшно неловко. Она была такая красивая, что просто страшно. Словно бы выточена из... Не знаю, из чего. Знаю только, что рядом с ней я выглядел неуклюжим, угловатым и вообще нескладехой. Словом, сконструировали меня кое-как.

— Долго ты еще собираешься стоять? — спросила Рудите, скользнув под одеяло.

Отвернувшись, я стал торопливо раздеваться. Пальцы дрожали еще сильнее, и я с трудом справился со своей одеждой.

Где-то на горизонте сгущилось горячее, темное облако. Оно стремительно приближалось.

Когда я лег рядом с Рудите, она сказала:

— Вот мы и вместе.

Я ответил:

— Да, вот мы и вместе.

Облако было уже совсем близко.

Ноги наши незаметно переплелись, и руки незаметно переплелись. В конце концов уже непонятно было, что кому принадлежит. Облако нас настигло. Горячее, удушливое, темное облако, пульсировавшее в такт ударам крови в висках.

Сейчас это должно было произойти.

Я ждал этого мгновения и все же боялся его. Я боялся и все же ждал. Я все отлично знал, но от волнения все забыл и не мог сообразить, что должен делать.

— Подожди, милый! Подожди, не торопись, — шептала Рудите. — Не так, Армандик! Теперь. Так... Вот так... Да, милый.

И замолчала. Только, приоткрыв губы, дышала мне прямо в ухо. Мы тесно прижались друг к другу. Тела наши слились в одно. Я судорожно дышал, ощутив на лбу мелкие, горячие капли пота.

С миром что-то вдруг случилось. Какой-то миг он принадлежал только нам двоим. Только нам. Яркая вспышка молнии. Облако раскололось. И осветило все вокруг ослепительным светом.

Мы утонули в небытии. Все вокруг исчезло, а может быть расступилось, давая дорогу.

Мы утонули — в этой темной, опаляющей огнем тьме. А когда вынырнули, были уже другими. Честное слово, другими, хотя внешне как будто ничего не изменилось.

— Милый, — тихо сказала Рудите.

— Да, — ответил я.

— Милый, — повторила она, переворачиваясь на живот и утыкаясь носом в подушку.

— Что? — спросил я.

— Ничего.

Я погладил ее по плечу.

— Жалко.

— Чего жалко? — Я снова не понял.

— Что ты у меня не первый.

— Какое это имеет значение?

(Продолжение. Нач. в № 2, 1990.)

— И я раньше думала, что не имеет значения. А сейчас вот поняла, что имеет.

Черт возьми, похоже, она сейчас заплачет.

— Не надо, Рудите, — сказал я. — Это не имеет никакого значения, — но в голосе уже не было прежней уверенности.

— Имеет! — упрямо повторила она. — И, к сожалению, я поняла это только сейчас. Поздно поняла. Я уже давно не девушка, я женщина.

— Да, — ответил я, потому что не знал, что сказать.

— Мне грустно.

— Перестань! Это не имеет никакого значения, если ты хоть капельку меня любишь.

— Люблю, Арманд, — сказала она. — И сама этому удивляюсь. Не понимаю, что со мной происходит.

После этих слов она замолчала. Я тоже молчал. Лежал на спине, смотрел в потолок и молчал. Рудите еще глубже вжала нос в подушку.

Так мы минут пять лежали и молчали.

Потом мне понадобилось в уборную. Я встал. Все мои комплексы исчезли, я больше не стеснялся, не испытывал чувства неловкости.

Пересекая комнату, заметил, что она за мной наблюдает.

Когда я вернулся, Рудите тоже встала и отправилась в ванную. Сквозь открытые двери я видел, как она остановилась перед зеркалом. Постояла минуту, с недоумением глядя на себя, потом откинула назад волосы и пошла.

Вернувшись, Рудите спросила:

— И все-таки, Арманд, почему ты такой?

— Какой?

— Я не знаю. Чем-то раздражаешь и в то же время сковаешь.

— Очень абстрактно. Нельзя ли поконкретней?

— Ну, все ты знаешь, правильный, волевой... Твердый как камень. Холодный и непробиваемый.

При этих словах она положила руку мне на живот и повторила:

— Да, твердый как камень.

— Действительно со мной так плохо?

— Еще как.

— Это ужасно.

— Понимаешь, рядом с тобой я чувствую себя такой ничтожной, жалкой, бессильной. Ты со своей суперправильностью вызываешь во мне комплекс неполноценности.

— Поэтому ты сегодня ссорилась со мной?

— Не знаю. Хочу понять, почему ты такой, а не другой.

— Черт его знает, — ответил я, обнимая Рудите и привлекая ее к себе.

— Скажи! — не отступала она.

— Может быть, потому, что у меня нет другого выхода, обстоятельства давят, — неопределенно сказал я.

— Опять этот выход. Ты просто помешался на всяких выходах.

— Каждый из нас на чем-то помешан.

— Когда ты говоришь — выход, я вижу темный кинозал, где над дверью горит красная лампочка с надписью «Выход».

— А вот я эту лампочку не вижу. Никто обо мне никогда не думал. Вот и сейчас нет никого, к кому б я мог обратиться за помощью. Мне даже не у кого попросить совета. Некому пожаловаться. Я один. Понимаешь? И надеяться я могу только на себя.

— Не строй из себя несчастного!

— И не думаю!

— Тогда не изображай из себя героя. Не один ты такой. И у меня то же самое. Тогда я про себя ругаюсь и посылаю их всех куда подальше. Ну, хорошо, хорошо. Не точно так, но почти так же, — торопливо добавила Рудите, глянув на меня. — Только не надо из этого делать трагедии. Это современная эпидемия, массовая болезнь — одиночество. Как скарлатина, коклюш или свинка в детстве. Ты болел?

— Не помню.

— Понимаешь, больно само время, и его надо лечить, и нельзя замыкаться в себе.

— Но ты же сама понимаешь, что все это пустые слова. Звучит красиво, но смысла нет. Возможно, тебе они помогают — посылаешь всех ко всем чертям и какое-то время счастлива. Я так не могу.

— Да кончай ты изображать из себя трагического героя! На нервы действует.

— Не изображаю я. Меня жизнь давным-давно поставила на место.

— Все равно, нечего из этого делать трагедию, а то, честное слово, повеситься охота.

— Я констатирую факт. Трагедию делаешь ты, бросаясь из одной крайности в другую.

— Может быть, может быть, — задумчиво сказала она. — Иду иногда по улице, а чувство такое, будто я на свете одна-одинешенька. Хоть бы знакомого какого встретить! А когда наконец встретишь — говорить не о чем. Ерунду молотим. Скажи — ну сколько так жить можно? Мерзость! И как эти взрослые от такой жизни давно не перемерли! Они этого не замечают или у них все по-другому?

— Чего не знаю, того не знаю. Ясно только одно — надо выдерживать. Хотя бы поодиночке. Но выдерживают сильные. Если бы я поддался, меня бы давно в порошок стерли, растоптали, перешагнули бы через меня и пошли бы себе дальше. Какое им дело до того, что случится потом. Остальное мое личное горе. Другим на это наплевать. Тем более в той яме, где я живу. Вот потому-то я и не даю сесте себе на голову ни в серьезных делах, ни в мелочах. Мне остается одно — изо всех сил бороться за себя.

— А у меня сил нету. Да еще одной... — сказала Рудите грустно. — Как бороться? С кем бороться? Со своими дурацкими предками, что ли?

Я вспомнил, как однажды зимним вечером ехал в переполненном троллейбусе.

На улице мело. Домой, как обычно, идти не хотелось, и я катался на троллейбусе, стоя возле дверей кабины и прижавшись носом к стеклу. Пассажиры входили и выходили. Меня толкали, давили. А я не сводил глаз с рук водителя, которые спокойно поворачивали руль, заставляя переполненный троллейбус лавировать по освещенным, зажатым белыми сугробами улицам. Я вспоминал недавнее прошлое, мать в кабине трамвая и себя рядом с ней.

На конечной остановке вышли последние пассажиры, их место заняли новые. А я продолжал неподвижно стоять возле окна кабины. Водителю это дело надоело. Он выскочил, чуть не сбив меня с ног, схватил за воротник и принялся трясти. И отчаянно ругать меня. Сказал, что меня давным-давно ждут дома, родители устали волноваться, а я знай себе катаюсь в троллейбусе. Еще он кричал, что не может работать, когда ему неотрывно смотрят на руки. Пассажиры его поддержали.

Так его, так. Стоит на дороге, выходить мешают. Ясно, что родители заждались. Бедные родители, сколько им волноваться приходится! Вот и мой тоже... Наподдайте ему как следует! Ремня такому, да по голой заднице, может быть, это поможет. Вначале воспитывать надо, а потом бить. Нет, вначале бить надо, а потом уж воспитывать. Сам был мальчишкой, знаю...

Пока одни пассажиры, стараясь перекричать друг друга, излагали свои педагогические установки, из-за чего в конечном счете все чуть не перессорились, другие вытолкали меня из теплого, уютного троллейбуса на улицу, насквозь продуваемую холодным резким ветром. Я спрятался в подворотне и от обиды заплакал. Меня охватило чувство такого одиночества, какое может испытать только мальчишка, которого дома, честное слово, никто не ждет. Размывая кулаком слезы, я бормотал, что вот вырасту большой, их тоже не стану жалеть. Никого не стану жалеть. Тогда они увидят! Пусть только дождутся, пока я вырасту!

— А может, я вовсе не такой? Может, я просто притворяюсь таким? Притворяюсь, чтобы как-то спасти себя. Трудно ведь одному, правда? Сама знаешь.

— Знаю, — ответила она. — Но теперь же ты не один.
— Как это не один?
— Не один.
— Почему это?
— А я . . . Теперь же у тебя есть я. А ты у меня. И я тоже уже не одна. Здорово, правда?

Она спряталась у меня под мышкой и принялась тихо сопеть. Как тогда, в такси. Я лежал на спине и смотрел в потолок.

Я видел луг, по которому стелился туман. Белыми плотными хлопьями. В серой пелене прятались кусты ольшаника на краю придорожной канавы. Вокруг была тишина, покой. Из-за горы, с соседнего хутора, отчетливо доносился скрип колодезного журавля. Колодца видно не было, и дома тоже не видно, зато были слышны звуки, говорившие о присутствии людей.

Из тумана, который плотными хлопьями стелился по лугу, появилась бабушка, ведущая на привязи корову. Корова, опустив голову, брела по мокрой траве. Они приближались медленно, медленно. Казалось — они никогда не дойдут.

«Это твои ниточки, мальчик, подумай прежде хорошенько, а уж потом связывай. За каждый узелок . . . за каждый узелок каждый сам отвечает», — сказала бабушка.

Но когда она произносила эти слова, я уже спал. Спал и ни о чем не думал.

А когда проснулся, внезапно ощутил, что мгновение, когда Рудите меня гладила — нежно и ласково — не кончилось. Оно длится. Длится во мне и будет длиться во мне всегда, и никто не сможет его у меня отнять. Силы такой на свете нет.

25

Наступил вторник.

И во вторник произошло невероятное. Наш класс взбунтовался. Класс, в котором до сих пор каждый был только сам за себя, в котором каждый жил своей жизнью, вдруг взял и взбунтовался.

Потом уже я не раз думал, почему это произошло. Но сколько-нибудь подходящего объяснения не нашел. Может быть, виновато недавнее лето? Летние настроения, которые не совсем еще позабылись, яркие летние краски, которые были еще живы в памяти, в то время как школьная жизнь постепенно входила в свой привычный ритм, напоминая о длинной черно-белой зиме? Или мы, из которых пытались сделать взрослых людей, наконец попытались перешагнуть порог детства? Время нас подгоняло, да мы и сами торопились. Быстрее, быстрее бы стать взрослыми.

Мы перешагнули порог детства и вступили в сложный противоречивый мир взрослых, и слова: «Вы же не дети, вы уже взрослые» — воспринимались гораздо болезненнее, чем раньше. Раньше мы их терпеть не могли — понимали, что нам врут. (Мы, правда, уже не были детьми, но не были еще и взрослыми.) А потом мы их возненавидели, потому что это становилось правдой. Да, тысячу раз да, мы повзрослели, мы осознавали свою силу, превосходство своей правды, но сделать-то все равно ничего не могли. И добиться ничего не могли. Нас называли взрослыми, но относились к нам по-прежнему как к детям. А постепенно это начинает действовать на нервы. Да еще как!

Скорее всего, бунт начался из-за того, что это противоречие взорвало наш замечательный класс, в котором, как в свое время выразилась Рита Петровна, каждый второй был личностью. Динамита было в избытке. Недоставало детонатора. И детонатором стал я.

Такой выходки от нашего класса никто не ждал. Да и мы сами от себя, пожалуй, не ждали. Это был стихийный бунт. Если судить с сегодняшних позиций, стихийный, хаотичный, немотивированный и нелогичный. Как и большинство бунтов молодого поколения.

Но все по порядку.

По дороге в школу чего-то мне вспомнилось, как в деся-

том классе мы участвовали в манифестации мира. Подумал об этом без всякой связи. Проходил мимо газетного киоска и вспомнил, как мы участвовали в манифестации мира.

Как же все было?

Уроки отменили. Неожиданно нам подарили выходной, так что у большинства, естественно, настроение было приподнятое, которое вряд ли соответствовало столь серьезному мероприятию, которое директор впоследствии назвала «нашим вкладом в акцию мира». Еще меньше соответствовали важности мероприятия те, кто пришел не в настроении и с первых же минут стал сомневаться в целесообразности происходящего, недовольно ворчал по поводу зря потраченного времени.

В коридоре раздавали заранее заготовленные плакаты, транспаранты и лозунги. Мара Арая, показывая пример, первой взяла плакат, наклеенный на картон и прикрепленный к деревянному шесту. Мартыньшу попался какой-то дилетантский рисунок — на белом листе бумаги перечеркнутая крест-накрест черная пузатая нейтронная бомба, а над ней слово «нет!». Этим плакатом, на котором была изображена, как он сказал, беременная маленьким бомбенком бомба, он стал терроризировать малышку Илону, пытаясь пристроиться ей в затылок. Будто бомба падает девушке на голову.

«Отвяжись, чокнутый! — сердилась Илона, бегая в толпе в поисках более спокойного места. — Жить не можешь без своих дурацких шуточек! Здоровый, как бык, а ума с гулькин нос».

«Я не дурачусь, народ должен знать, что твое счастливое будущее в моих надежных руках», — ржал Мартыньш, преследуя девушку.

На школьном дворе состоялся митинг. Толком ничего не было слышно, так как микрофон отсутствовал, да и ветром слова относилось в сторону. Митинг затянулся. Не до конца что-то продумали. Ветер пробирал до костей, и скептиков прибавилось. Переминаясь от холода с ноги на ногу, они умно рассуждали, теоретизировали.

«Что толку, — ворчали они недовольно. — Мы тут со своими плакатиками до утра можем стоять».

Еще они говорили о том, что ни один нормальный человек добровольно не согласится на бессмысленную смерть, что они в основном люди нормальные, и потому ясно как день — войны ни один здравомыслящий человек не хочет, только, к сожалению, вопрос войны и мира не в их компетенции и не зависит от их желания. Скептики говорили и о том, что вопрос слишком серьезный, чтобы ограничиться формальной болтовней, демонстрацией атрибутики или разыгрывать дешевую оперетту.

В чем-то они были, конечно, правы. Митинг на школьном дворе действительно проводился формально. Зато потом, когда с плакатами и транспарантами мы прошли по городу, пришли во Дворец спорта, где собрались тысячи таких, как мы, и начался настоящий митинг, это уже не выглядело формально. Была какая-то внутренняя напряженность и удивительный подъем. Вот, смотрите, мы все вместе! Вот как нас много!

Я вспомнил слова Иманта Зиедониса о том, что борьба за мир во всем мире — это прежде всего борьба каждого за себя в себе. С его точки зрения, это борьба не только против поджигателей войны, но и борьба за равновесие, ясность, порядок в себе и рядом. За самоусовершенствование и за человечность в самом себе. Главное — за человечность в себе. Но, мне кажется, многие этого не поняли.

Хотел я эти простейшие вещи втолковать ворчунам, но вовремя передумал. Кто я для них — лектор, политинформатор? Начнут еще издеваться. Пусть сами думают. Как же, интеллектуалы. Газеты читают, книги читают, рассуждать любят умно. Поэтому я, только когда меня спросили, вижу ли в происходящем смысл, ответил: «Вижу», — потому что меня поддерживали сказанные Зиедонисом слова.

Но одноклассникам, тем, кто с презрением выслушал мой ответ, сказать про эти слова я не мог. Захотят — сами найдут. Пусть ищут!

Мне кажется, в том, что во вторник по дороге в школу я вспомнил эту манифестацию, было какое-то предзнаменование.

Когда я вошел в класс, понял, что говорили обо мне. Доказательств не было, но я мог поспорить — они только что говорили обо мне.

С вами такое случалось? Не успеваеете вы войти, как тотчас разговоры умолкают, присутствующие многозначительно переглядываются, каждый вроде бы невинно занимается своим делом, но делает это чересчур подчеркнuto, подчеркнuto небрежно, и на мгновение воцаряется неловкая тишина. Все молчат. Что-то шуршит, что-то гремит, потом вдруг все разом приходят в себя и, пытаясь преодолеть неловкость, начинают говорить, перебивая друг друга, и нести всякую чепуху.

Со мной такое случилось по меньшей мере тысячу раз. И всегда я безошибочно знал, что до моего появления здесь обсуждалась моя скромная персона. В таких ситуациях я смело могу положиться на свой нос, хоть и некрасивый, но способный унюхать ситуацию на расстоянии.

То же самое произошло и во вторник утром, когда я, беспечно размахивая пластмассовым пакетом с тетрадьми, вошел в кабинет, где должен был быть урок, и сел рядом с Индрой. Только в то утро они не доиграли до конца. Тишина затянулась. Никто не произносил ни слова. Пауза становилась мучительной. Незаметно была перейдена какая-то невидимая грань. Наступил момент, когда притворяться и болтать пустяки было бы просто глупо. Это они поняли. Прервав бессмысленные занятия, одноклассники, словно сговорившись, устались на меня.

Первым не выдержал Мартыньш.

— Слушай, старик, это правда, что ты собираешься уходить из школы?

— Правда, — ответил я.

— Ты что, свихнулся?

Я сказал, что не свихнулся, но обстоятельства складываются так, что мне ничего другого не остается.

Не делай глупостей, Арманд! Что значит — не остается? Какие еще обстоятельства? Объясни толком! Мне кажется — он знает что говорит. Брось дурака валять, старик! Я, так, не стал бы тебе ничего объяснять. Бросить одиннадцатый класс... А я, например, хотела бы знать, что это за обстоятельства. Послушай, ты что, сдвинулся? Правильно делает. Помолчи, Агрис! Я бы тоже ушел, если б было куда. Зачем тебе это? Куда ты собираешься уходить?

Они кричали, перебивая друг друга. В классе стоял невообразимый шум.

Индра молчала.

Остальные требовали объяснить все до мельчайших подробностей. Гвалт грозил затянуться, как до того молчание. Пришлось все рассказать. Оказалось, о том, что случилось, можно рассказать за несколько минут.

О том, что матери крышка, о том, что меня обокрали, что в квартире нет электричества, что я на мели, ибо жить мне не на что, о том, что я не собираюсь бросать школу, хочу перейти в вечернюю, о том, что мне надо работать, о том... вот и все, больше рассказывать было не о чем. Об Индре я и не заикнулся. На этот вопрос у них наверняка была своя точка зрения. Даже если они и не знали подробностей, главное понимали.

Я рассказывал и видел, как буквально на глазах менялись лица моих одноклассников. Возмущение, вызванное непониманием, сменилось возмущением, вызванным сочувствием. Это прямо бросилось в глаза, когда я сказал, что меня не хотят отпускать из школы. Вот так-то, старики, не знаю, что и делать, жить как жил не могу, а отпускать не хотят. Препятствие на пути нешуточное. Одолеть не могу, и окольным путем не получается. Что будет дальше, ума не приложу. Вариантов тьма, но меня устраивает один-единственный. Сегодня же, сейчас хочу начать самостоятельную жизнь. Хочу пойти работать.

Примерно так я объяснил все ребятам.

Индра молчала. Она и была в классе, и как будто ее не было. Она слушала и смотрела, как я изворачиваюсь.

О чем она в это время думала, угадать я не смог.

Возмущение ребят действовало мне на нервы, как и неподдельное их сочувствие и вообще вся это неожиданно возникшая ситуация. Меня все раздражало. Оставили бы лучше меня в покое! Но что теперь изменишь! Бунт назрел. Он вспыхнул на следующий перемене, ибо вспыхнуть сию же минуту ему помешало появление учительницы. То есть — учительница вошла как раз вовремя. Начался урок.

Сорок пять минут класс сидел как на иголках. Зато уж на перемене начался настоящий кавардак. И в самом центре его против своей воли оказался я.

— Ишь чего вздумали! — воскликнул Мартыньш, как только учительница вышла из класса. — Ну и нахальство! Тоже мне, нашли сосунков, кого обвести вокруг пальца.

Это был стартовый выстрел, зеленая ракета в голубом небе. Извержение эмоций.

— Что за идиотские законы?

— Нет, вы скажите — кто это выдумал?

— Хотел бы я знать, где это записано?

— Это школа или тюрьма? — кричал Эджус.

— Школа с тюремным уклоном, — заметил какой-то остряк.

— Товарищи, дорогие, а где же добровольная тяга к знаниям?

— Мы же знаем Арманда. Учитя хорошо, поведение нормальное. Языком зря не мелет, как некоторые, — кажется, это произнесла Мара Арая.

— Поэтому его и не отпускают. Полюбили учителя старательного мальчика. Жаль расставаться.

— Да помолчи ты, Агрис!

— Чего это я должен все время молчать?

— Потому что все равно ничего умного не скажешь.

— А я хочу участвовать. Имею право голоса. Имею или нет?

Он старался всех перекричать, чем просто бесил ребят, которые к случившемуся отнеслись несерьезно. Некоторые смеялись. А были и такие, кому все это было вообще до лампочки, и они этого не скрывали.

— А может, Арманд, ты преувеличиваешь? Может, не так все страшно? — спросила малышка Илона.

— Поглядел бы я на тебя, если б твоя мамаша все без конца того... — Райво выразительно пощелкал себя по горлу.

— Эй, Дидзис, проснись! Что б ты сделал, если б тебя не отпускали?

— Куда? — не понял Дидзис. — Куда не пускали? Почему?

— Я бы... я... Если б они меня... — снова взревел Мартыньш. — Я бы их...

— Интересно, что бы ты сделал? — с иронией спросила Агита.

— Пусть только попробуют! Со мной связываться опасно. Потом бы сами пожалели! — Мартыньш вскочил, расправил плечи. — Я бы им показал! Не веришь?

— Верю. Ты просто лев, Мартыньш.

— По гороскопу он овца.

— А может быть, созвать комсомольское собрание, — размышляла вслух Мара Арая, — пригласить кого-нибудь из школьного комитета, из руководства?

— Лучше уж сразу написать в Организацию Объединенных Наций.

— Ты замолчишь, Агрис, в конце концов, или нет?

— А чего? Опять не так? Чем плохая идея?

— Я бы им показал, — продолжал пыхтеть Мартыньш. В запале он никак не мог придумать, что бы им такое показать.

Глупое предложение Мары окончательно вывело меня из себя.

— Да уймись ты, Мара, со своими собраниями!

— Что бы этот болван показал? — Агита фыркнула.

— Показал бы, что меня голыми руками не возьмешь.

— Вопрос — что делать? — не унималась Мара Арая. — Что-то ведь надо делать. Я считаю — это несправедливо.

— Ясно, что несправедливо.

— В очередной раз нам показали, как дешево они нас ценят.

— Как детсадовцев.

— А может быть не надо ничего делать, — сказала эта змея и неудавшаяся отличница Элина. — В конце концов учителям виднее. Раз они так решили — значит, они правы. Мы ничего не добьемся.

Эджус присвистнул сквозь пальцы.

— Долой оппортунистов! Да здравствует коллектив, которого у нас нет!

— Верно! Отойдем в сторонку и посмотрим, чем все это кончится, — большая Илона пыталась перекричать шум.

— Не надо. Я сам справлюсь. Все обойдется, — сказал я, но мои слова потонули во всеобщем гаме.

— Сейчас будет звонок, — напомнил кто-то.

— Товарищи, товарищи! Внимание! — Мара Арая встала перед классом, пытаясь навести порядок. — Внимание! Замолчите же наконец! Товарищи . . . Я считаю — мы не имеем права оставаться в стороне. Мы знаем Арманда. Что-то надо делать. Только вот что? У кого предложения?

Все вдруг замолчали.

Я открыл было рот, чтобы сказать, что делать ничего не надо, что я сам справлюсь, как заговорила Индра:

— Самое разумное втроем или вчетвером сходить к Рите Петровне, а еще лучше — к директору. Рассказать, что мы думаем, почему Арманд хочет уйти из школы. Сам Арманд ничего толком . . .

И она замолчала.

— Заодно узнайте, долго они еще собираются обращаться с нами как с младенцами, — крикнул кто-то сзади. — Я ж говорю, у нас школа с тюремным уклоном.

Прозвенел звонок.

Идея нашла поддержку.

На следующей переменке Мара Арая назначила делегацию, которую сама же и возглавила, и, сопровождаемые восторженными криками, ребята отправились к директору.

Дальнейшее происходило без моего участия. Вроде бы само собой, но и не совсем само собой. Я послужил поводом. Я мог быть, а мог и не быть. Мое мнение проигнорировали, с моей точкой зрения не очень-то посчитались. И чувствовал я себя препарируемо из-за того, что вся эта свара началась из-за Арманда Юркуса.

Делегация возвратилась в класс очень быстро. Вид у ребят был хмурый, все молчали. Потом уж выяснилось, что директор, узнав причину, которая привела к ней ребят, в кабинет пригласила одну Араю и как следует ее отчитала, а с остальными и разговаривать не стала — отправила обратно в класс.

Попытка подавить бунт в самом его зародыше только подлила масла в огонь. Разозлились даже те, кто вначале отнесся ко всему выжидающе, с иронией или вообще скептически.

— Это уж слишком, — возмутились ребята, и бунт, казавшийся вначале развлечением, приобрел серьезный характер.

— Так не останется, так оставаться не может, — мрачно продекламировал Мартыньш из Райниса.

— Да, мы созовем комсомольское собрание. В классе у нас все комсомольцы, — заявила Мара Арая.

— Да, завтра мы отправимся на штурм Бастилии, — передразнил ее Агрис.

Мара уповала на очередное собрание, она вообще считала их палочкой-выручалочкой, и я завидовал ее энергии, ее оптимизму, Маре и в голову не приходило сдаваться, хотя ситуация казалась безвыходной.

Странно, мы учились вместе десять лет, а я ее совершенно не знал. Не знал, вероятно, и еще некоторых, хотя каждое утро здоровался с ними, а после уроков прощался. По-настоящему узнавать одноклассников я стал с сегодняшнего дня. С того дня, когда делегация, хмурая и молчаливая возвратилась от директрисы.

— Да, созовем комсомольское собрание, примем

соответствующее решение, с этим решением пойдём в школьный комитет комсомола, затем к руководству школы. И мы своего добьемся! — ораторствовала Мара.

— Но пасаран! Они не пройдут! — вскочив на стул, воскликнул Мартыньш.

Перед последним уроком распространился слух о том, что завуч из-за меня перессорилась с директрисой.

Конфликт разрастался стремительно, и это было неожиданностью. Так же стремительно росло число его участников. Это был уже не только мой личный конфликт. Это даже не был конфликт между нашим классом и классной руководительницей или директором школы. Это было нечто большее. К тому же принципиально важное.

На следующий день класс демонстративно отказался писать сочинение. Не помню тему, но помню, что учительница написала на доске одно из тех идиотских двустушиш, которые якобы должны были настраивать нас на оптимистический лад, на философские раздумья о жизни. Существует целый ряд таких изречений. В них в общем-то никаких особых изъяснов нет. Нередко это строчки из очень хороших стихотворений. И вот эти строчки, а за ними и стихотворение умирают медленной смертью прямо на наших глазах, пока мы пишем сочинение. Изошренный садизм. Агония обычно длится минут девяносто. И когда мы заканчиваем писать, стихотворение, разорванное в клочки, больше не существует.

Возможно, учительница литературы считала, что эти строчки из стихотворения должны были пробудить в нас эмоциональную открытость. Возможно, таким образом она хотела пробудить в нас интерес к поэзии и поселить в душе тягу к прекрасному. Не знаю. Только ручаюсь, что таким способом ни черта нельзя добиться. И меньше всего, разумеется, эмоциональной открытости.

Стоило прочесть написанные на доске строчки, и ты сразу же понимал, чего от тебя хотят. Позиция учителя более или менее в них запрограммирована. И то, что нас призывают быть открытыми, честными, ровно ничего не значит. Совсем наоборот, под честностью и откровенностью предполагается совпадение твоих собственных мыслей, ненавязчиво, конечно, с жизненной позицией твоего учителя. И ты пишешь, обыгрывая слова поэта и так и эдак, где-то притворяясь, где-то привирая, к тому же без конца ловчишь, чтобы в конце концов свести концы с концами и чтобы ложь не очень колола глаза. Если тебе это удастся, есть надежды на приличную отметку.

Вот и в то утро литераторша, написав двустушише, призвала нас быть честными, откровенными и не мешкая приниматься за работу. Как назло, написанное, если вспомнить, что произошло вчера, звучало насмешкой. С нашей стороны логично было предположить, что сделала она это нарочно. Сейчас-то я так не думаю. Скорее это было случайное, но не очень счастлиное совпадение. Учительница литературы воспринимала жизнь чересчур романтично, идеализировала ее. Но тогда . . . О, тогда мы готовы были поклясться, что она над нами издевается — предлагает писать о самостоятельности, которой мы лишены.

Самые старательные девчонки схватились было за ручки, но когда в классе поднялся недовольный ропот и стало ясно, что большинство писать не собирается, тоже резко притормозили. С некоторым страхом, но с тем большим интересом ждали мы, чем все это кончится. На первом уроке били баклуши. Литераторша делала вид, что ничего не замечает. Но когда она поняла, что и вторые срок пять минут мы не собираемся ничего делать, принялась нас стыдить. Взывала к нашему чувству долга, к нашей совести, грозила двойками, кричала, пыталась уговаривать, а кончилось тем, что она заявила, что ничего подобного до сих пор в этой школе не случалось и ничего подобного нормальный человек даже представить себе не может, поэтому виновные понесут суровое наказание. Конец ее речи звучал неуверенно, истерично, зато у нас чувство собственного достоинства росло как на дрожжах.

Эффект был потрясающий. Мы добились того, чего хотели.

Следующим уроком была математика. Мы подготови-

лись к бою, ибо считали математика твердым орешком. В своей обычной манере, с низко опущенной головой, он влетел в класс и на ходу сообщил, что он в курсе дела.

— Здравствуй! Я в курсе дела, — сказал учитель.

Невольно мы заерзали.

Да, он в курсе дела, мы не должны удивляться, у него на этот счет своя точка зрения, о чем он уже поставил в известность руководство школы, ибо взрослые не всегда поступают разумно и справедливо. Но к математике это не имеет ни малейшего отношения. И мы обязаны с этим считаться.

Балиньш вел урок так, словно ничего не произошло. Вызывал к доске, щедро раздавал двойки и тройки, заставлял писать пятнадцатиминутную контрольную.

Надо было видеть, какая дисциплина, какая активность царили в классе. Непостижимо! Просто странно, откуда вдруг взялись такие сознательные и старательные ученики.

«Ни дать ни взять одержимые», — подумал я, когда урок кончился.

Зато на физике было весело.

Класс встретил Альгирта ледяным молчанием.

И он, расхаживая между столами, железно отчеканил:

— Немедленно прекратить демонстрацию! Меня не так-то просто выбить из равновесия.

А вот этого ему говорить не следовало. Нечего было притворяться — и так было видно, что у товарища учителя поджилки трясутся. О том, что было дальше, и вспоминать неохота. Мы впали в какой-то массовый психоз. Действия стали непредсказуемыми, необузданными, мы перешагнули черту дозволенного. Еще б чуть-чуть, и в воздух полетели книги и тетради. Если честно, и вспоминать не хочется.

Четверг начался с классного часа. Рита Петровна, сцепив руки на пышной груди, принялась нас воспитывать. Она нас стыдила, ругала, убеждала, уговаривала. В эти сорок пять минут классная превзошла саму себя, работая в полном диапазоне (на всех частотах и на всех волнах) — начиная с драматического шепота и кончая суровыми окриками. Имя Юркуса упоминалось через слово. Выяснилось, что я, с одной стороны, виноват, с другой — что меня ни в коем случае нельзя винить в происходящем. Но главное — когда я уйду из школы и уйду ли вообще — не выяснилось. Говорила она жутко туманно и ни о чем.

— В отношении Арманда пока ничего не известно, — сказала она. — Поймите же, это не решается за неделю.

— А когда конкретно будет известно? — спросил Райво.

По классу прошелестел шепот.

— И это пока неизвестно.

— Конкретно... Конкретно неизвестно, — поправил кто-то, и шепот перешел в приглушенный смех.

Когда мы смеялись, то и не предполагали, что пройдет всего несколько дней и Рита Петровна заговорит совсем по-другому. И вести себя будет иначе. Изменится и точка зрения школьного начальства. Но это уже никого из нас не удивит. Мы воспримем все как должное. Но за эти несколько дней произойдут события, которые нас не пощадят.

А на том классном часе мы и предположить этого не могли. На том классном часе Рита Петровна, воплощение искренности и материнской строгости и в то же время неопределенности, пыталась внушить нам, что мы еще школьники, хоть и выросли, поэтому без всяких возражений обязаны подчиняться школьным правилам, и вопросы, находящиеся в компетенции школьного руководства, должны предоставить решать самому руководству. Эти аргументы были ее последним козырем, ибо в них заключена была железная логика. И частично мамусик своего добились. После классного часа бунт пошел на убыль, иссяк, угас.

В пятницу в школу я не пошел.

Было неловко, что из-за меня началась вся эта заваруха. Что против своей воли, случайно я стал эпицентром школьной жизни.

И вообще... вообще мне совсем не хотелось идти

в школу. Мне ничего не хотелось. Абсолютно ничего. Полнейший нулевой вариант.

26.

На меня накатила жуткая апатия. Делать ничего не хотелось. С трудом заставил себя разыскать молоток и гвозди и починить сломанный замок. Работал стиснув зубы. В придачу этот чертов молоток все время слетал с ручки. Странно, как это я еще не изуродовал себя на всю жизнь. Самой малости не хватило. Тоже мне, летающая тарелка! Стоило размахнуться как следует, как мерзкая железяка со свистом взлетела в воздух, а я, втянув голову в плечи, ждал, где она приземлится.

Справившись с замком, я повалился на диван и лежал, стараясь ни о чем не думать.

Щепка, вырванная этими болванами вместе с замком и неумело прибитая мною, напоминала рану. Бледно-желтый порез или отвратительную рану, из которой вот-вот потечет гной, так как снаружи вид у нее был такой, будто она заживает, а внутри непременно было полно гноя. Она грозила лопнуть, стоило к ней прикоснуться, и густая липкая жидкость вытекла бы из разрушенной топором раны.

И хоть я старался не думать, подумал все-таки о Райво, который накануне пытался меня уговорить не бросать школу. Он сказал, что вопрос обсудил с товарищами по команде, с тренером, родителями. Большинство считает мой поступок скоропалительным. Выход можно найти из любого положения.

Легко рассуждать о выходе тем, кому никакого выхода искать не надо. Чужие люди. Что они знают! Судят с такой же легкостью, как физик. Но поставив Райво на одну доску с физиком я не мог — его простодушие разоружало.

Райво предложил, как он сам выразился, «несколько реальных вариантов».

Если нужны деньги, можно устроиться ночным сторожем к ним в клуб. Деньги не ахти какие, но работа костей не ломит, так как ночью ворота на замке, а по двору бегают собаки. Сторож должен вечером закрыть ворота, утром открыть — и все дела. Конечно, всю ночь надо торчать в клубе, но можно преспокойно храпеть рядом с телефоном.

Дальше. Если негде жить, можно перебраться к нему. Отец с матерью не возражают, да и до выпуска недалеко. Потом... Потом видно будет.

«До выпуска недалеко», — настаивал он.

«Да, меньше года», — сказал я.

«Восемь месяцев», — уточнил Райво.

Святая простота! У него совсем другие временные критерии. Для него восемь месяцев — пустяк. Если учесть, что зимой перерыв в соревнованиях, и полдюжины серьезных матчей не наберется. Для меня же восемь месяцев — туманное, покрытое мраком неизвестности будущее.

«Спасибо, старик!» — сказал я ему.

Похоже, Райво обиделся. Сначала расстроился, потом обиделся. Видно, ждал, что я тут же на все соглашусь. Он-то старался как мог. Старался, как для себя. Предложил то, что сам считал приемлемым, то, что считали разумным люди, с мнением которых он считался. Райво делал все совершенно бескорыстно.

Отрицать этого было нельзя, и я поспешно добавил:

«Нет, серьезно, большое спасибо. Огромное спасибо!».

(Прозвучало еще ироничней. К сожалению, в ту минуту я не нашел более подходящих слов.)

«Тьфу ты! — сплюнул я. — Я действительно тебе благодарен, не сердись, но я думаю — и ты на моем месте не принял бы этих предложений. И ты поступил бы так же».

«Почему?»

«Да потому что каждый должен сам найти свой вариант».

«Да не воображай ты! Почему ты не хочешь пойти сторожем?»

Все ему надо было вызнать, все до мельчайших подробностей!

«Потому . . . потому, что . . . потому . . .», — мялся я, так как не хотелось признаваться, что Райво, добрый парень Райво, старается напрасно.

Моя уклончивость задела его еще больше.

«Потому что мне это ничего не даст и ничего не изменит», — выдавил я наконец.

Райво поморщился и развел руками. Мол, делай как знаешь, я тебе ничего не навязываю. Мое дело предложить.

«Спасибо, старик!» — повторил я еще раз, в глубине души чувствуя себя виноватым.

На сей раз звучало вполне терпимо.

«Наивный Райво», — думал я, лежа на диване.

Как и учителя, он не понял, что меня не устраивают временные варианты. Абсолютно не устраивают временные варианты, как бы хороши они ни были. Ведь и так вся моя жизнь до этого была всего лишь временным вариантом, к тому же осточертевшим по горло. Дорогой неизвестно куда. Что это за «куда», и где это «куда» находится? Сколько можно идти, черт побери! Пора наконец куда-то прийти, дойти до конца, прочно встать на ноги. Внутренне я был готов к этому, чувствовал себя вполне взрослым и достаточно сильным. Обратного пути для меня не существовало. С каждым днем я все яснее понимал — как только перечеркну свою временную жизнь, навязанную мне жизнь, передо мной откроется возможность жить так, как живут все нормальные люди. Так, как я этого хочу. Значит, мое решение единственно правильное. И каждое препятствие только укрепляло меня в принятом решении, ибо двух правильных решений быть не может, как нельзя прожить две жизни.

«Решайся, Арманд Юркус! — сказал я себе. — Во всяком случае то, что предлагает Райво, добрые его предки и ребята из команды, может быть им и годится, но не подходит тебе. Ты, Арманд Юркус, должен бороться. Или бороться до конца или поднять ручки вверх, проиграть, и тогда все останется как прежде, и тогда, считай, тебя больше нет».

Уставясь в потолок, я вслух произнес:

«Ни черта! Не впервой, брат!», потому что подумал, что нет непреодолимых препятствий, а есть люди, которые не в силах одолеть конкретные обстоятельства.

Не ручаюсь, что я придумал это сам. Скорее, где-то вычитал или от кого-то услышал. Только сейчас до меня, наконец, дошел смысл этих слов. Не бывает безвыходных положений!

И я принялся ломать голову, что бы еще такое предпринять, чтобы не оказаться в проигрыше.

Вспомнил, как две инспекторши по делам несовершеннолетних увозили в школу-интернат Яниса и Элвиса. В конце концов я тоже ведь еще несовершеннолетний. А что если их разыскать? Хуже не будет, если я с ними поговорю. Точно! Расскажу про электричество, про то, что меня не отпускают из школы . . . Не занимаются же они только доставкой малышни в школы-интернаты. Вероятно, есть еще какие-то дела. Смутно припомнил что-то то ли об инспекции, то ли комиссии по делам несовершеннолетних. Не мог только вспомнить точное название. Зато слышал, что с разрешения комиссии в семнадцать лет можно жениться. Если так, то мое стремление к самостоятельности, мое желание пойти работать и учиться в вечерней школе для них не проблема. Не один же я такой на свете.

Я перестал изучать потолок и, энергично оттолкнувшись локтями, сел. Апатия прошла. Недолго думая, я встал и надел ботинки.

27.

Никак не пойму, отчего обычно получается все наоборот, а не так, как задумал.

Решишь, например, сходить вечером в кино, только

подумаешь, с каким удовольствием будешь сидеть в зале, как тут же выясняется, что билета не достать. Бессмысленно и идти. Как назло, именно в этот вечер и другие решают сходить в кино и на тот же самый фильм. Билетов на всех не хватит, и я обязательно окажусь как раз среди тех, кто останется с носом. В этом смысле я самый настоящий неудачник.

А если и удастся достать этот несчастный билет, то или в зале будет невыносимо жарко, сыро, душно, или за спиной непременно кто-то будет кашлять, или фильм — сплошная чушь, так что вечер так или иначе окажется испорчен.

Или так. Предположим, собрался я к человеку, с которым хочу поговорить по душам, иду, по дороге все обдумываю, что и как скажу, а придешь и выясняется, что у него нет настроения с тобой разговаривать. Он дурачится, острит или, наоборот, отвечает резко и грубо:

«Вот так-то, старик. Нет смысла дергаться. Чего ты психуешь?»

(Хотя я ничуть не дергаюсь, не психую, просто пришел с ним поговорить. А он вбил себе в голову, что я нервничаю, заикнулся на этом и все время меня успокаивает.)

Разговора не получается. Я понимаю, что пришел не вовремя. Ухожу как пришел — ни с чем.

Точно так же получилось и с желтой кошкой, которую я подарил Индре в день рождения. Целый месяц я восторгался будущим подарком, представлял, как Индра обрадуется, ужаснется, примется гладить пушистого зверя, прижмет его к щеке и все такое. А произошло совсем наоборот. Мой подарок она равнодушно сунула в общую кучу, а потом как с неба свалился этот хлюст Илгвар, я узнал правду и по тонкому прозрачному льду ушел, чтобы никогда больше не возвращаться.

Ушел, оставив наверху, на балконе, свою первую любовь.

Со мной всегда происходит все не так, как с другими, с нормальными людьми. А почему, ей богу, не понимаю.

На всякий случай по дороге в инспекцию по делам несовершеннолетних я перебрал все возможные варианты, готовя себя к любым неожиданностям. Продумал все от «здравствуйте» до «прощайте». Но произошло непредвиденное. Как всегда.

Не успел я перешагнуть порог, как женщина, сидевшая за столом, сердито спросила:

— Почему так поздно? Не мог раньше?

На женщине был кожаный пиджак, светло-коричневая блузка, в ушах болтались перламутровые серьги, точно такие, как были на Элине на Индрином дне рождения. В помещении пахло не то ландышами, не то липой, во всяком случае чем-то сладко-холодным. Сколько лет было женщине, не знаю. Не молодая, не старая. Лет так около тридцати. Лицо скорее грустное, чем серьезное. Помоему, она страшно старалась подчеркнуть, что она официальное лицо.

Ее я не знал. Она, во всяком случае, не приходила за Янисом и Элвисом.

Я опешил от столь неожиданного приема и застыл в дверях. Потом окинул взглядом помещение, но ничего заслуживающего внимания не нашел: два стула, обыкновенный письменный стол и шкаф.

— Думаешь, мне делать нечего? — сердито продолжало официальное лицо. — А я вот сижу тут целый день, тебя жду.

Потом, подняв голову от бумаг, которые она старательно перелистывала, взглянула на часы, взглянула на меня и поняла, что ошиблась.

— Прости, пожалуйста! — сказала женщина. — Я думала, наш Миша пришел.

— Здравствуйте! — пробормотал я, вытаскивая носовой платок и вытирая пот со лба. Распарился, пока шел.

— Здравствуй! — ответило официальное лицо, указывая на стул возле письменного стола.

На ее лице было написано разочарование — опять придется сидеть бог знает сколько, пока явится этот окаянный Миша.

Я пристроился на краешке стула.

— Инспектор по делам несовершеннолетних Лайма Оттовна Янсоне, — сказала женщина. — Ты ко мне?

— Не знаю. — Я неопределенно пожал плечами.

— Тебя кто-нибудь послал? Говори, не стесняйся! Я слушаю.

— Никто не посылал...

— И каким же ветром тебя сюда занесло? — слегка нервничая, перебила она.

— Никаким. Я сам пришел.

— Вижу, — сказала она и выжидательно посмотрела на меня.

Я тоже смотрел на нее. Впечатление было такое, словно инспектор только что вышла из парикмахерской и собиралась вечером в гости. Принаряженная, элегантная, сдержанная. Это меня смущало. В придачу еще этот сладкий аромат, витавший в воздухе. Когда я сел, понял, что духами пахнет именно от нее.

— Я слушаю, — обратилось ко мне официальное лицо.

Наконец я собрался с духом и стал рассказывать. О матери алкоголичке, о квартире без электричества, о Янисе, Элвисе, о том, что предоставлен сам себе с четвертого класса. В последние дни я так часто повторял свою историю, что сыпал словами, особенно не задумываясь.

— Постой! Как тебя зовут? — поинтересовалась инспектор.

— Арманд Юркус, — растерявшись, ответил я.

— В какой школе ты учишься? Где живешь? — допрос продолжался.

Я назвал номер школы и домашний адрес.

— В девятом классе? — уточнила она.

— Нет, в одиннадцатом.

Инспектор недовольно поерзала, и на меня снова пахнуло сладким холодным ароматом.

— Интересно, почему ты не состоишь у нас на учете?

— Не знаю. До сих пор я лично не имел никаких дел с милицией.

— Невероятно! Может быть, ты ошибаешься?

— Если бы я ошибался, я бы сюда не пришел.

— Верно! Но в это просто с трудом верится! Неужели ты не на учете? — недоверчиво спросила она. — Ладно, я тебя перебила. Продолжай!

И я стал рассказывать дальше. О сестре, о ее Янке, о пьянстве, которые собираются в квартире, о том, что в воскресенье вечером эти негодяи обокрали меня и что я хочу уйти из школы, чтобы начать работать, но меня не отпускают.

— Директор не отпускает, — закончил я. — Классная руководительница посоветовала и мысль об этом выбросить из головы до весны. После выпускного вечера смогу идти, куда захочу, а пока и говорить об этом нечего. Но если так будет продолжаться, я все равно до выпускного не выдержу. Ясней ясного.

И замолчал.

Если откровенно, рассказ этот надоел мне до чертиков. Никак не мог понять, почему до взрослых не доходит моя история. Зачем снова и снова повторять одно и то же? Зачем надо все это повторять миллион раз, если им хоть кол на голове теши?

К счастью, пока я рассказывал, несколько раз звонил телефон. Это давало передышку, не приходилось говорить все подряд, как тогда в классе. Об Индре я не сказал ни слова. Лайме Оттовне о существовании Индры и ее роли во всех этих событиях знать было не обязательно.

— Ну и дела! Где же ты был раньше? — спросила женщина за письменным столом.

Глупый вопрос, правда?

Где был, там и был. Жил неподалеку. Хотелось ответить вопросом на вопрос. А где она сама была раньше? Сидела в своем кабинете, это уж точно. Разнаряженная, элегантная, пахнущая ландышем и липовым цветом. Сидела и ждала всяких Миш. Ждала, что они сами придут. Тук, тук — а вот и мы!

Нет, серьезно, просто не терпелось спросить, где она сама была раньше.

— Послушай, а может быть ты все-таки у нас на учете? Только забыл или притворяешься, что забыл? — Янсоне все еще не верила, что я пришел сюда добровольно.

— Нет, честное слово!

— Странно. Если бы ты пришел в прошлом году, мы, возможно, сумели бы тебе помочь. А сейчас поздно, — сказала она.

Один раз я уже это слышал. Где? Когда? А-а, в субботу, в школе. Рита Петровна утверждала, что все было бы гораздо проще, если бы я решил уйти из школы год или два назад. Янсоне повторила ту же самую непонятную, лишнюю логику фразу.

— Почему? — спросил я. — Скажите мне — почему?

— Потому что слишком многие, дружок, заинтересованы в твоей судьбе. Заинтересованы в том, чтобы ты закончил школу, получил образование, стал... превратился... — она говорила как по книге. — Государство тратит огромные средства...

— Я знаю.

— Это хорошо, что ты знаешь. Государство потратило огромные средства, чтобы выучить тебя, — продолжала она, — ждет отдачи. Ждет знающего человека, а получается, ждет напрасно, ибо, когда до цели осталось полшага, ты не хочешь собраться с силами...

— Я хочу...

— Ты хочешь бросить школу и начать новую жизнь. Начать сначала, полагая, что так тебе будет легче. Ты ошибаешься, Арманд! Легче не будет. Будет труднее. Гораздо труднее, — говорила она как по писаному.

Просто плакать хотелось, до чего все было смешно.

«Что с этими взрослыми происходит? — думал я. — С ума они все посходили, что ли?»

Но официальное лицо не унималось:

— Сейчас ты думаешь, что будешь учиться в вечерней школе. Будущее кажется тебе прекрасным. Но пойдешь работать — появятся новые трудности. Не будет рядом с тобой людей, которые постоянно будут тебя подстегивать, контролировать, подбадривать. К нам такие, как ты, приходили и будут приходить. Ты, дружок, не первый и не последний. Так что мы знаем, чем все кончается. Останешься недоучкой, а пролитую воду решетом не соберешь.

— Не останусь, — возразил я.

— Положим, не останешься, но начнешь сомневаться. Не мотай головой, не мотай! Начнешь бегать с места на место в поисках легкой жизни. А это обычно и сводит с истинного пути. Мало разве у нас бездельников. Поэтому те, кто заботился о том, чтобы ты получил образование, имеют полное право требовать...

— Чего требовать, чего? — возмутился я не на шутку.

— До чего же ты нетерпеливый! Все вы нетерпеливые, а мы в принципе категорически возражаем против ухода из одиннадцатого класса дневной школы, — отчеканила она и тут же сменила тон на прежний, монотонный. — Поговорим откровенно — есть разница между знаниями, полученными в дневной школе и вечерней? Есть? Как ты считаешь?

Пришлось ответить утвердительно.

— Смотри-ка, знаешь, хоть и часа там не учился. — Она улыбнулась. — Директор, учителя тебя знают. Я Арманда Юркуса вижу в первый раз. Конечно, я попытаюсь выяснить, почему ты у нас не на учете, но помочь ничем не смогу.

Инспектор говорила со мной как с младенцем. Примирительно-дружеским тоном. Казалось, каждое слово взвешено, обдуманно. Скорее всего, произносила она их, вероятно, раз в сотый, так что знала все наизусть.

По виду женщина за письменным столом здорово отличалась от Риты Петровны. И держалась совсем иначе. Она не стискивала руки, прижимая их к груди, не декламировала фразы словно была на сцене, не прибегала к заговорщицкому шепоту и драматическим восклицаниям. Она сидела абсолютно спокойно, руки ее с коричневыми лакированными ногтями неподвижно лежали на полированной поверхности стола, словно бы она ждала, когда лак высох-

нет. К тому же с нескрываемым любопытством она смотрела на меня. И все-таки где-то в душе я чувствовал, что инспектор Янсоне смотрит на меня так же, как Рита Петровна.

— Скажи все-таки, что послужило поводом? — спросила она с деланным безразличием.

Мне показалось, Янсоне давно ждала подходящего момента, чтобы задать именно этот вопрос, поэтому безразличие и выглядело нарочитым.

— Чего? — не понял я.

— Того, что ты так вдруг решил уйти из школы.

— Я же рассказал.

— Не причиной, а поводом. Я, дружок, хочу знать повод. Ты чувствуешь разницу? Может быть, стал хуже учиться, поссорился, кто-то тебя в классе обидел, не понял. Ведь что-то же должно было произойти, чтоб ты вот так просто взял и решил уйти из школы?

Значит, инспектор по делам несовершеннолетних учуяла присутствие Индры.

— Ничего не случилось. Почему обязательно должно что-то случиться? Успехи нормальные, взаимопонимание на высоком уровне, — врал я.

Казалось, она тоже почувствовала, что я лгу, хотя сделала вид, что ни о чем не догадалась.

Товарищ Янсоне сказала, что все выяснит, не надо волноваться. Выяснит все о матери, сестре, квартире, братьях и прочем. Еще она пообещала связаться со школой. Позвонить директору, узнать ее точку зрения. И в районе имеет смысл позвонить. Потому что бы, что отдел народного образования в соответствующих случаях оказывает ученикам материальную помощь. Бывает это не часто, вот все и забыли о возможности получить пособие. Никто не просит, никому и не выделяют. Пора, наконец, положить этому конец. Денег немного, но деньги я обязательно получу.

Значит, я был «соответствующим случаем».

Меня начала бить мелкая дрожь. Инспектор позвонит в районе и попросит оказать материальную помощь одиннадцатикласснику Арманду Юркусу, у которого мать — хроническая алкоголичка. И я получу пособие, на которое до сих пор все чихали. Вот это радость, вот это счастье! Обеими руками я вцепился в стул. Не за пособием же я пришел! Пришел, чтобы мне помогли найти выход из возникшей ситуации, помогли разрешить неразрешимое. Я надеялся, я верил . . . А вместо этого мне обещают деньги. Как нищему. Вот тебе, мальчик, потому что ты «соответствующий случай». Случай среди сотни других в рабочих буднях инспектора.

Я не мог больше спокойно сидеть. Принялся ерзать, будто мне надо выйти.

Официальное лицо, товарищ Лайма Оттовна Янсоне, подозрительно посмотрела на меня и невозмутимо продолжала.

Если то, что я рассказал, соответствует действительности, она немедленно добьется от участкового, чтобы тот навел наконец в квартире порядок. То, что она только что слышала, просто настоящее безумие.

Я-то знал, что уж кто-кто, а Юрочка в нашем доме порядок не наведет. Зато инспекторша о Юрочке, мамашинном знакомом, говорила как о бог весть каком супермене.

Меня уже била дрожь. Казалось, даже стул трясется. Усилим воли я заставлял себя не думать, что я в ее жизни просто незначительный, проходной случай. Волшебный замок рухнул. События покатаются своим чередом. Мне, как и прежде, самому предстоит бороться с жизнью или смириться с той ситуацией, в которой я по воле случая оказался.

Я уже с трудом держался. Нервы, знаете, у меня ни к черту не годятся. И в такие минуты это особенно было заметно. Не нервы, а гнилые нитки.

— Что с тобой? — спросила женщина.

— Ничего, — сквозь зубы процедил я.

Наконец она произнесла:

— Пока ничем больше помочь не могу.

Она это сказала в надежде, что я тут же встану и уйду.

Но я уходить и не думал. Я продолжал сидеть, обеими руками вцепившись в стул. Как в лодке без весел, которую ветер гонит все дальше и дальше от берега. Бескрайняя свинцовая водная пустыня. И поблизости ни одной живой души. Я сидел, сидел, пока . . .

— Нет, вы можете мне помочь. Только вы можете мне помочь, — произнес я так убежденно, словно бы действительно знал как.

Скажу честно — ни черта я в тот момент не знал. Поэтому, честное слово, не знаю, почему так сказал. Может быть, потому что от Лаймы Оттовны исходило удивительное спокойствие, которое внушало доверие. Мне лично редко приходилось встречать людей, от которых бы исходило такое спокойствие.

— Нет, вы можете помочь, — настойчиво повторил я.

— К сожалению, не могу.

— Можете. В противном случае я все равно уйду из школы.

— Ты глянь, какой воинственный! Никуда ты не уйдешь.

— Уйду.

— Куда? — протяжно произнесла инспектор, и в голосе ее проступила насмешка. — Куда? Помни — в нашем распоряжении есть разные методы. Не захочешь учиться — заставим.

— Не заставите!

— И как еще заставим, дружок! Найдем школу, где не ты будешь распоряжаться собой.

Но и эти слова она произнесла без всякой злобы. Скорее в голосе чувствовалась усталость. Во всяком случае, мне так показалось.

— Хорошо! Тогда я с места отсюда не сдвинусь. Если хотите — можете сейчас же отправить меня в колонию. Пожалуйста!

Инспектор удивленно посмотрела на меня.

— Ты это серьезно?

— Совершенно серьезно.

— Глянь, какой герой — не пойду, останусь, с места не сдвинусь! Не такие герои здесь сиживали. Лучше не валяй дурака.

— Я не валяю дурака.

— Хочешь, чтобы тебе готовенькое преподнесли?

— Не хочу.

— Тогда отправляйся домой и позвони мне на следующей неделе.

— Никуда я не пойду, пока вы не придумаете, что делать.

Не знаю, откуда во мне взялось столько нахальства.

— Ах вот как! Не пойдешь . . .

— Не пойду!

— А ну-ка, подвинься!

Я вместе со стулом перебрался в угол, и она перестала меня замечать. Я сидел, скрестив ноги, и ждал, чем все кончится. Но ничего не происходило. Инспектор перебирала бумаги, что-то писала, делая вид, что меня нет в комнате.

Иногда звонил телефон.

Она брала трубку, говорила:

— Янсоне у телефона.

(Окончание следует)

Перевела с латышского
ЖАННА ЭЗИТ

ЧЕРНЫЙ СТУЛ

Моему умершему другу

От сухого потрескивания волос в полумраке комнаты было как-то не по себе. Леонора стояла у открытого, залитого вечерним небесным заревом окна и расчесывала их вот уж в который раз. Гнетуще грохотали трамваи, а в остальном — все казалось кукольным цирком. Интересно, есть такой на свете? Сегодня Макс, наконец, должен забрать свой портфель. Через окно доносились разрозненные голоса, гул толпы. Сквозь шум прорывался хриплый смех. Надоело. Все, все надоело. И слова, которые она сегодня услышит снова.

Леонора вышла в переднюю. Надо же внести в комнату черный дубовый стул, который Макс с Леонорой приобрели три года назад, чтобы иметь перед глазами свидетеля своей любви. Так пожелал Макс. Стул был чопорный, с чуть выгнутыми блестящими ножками и затейливой кружевной резьбой на спинке. Леонора сняла с него ведро с яблоками и занесла стул в комнату. Она вспомнила, как они, поссорившись, садились на этот стул — то Макс, то она. Они поклялись, что, садясь на этот стул, никогда не станут лгать. Не хотелось гадать, всегда ли так оно и было. Леонора вынула из тумбочки восстановитель для мебели и отполировала Судью фланелевой тряпочкой. Затем достала толстый оранжевый портфель Макса и водрузила на стул. Вид был внушительный. У дверей позвонили.

Макс стоял, большой и смущенный, в призрачном сумраке лестничной площадки; словно выведывая настроение Леоноры, он улыбнулся уголком рта:

— Добрый вечер.

— Наконец-то! — Она повернулась на каблуках и прошла в комнату.

«Сейчас начнется», — подумала Леонора, но вспомнила, как важно в таких случаях оставаться сдержанной, великодушной и гордой, чтобы все это сохранилось в памяти собеседника на веки веков.

Макс, вытерев ноги, вошел в комнату. Судья с усмешкой покосился на него, но Макс сделал вид, что ничего не замечает.

— Я трус. Просто не смог прийти, когда ты велела в прошлый раз. Таков уж я есть, — вызывающе просто признался он, пожав плечами.

Леонора догадалась, что Макс много раз твердил про себя эту фразу, прежде чем решился нажать кнопку звонка.

— Есть будешь?

— Нет, нет, нет, — с наигранной решимостью заявил он.

Леонора рассмеялась, довольная, и скрылась на кухне. Макс окинул комнату наметанным взглядом фотографа; кажется, Леонора пока что ни с кем не живет. Что за глупости лезут в голову! Макс ведь сам постоянно утверждал, что они предназначены друг другу самой судьбой, что отношения их не такие, как у обычных людей, которых он втайне презирал, боясь, как бы и его не причислили к таковым. Хотелось выпить. И сбросить чугунную тяжесть с сердца. Сбросить и вздохнуть свободно, как при первом появлении на свет, и кричать взахлеб — кричать до беспомыслия, чтобы доказать себе самому, что живой.

Странный запах приобрела комната, в которой он столько раз сидел, спал, ел, хворал. В ней пахло жареными гречками и хризантемами. Нет ни одного предмета, который бы подтверждал, что Макс когда-то был здесь своим.

Так со смертью хозяина умирают вещи. Лишь портфель на черном стуле. Очередной вызов.

— Нашла паштет из птицы. Вот бутерброды, сейчас вскипит чай, — сообщила Леонора, внося большую тарелку.

Макс вспомнил, как они, бывало, ночевали на узком, ржавом балконе и встречали утро под бесстыдно счастливым чириканьем птиц. Леонора вопросительно покосилась на него и поставила чашки — себе, как обычно, белую с щербинкой, Макс — синюю с золотыми звездочками.

— Судью ты, конечно, совершенно случайно поставила на середину комнаты? — усмехнулся Макс.

— Чай, — не ответив, заторопилась Леонора.

Стемнело. За окном вспыхнула вывеска цветочного магазина — сине-фиолетовые буквы и алая головка тюльпана. Макс включил лампу. Он чувствовал себя здесь как дома, хотя это никогда не был его дом. Макс знал запах кладовки, темную зябкость прихожей, всегда ликующее тепло комнаты. Он и представить себе не мог, чтобы Леонора вдруг стала жить где-то в другом месте, а сюда вселилась бы учительница-математичка на пенсии, с выводком кошек, или же по-дурацки рассироленная парочка молодоженов.

— Через месяц я уезжаю в деревню. Буду работать учительницей. Говорят, это лучший выход для страдающих душ, — улыбаясь, объявила вошедшая с чайником Леонора.

— Уж ты-то в жизни не пропадешь, всегда сумеешь устроиться, — угрюмо проговорил Макс.

— Не надо! Так много уже сказано, хуже быть не может.

Макс заметил, что Леонора надела его любимый джемпер, в котором она казалась особенно хрупкой. Они молча пили чай, и Макс съел все бутерброды с паштетом из птицы.

— Какая ты все-таки эгоистка! Бросить мать, университет. В деревне, понятно, легче выйти замуж, только не думай, что там разводят мальчиков на побегушках с цыплячьими мозгами, — говорил Макс, тщательно вытирая губы платком.

Прямые брови Леоноры опасно напряглись, она долгим, педантичным взглядом прошупывала лицо Макса — словно косметолог, которому важно определить род операции. Он пополнил. Какое несоответствие общепризнанному образу страдальца!

— Не посидеть ли нам на Судье? — внезапно спросила Леонора.

— Ну, нет! Я устал от всего, брось задираться!

— В твоей жизни было мало правды. От этого, действительно, устают.

— Что бы ты ни сказала, это всегда так правильно. Просто кошмар. Я устал, слышишь? — Макс жестикулировал, как провинциальный актер, размахивая длинными, немного вялыми руками. Он напоминал сломанную клетку, в которой издох и сам хозяин, грозный тигр. Подошли ближе — оказалось, что в клетке просто опрокинутое чучело. А все боялись.

— Подойди ближе! — Макс протянул к ней руку.

Леонора не тронулась с места, хотя от искушения щекотало под ложечкой. Упасть в его объятия, как в облачную кашу, не дышать, не знать, который час, не знать, кем

они стали теперь. Макс вздохнул. Чего доброго, заплачет. Как тогда — у Леоноры умер отец, а Макс слег с третьим воспалением легких, которое повергло его в глубокую депрессию. В день похорон Макс, обнимая ее колени, молил, чтобы она осталась, не уходила, иначе и он умрет. Они любили друг друга словно сквозь еле сдерживаемые слезы; и боль, и все остальное казалось таким вздравдающим. Все было мучительно, все было живо. Лишь изредка внешняя жизнь грозно, как гулкий удар молота по днищу котла, давала понять, что вечно так продолжаться не может. Слишком взавправду, слишком односторонне, чтобы продолжаться вечно. После похорон оба мучились угрызениями совести, потому что Леонора осталась-таки с Максом и весь день слушала, как он сипло дышит во сне, не осознавая, что она рядом. Так впервые в священную обитель, воздвигнутую только их воображением и опытом, вторглась какая-то иная правда. В тот день они остались в своем мирке одни. Макс не чувствовал, что рядом Леонора, у которой умер единственный друг, а Леонора не видела, что Макс просто спит. После они ходили на кладбище каждый день. Макс договорился об установке памятника из пепельно-серого камня и об уходе за могилой.

— Говорят, у тебя молодая любовница, — бросила Леонора, внутренне кляня себя за пошловато-театральную фразу.

— Что за глупости! — искренне возмущился Макс. — Зачем так примитивно? Ты же знаешь — все женщины тупы, и я этого не переносу. Одна ты не была дурехой.

— Верно, совсем забыла. Только теперь тебе придется любить мужчин, потому что я уже не в счет, — с удовольствием съязвила Леонора. Макс напоминал старого доброго героя романов: статный, смешно возбужденный, с упавшей на лоб небрежной прядью волос — как и подобает положительному герою.

— Что ты вечно клеишь мне какие-то извращения? Может, и придется, и буду любить.

Леонора была рада, что может не орать во все горло, как дуреха, а держит себя в руках, как и следует неповторимой женщине.

— Ты не представляешь, как хорошо мне сейчас! С каждым днем я все больше ощущаю свою принадлежность к миру, это совсем не то, что принадлежать одному человеку. — Глаза Леоноры полыхнули ясным, чистым огнем. Она говорила правду, но та, словно нож мясорубки, крутилась в воспоминаниях, терзая и выбрасывая лишнее, неискреннее, заодно задевая и неприкосновенное.

— Выпьем еще чаю. Это зверобой, очень полезный, — предложила Леонора.

— До чего же ты холодна! Как я раньше этого не замечал? Послушай, может, ты никогда и не была счастлива со мной? — В глазах Макса блеснули колючие, недобрые лучи, знакомые ей по старым ссорам, когда каждый в поте лица отстаивал перед вторым достоинством своих родителей. Леоноре вспомнилась мать Макса, которая всякий раз, когда они приезжали погостить денек-другой, по ночам симулировала бессонницу или головную боль, не позволяя им ничего сказать друг другу — ни словами, ни объятиями. Мать спала в одной комнате с ними и по утрам дергала Макса за ногу, чтобы тот перестал валяться и не мучил Леонору, — она, бедняжка, и без того плохо выглядит. Временами Леоноре становилось жаль матери, которая жила в деревне совсем одна, вязала Максус свитера и копила десятками. Однако доверчивость и уступчивость Макса взвинчивали Леонору до истерии. Она заметила, что в доме у матери минуты близости вызывали у нее отвращение, словно Макс становился бесполом существом. А в городе их отношения снова будто баюкались в райских простынях, и снова все было впервые и взавправду.

— Ты привык к слишком большому жару, потому-то тебе обычная температура кажется холодом, — возразила Леонора, злорадно зацепив взглядом шерстяные носки Макса. Новые. Два месяца назад у него таких еще не

было. Значит, мать связала. На радостях или в знак сочувствия?

Макс пропустил колкость мимо ушей. Помолчав, спросил:

— Послушай, ты, конечно, осмотрела содержимое моего портфеля?

— Да как ты смеешь? Вечно обо всех судишь по себе. — Она поймала себя на том, что затевает изнурительную перепалку, и сдержалась.

Макс встал и, порывшись в портфеле, вытащил черный конверт. Затем вынул из него десятка два фотографий и протянул Леоноре. Она узнала их.

Она — у моря в белых парусиновых брюках, она — голая среди комнат, она — в соломенной шляпе, она — утром, спросонья, она — с ведром яблок (тем самым, что недавно сняла с Судьи), она — с Максовой матерью на цветочной грядке, она — плачущая на черном стуле.

Леонора опустила руки.

— Зверь! Ты все это нарочно приготовил для того момента, когда мы расстанемся. Какая же ты свинья! — Она швырнула фотографии Максус в лицо.

— Тебе надо лечить нервы, — сдержанно проговорил он и собрал фотографии. Леонора тут же взяла себя в руки и театрально провозгласила:

— Назовем твою персональную выставку — «Страсть и страдания моей бывшей возлюбленной!»

Он со вздохом обнял Леонору. Она немного помедлила, затем стряхнула его руки и деловито заявила:

— Послушай, Макс, надо избавиться от Судьи! От него ведь больше нет никакого проку. Но пока он жив, я не могу быть спокойной.

— Не дурачься, — ушел от ответа Макс, его пугали такие перехлесты, он просто не умел в них ориентироваться.

— На самом-то деле все легко и просто, Макс. И все же один человек, конечно, писатель, счел нужным сказать: «Жизнь легка и забавна. Однако старайся принимать ее всерьез, пока не научился улыбаться над нею». Как ты считаешь, почему он это сказал?

— Ты слишком много думаешь. — Макс недовольно покачал головой.

— Твоя мама никогда не задумывалась над вещами, которые приводят меня в отчаяние, — но жила ли она? — вспыхнув, бросила Леонора.

— Оставь ты ее в покое! Она не может быть такой, как ты. И все-таки она живет гораздо более полнокровной жизнью. Она никого не предала, хотя и не умеет выражаться такими литературными каламбурами, как ты, — еле сдерживаясь, парировал Макс.

— Жаль, что ты удивительно мало унаследовал от нее, — желчно выдавила Леонора и сама испугалась своей бабской банальности, которую Макс так ненавидел.

— Знаешь что? — Макс вскочил. — Мы закончим все это чуть-чуть иначе, чем обычные люди. Отпразднуем! Я иду за такси, собери рюкзак, прихвати палатку и поедем — хотя бы недалеко, в Саулкрасты. Дьявольское настроение!

Макс набросил на плечи плащ и выбежал на улицу.

Леонора машинально вынула из шкафа потасканные джинсы, побросала в мешок одеяла, спички, несколько яблок и шерстяные носки. Обычные люди. Макс подозрительно часто их упоминал, спасаясь от них, как от волчьей стаи. Обычные люди работали от звонка до звонка, носили платья в горошек и широкие галстуки, когда это не было модно. Это были люди, которые не падали на колени перед искусством и красотой, они не знали ни художницу Майю Табаку, ни знаменитых манекенщиц, они не силились улыбаться, когда их тошнило, и не молчали с глубокомысленным видом, если музыка Шнитке казалась им смешной. Обычное в доме у матери Макса было своего рода экзотикой, однако выносить ее дольше, чем три дня, им было неважно. Слишком назойливыми казались старая, словно из тьмы веков, натопленная кухня, бельевая веревка над лежанкой с вымокшими в снегу носками, исполощенный и беспомощный голос матери, когда она заговаривала о денежной нужде. Слишком назойливо все

здесь давало понять, что Макс тоже обычный человек, и что Леонора непременно это заметит. Сладко уколола мысль, что именно те минуты, когда Макс был взбудоражен, когда он раскрывался как живое существо, были для нее всего дороже. Отпраздновать разрыв в Саулкрастах! Как в заграничном кино, — там обычное встретишь разве лишь в шедеврах. А они оба далеко не шедевры, нет, это Леонора осознала. Будни были хлебом, и заменить праздничное вино водой из крана им не хотелось. Правда, когда-то Макс мечтал о совершенно другом «меню», но Леонора инстинктивно гнала от себя даже мысль о семье. Не потому, что была нелюбима. Всею виной был страх перед концом, перед самым обыкновенным финалом. И — боязнь застрять на одном месте, остановиться, что означало бы утрату в их отношениях тех зыбких, романтически окрашенных и вместе с тем чуть-чуть театральных завес, которые оба они раздвигали в священном трепете. Может быть, она не верила, что вода из крана способна утолить жажду? Раздался звонок. В дверях улыбался запыхавшийся Макс.

— Готова?

— Да.

Усаживаясь в такси, Леонора вдруг спохватилась и бегом помчалась в квартиру, чтобы через минуту возвратиться с Судьей в одной руке и завернутой в полотенце бутылкой коньяка в другой.

— Пожалуйста, нельзя ли пристроить это в багажнике?

Казалось, Леонора чем-то воодушевлена, так она сияет и ребячится. Макс молча наблюдал за ее нарочито активной суетой.

— Ты разбогател. Наверное, подрабатываешь на свадьбах, — только и сказала Леонора, когда он вышел из магазина с кучей покупок. Он довольно улыбался, радуясь, что Леонора едет с ним, что она послушна. Это всегда доставляло ему удовольствие. Макс мог убедить Леонору посмотреть за один вечер два спектакля, первое действие в одном театре, последнее — в другом. Ритм эпохи вынуждает человека получать наслаждение от искусства даже по его черепкам. Это развивает воображение. Так дразнил ее Макс, когда Леонора сердилась и требовала досмотреть спектакль до конца. Однажды Леонора заметила ему, что и человеческие отношения можно упростить до одного действия, пусть дальнейшее дорисовывает фантазия. В роли человека, повелевающего обстоятельствами, Макс ощущал себя мужчиной — сильным, уверенным. Удавалось это не часто: чтобы заставить Леонору покориться, приходилось делать по три-четыре обманных хода. Оба уставали от увлекательной, но ранящей охотничьей игры, хотя она и была средством спасения от будней и от раковины с посудой.

В такси Макс нашел руку Леоноры, на миг задержал в своей. Она сделала вид, что ничего не заметила. Леонора напоминала ему птицу, которая покинула гнездо, но вместе с тем утратила свое самое естественное свойство — способность летать. Тут Макс вдруг почувствовал во рту вкус паштета из птицы и мысленно проклял вегетарианцев, которые, конечно, переносят подобные повороты в жизни без отрывок от парадоксов.

Через полчаса они вышли и, обвешанные вещами, побрели в дюны.

— Ты невозможен, — с еле уловимым упреком сказала Леонора.

— Сейчас все будет хорошо.

Как часто Макс повторял эти слова, утешая ее! И когда Леонора просыпалась от жутких снов, и после смерти отца, когда она осталась совершенно беспомощная, одна, без денег и поддержки. Временами и вправду бывало хорошо. Особенно — когда Макс, укутав ее в одеяло, грел под мышкой, когда оба мечтали о вечном лете: они собирались путешествовать, любить, совершать большие дела, воспитывать детей вне семейных оков, быть свободными, прекрасными и богатыми. Так они целые вечера напролет предавались мечтам, питаясь макаронами с зеленым сыром. Леонора попробовала представить себе, сколько детей уже могло бы у них быть. Это сладкое слово — свобода! Некий

всемогущий разум остановил ее, и она солгала, впервые усевшись на черный стул. Солгала молчанием, скрыв, что ей хочется бежать, не дожидаясь того часа, когда картонная бутафория рухнет, когда все станет обычным, мелким и злым, когда ниоткуда вдруг возникнут весы и меры для того, чтобы судить в другом свои собственные ошибки.

Леонора переспала с самым обычным студентом, чтобы хоть что-то изменить. Ничего не произошло. Соблазн продлить прежние невесомые отношения вызвал у них с Максом новую волну страсти. Они будто начали все с начала: букеты цветов по утрам, выезды в непо потревоженные людьми места, безденежье, которое они переносили с веселой беспечностью, и тайное ожидание, что вот-вот придет незнакомый, всемогущий бог и превратит их в настоящих людей, добавит не то крохотный винтик, не то золотую пылинку, которых им недостает. Макс все реже заводил дискуссии по поводу обычных людей. В молчании обнимали они друг друга все угрюмей и крепче.

— Зачем ты взяла Судью? — спросил Макс, разворачивая палатку.

— Мы его сожжем, — ответила Леонора. Она откупила коньяк и выпила глоток — прямо из бутылки.

— Не пей!

— Надо, Макс. Не бойся, я сейчас не наговорю тебе глупостей, как в тот раз, когда мы растались. Я сказала тогда, что прощаюсь с тобой, не любя, а сейчас говорю: любя. Это гораздо серьезней. — Леонора сделала еще глоток.

Неподвижное море серебристым вечерним платьем облегло белые плечи песчаных дюн. Камни, казалось, стояли в полутьме. Может, это ветер? Нет, ветра не было, море смущенно замерло.

— Разведи огонь! — торопила Леонора.

Что-то подстегивало ее поскорее избавиться от черного стула, контуры которого призрачно проступали на сгустившемся темном небе. Казалось, стул дрожит в неуверенности, как живое существо. Крупная фигура Макса поодаль то и дело склонялась к песку; они собирали на растопку взлелеянные морем, но, видно, ставшие лишними и выброшенные на берег обломки дерева.

— У нас нет ни клочка бумаги, — обеспокоенно шарила в вещах Леонора.

— Надо попробовать просто так. — Но сколько Макс ни пыхтел и ни чертыхался, его старания разжечь огонь были напрасны.

— Я придумала! — воскликнула Леонора, схватила спички и вынула из Максова портфеля пакет с фотографиями.

— Можно и пожертвовать какую-нибудь, — сказала она и вытащила одну не глядя.

— Для тебя ничего больше не свято. Ты все разорила, ничего не осталось. — Макс потрясенно глядел на Леонору.

Она промолчала и, засунув фотографию в дрова, чиркнула спичкой. Синее шипящее пламя слизывало ее фигуру в Максвом пиджаке, смеющийся рот, сияющие глаза. Костер, наконец, разгорелся. Леонора встала, обняла Макса и сунула голову ему под мышку.

— Мы еще держимся! — Она отпрянула, легко погладила его по щеке. — Брось сантименты. Довольно. Теперь мы — обычные люди.

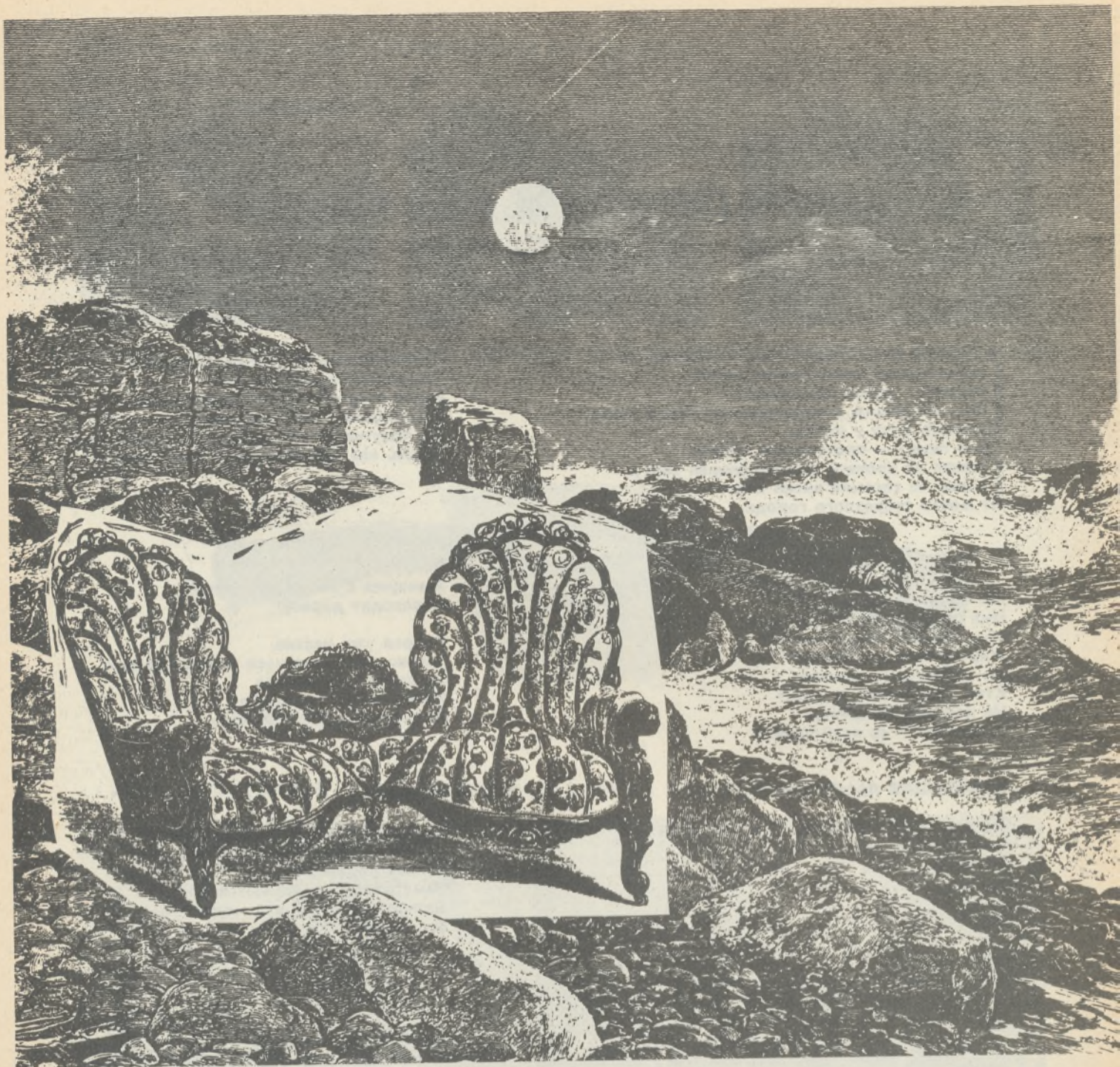
— Пожалуйста, не притворяйся! Когда-нибудь в старости нам будет стыдно вспомнить эти дни. — проговорил Макс, нанизывая на прут надрезанные по спирали сосиски.

— Я никогда не буду старой, ты же знаешь. Не с чем будет сравнивать.

Костер разгорелся ярче, и вся окрестность — с узловатыми стволами сосен, освещивающими лбами камней и таинственной матовостью песка — сомкнулась вокруг изжелта-красного, будто ядовитого, огненного клубка.

— Пора, — сказала Леонора и водрузила Судью на костер.

— Ни ты, ни я не знали, что значит терять, что значит заботиться о чем-то. Три года мы спорим об ответственности, о гуманизации мира, о боге, который жив в че-



ловеческих отношениях, о том, что во имя правды можно даже умереть. Ни черта! Все это бессмыслица, — словно самому себе, говорил Макс.

— Ты ведь человек без направления, а значит, исключение. Вот мы и исключили из дарованного нам природой все — чтобы не осталось ничего.

— Но природа кроме всего прочего дала нам предопределение, — жестко возразил Макс, стараясь не глядеть Леоноре в глаза.

Оба умолкли и продолжали наблюдать происходящее, как смотрят кинофильм. Пламя грызло гнутые ножки Судьи, понемногу, но с жадностью присасываясь к сиденью.

— Больно? — спросила Леонора, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик.

Макс ничего не сказал. Он пил коньяк.

— А теперь вот эдак! — злорадно выкрикнул Макс и пристроил прутик с сосисками над огнем, который питался их стулом.

— Надо поесть, не то разойдемся каждый в свою новую

жизнь голодными, — хрипло добавил он. Фиолетово-серые тени нервно металась по его блестящим загорелым щекам.

Леонора легла на песок, глядя на узкую полоску моря, выгнувшую горизонт. Свет костра отражался в небе, и Максова тень на нем казалась огромным призраком с простертыми руками. «Вот она, моя судьба», — думала Леонора.

Они ели молча, старательно, как первоклассники. И тут Судья рухнул и рассыпался. Они глядели друг на друга и плакали, обнявшись. Костер постепенно, вздох за вздохом, угасал. Макс и Леонора смотрели на угли, над которыми неловко, по-детски неуверенно пытался подняться вновь Судья. Сперва — ножки, уродливо кривые и блестящие, потом — продавленное, уютное сиденье, и наконец — изящная узорная спинка. В темноте прокричал сын. Они обернулись друг к другу и в один голос спросили.

— Разве у моря живут сычи?

Перевела с латышского
ВИОЛА РУГАЙС

АНДРИС ЖЕБЕРС

* * *
На стене в потрескавшейся штукатурке
Я выколупывал карту своего мира
Я открывал новые континенты
Я был маленьким разведчиком на серой стене
Жужжала муха у лампы
Тлела газета — простенький абажур
Я лежал на кровати и выколупывал карту
У горла на тесемке висел ключ
От моего секретного города

* * *
Раз военный самолет
Ныл за рюмкой: слушай дот
Мне вообще война претит
Мир люблю я и бисквит
Но набравшись самолет
Стал выруливать на взлет
Не поладил со стеной
И взлетел — со всей пивной

ДЕФИНИЦИЯ ЛАМПОЧКИ

Тысячи птиц в стеклянной клетке поют
И слушая их
Оттаивает ночь

ПРОСТОТА

В капле росы
На окне дурдома
Отражается весь мир

ОКНО

Прямоугольное отверстие в стене
С оконной рамой, напоминающей крест,
Который оно ставит на пейзаже
Как знак неизбежности.

И взгляд, прежде чем выпорхнуть наружу
Падает на колени.

ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК

Раскрыто окно
На подоконнике
Цветочный горшок похожий на мину
Которую подложили
Чтобы взорвать
Это железобетонное строение

* * *
Проснувшись, ты мне рассказала,
Что видела странный сон —
Будто я хотел тебя перфорировать.
Я постарался тебя успокоить,
Но, ощутив во рту привкус электричества,
Понял, как соблазнителен твой формат.

* * *
Полдень.
Женщина с авоськой в руке
Переходит дорогу.

Скорая уже уехала,
Только рассыпавшиеся желтые яблоки
На красном асфальте
Напоминают натюрморт
Петрова-Водкина «Яблоки».

НОЧЬ

Черная тетка толкает по улице
Черную детскую коляску
И плач ребенка
Наматываясь на черные колеса
Делает движение все медленнее
Все медленнее

* * *
На улице заснеженный
Околевший пьяница
Весной острые лучи солнца
Распорят нечистое одеяние
И вместе с грязью
Он утечет по желобу
На шикарнейший балтийский курорт
РИЖСКОЕ ВЗМОРЬЕ

KAS?

"Spokas, spokas, kas?"



Перевел
ДМИТРИЙ КУДРЯ

Утром поэту Жеберсу вставили новые зубы (см. фото 1, 2, 3).



Šorīt, no rīta, dzejniekam ŽEBERAM ielika jaunus zobus (ATTĒLI 1, 2, 3)



Нормально,

нор мально.

...bet jau vakarā viņš redzams pie sava darbagalda.



... а вечером он уже за рабочим столом.



ЛЕОНИД МОГИЛЕВ

ПО ПОСЛЕДНЕЙ

Инженер Клочков умирал в общем номере гостиницы «Агидель». Через неделю ему сравнялось бы пятьдесят. В первый раз он прилетел в Уфу двадцать восемь лет назад, из литовского городка, где оказался волею судьбы, как думалось ему, на три года и где остался навсегда. А чего еще искать? Квартира — одним окном на море, другим на завод. Ветер с моря надменно проникал сквозь любые затычки и наклейки. Что есть бумага и что ветер с моря? Если это было зимой, осенью или весной, приходилось спать в комнате, окнами на завод. Тот различался по ночам красными огнями на трубе котельной и светом в комнатах ночного директора и ВОХРов. В конце месяца случался обычно аврал и тогда завод светился весь, как огромное океанское судно, выброшенное на берег, а стало быть, отчасти терпящее бедствие. Но этого Клочков почти никогда не видел, так как двадцати двух годов от роду стал профессиональным толкачом. Просто однажды понял, что не сможет больше переступить порог бюро, где десять теток, две коалиции, три группировки, слезы, утонченные новости на деловом языке, где слова то ли русские, то ли литовские, а то, не понять какие, новоизобретенные, но одинаково подлые и беспощадные. И одна бесконечная примерка. Совсем уйти с завода и вернуться в Россию было нельзя, так что директор только ухмыльнулся, нажал кнопку на селекторе, нажал другую, и вот уже молодой инженер в самой веселой и вольной службе, что бывает в стране. Снабженец, до особого распоряжения и изменения оперативной обстановки.

Тетки из бюро уважали Клочкова за молчаливость и невредность, привыкли к нему за полгода и уже пытались крутить с ним невинные от любопытства и переедания флирты. У Клочкова семьи тогда не было. Ни тогда, ни на сегодняшний день, хотя и вычитали у него в свое время по исполнительному листу, в разумных пределах. Прыгали по Литве наследники. Он легко вошел в быт чужого народа, и обе дорогих жены его были оттуда. Из Республики, где море, Неман, хорошие дороги, замки и память о покорении Смоленска и Москвы.

Обеих звали одинаково — Рената. Первая вообще не говорила по-русски, и брак этот был загадкой для всего района. Вторая говорила слишком хорошо. Но Клочков языка не знал, хотя и не страдал отсутствием памяти и умственными расстройствами. Точнее, он знал какие-то слова, обрывки фраз и мог спросить чего в магазине, ответить насчет времени и дать закурить, если попросят. Все.

Из двадцати восьми лет, прожитых после того дня, когда он вышел на вокзальной площади Вильнюса, сел в автобус, приехал сюда, пришел на пляж и, несмотря на плохую погоду, искупался, а потом выпил в забегаловке на набережной три рюмки ликера, семь лет он провел здесь, в Уфе — городе, столице Советской Башкирии. Расчет был простой. Три месяца в году.

... В номере было еще три человека. Один из них «Храпун». Каждый раз, когда выходило жить еще с кем-то в одном номере, Клочков внимательно рассматривал соседей, в тайной надежде распознать, кто из них вот сейчас ляжет на спину, широко раскинется, уснет поначалу, тихо, только поспит, а потом, через час примерно зады-

шит, засипит, и постылый храп повиснет в мутном воздухе. Воздух бывает несвежим в комнате, где четверо мужчин — всегда. Не всегда бывает душ. А если бывает, то не всегда им пользуются. Опять же бельё...

Шипел под ухом приемник. Батарейки сели давно, но не было таких вот именно в продаже. Но сейчас, когда настал судный час, беречь батарейки не имело смысла. Он повернул рычажок до упора и стал искать музыку. По маяку передавали литовскую эстраду, и Клочков заплакал.

Сердце давно подводило его, а теперь вот и вовсе решило прекратить этот фарс, то ли командировку, то ли жизнь. Можно было еще все остановить, лечиться, но это означало, что придется переменить дело жизни. Но ничего, кроме этой работы, Клочков делать не мог уже, не хотел, и не представлял себе, что можно делать что-то другое.

Вчера, когда в «сбыте» он остался обмыть сделку, как водится, не хватило... Пошли в Ашхану номер два. Там пили коньяк и пиво. От куламы Клочков отказался. Он только смотрел, как сбытовики вылавливают из бульона мясо, цепляют плавающий поверху лук, брезгуют лапшой. Сам он начинал всегда с лапши — огромной, толстой, невероятной лапши. Хорошее дело кулама. За двадцать восемь лет так и осталось пятьдесят шесть копеек и почти не убавилось ни мяса, ни лапши, ни лука. Не надо было Клочкову ни кумыса в исполкомовском буфете, ни меда в потребсоюзе. Поешь утром куламы и носишься целый день по делам, сидишь на телефоне, суешь нос на склады и участки. И бодр, и весел.

Сидя в Ашхане, Клочков проболтался о наступающем юбилее, и его товарищи по несчастью скинулись, взяли еще по сто пятьдесят и по пиву. Потом в гостинице, ночью, слушая одним ухом храп, а другим угасающую музыку и начиная понимать, что эта ночь будет последней, решил было все остановить, отринуть, встать, пойти в коридор, разбудить дежурную, которую он помнил на этом месте лет десять, как и картину в холле, где река, паром, и синие тучи, и беседка над обрывом, позвонить, вызвать скорую, но тут музыка перестала, диктор стал медленно и торжественно вещать новости, и Клочков подумал, что хлопотать ни к чему. Ну не в этот раз, так в следующий, не в этой гостинице, так в другой. И храпы будут другие. И запахи другие, но в основном те же. Только ночные фонари за окном похожи один на другой во всех городах, и свет их как ни крути — мертвый. Ну получил он укол, оклемается, послушает нотацию, съедет (только не в самолете, после приступа это невозможно), в поезд, в поезд съедет, потом в Вильнюсе пересядет в автобус и вернется в свою квартиру. А там никого. И квартира служебная. Только окна. Одно на завод, другое на море. А нужно хлопотать, покупать закуски к юбилею, ждать гостей, мыть посуду и за полночь опять смотреть в окно. Еще можно смотреть ночную программу по телевидению. Если бы здесь была ночная программа, он бы не помер. Он пошел бы в холл, включил телевизор тихо-тихо и смотрел бы часов до четырех. И боль бы была упрятана до следующего раза далеко и просто. Потом бы поехал в аэропорт... А можно после юбилея не смотреть телевизор, а пойти к Андже. А на следующий день прийти на завод часам к двенадцати.

позвонить куда, полистать балансную книгу. Давно ему хотелось в Ашхабад. И к пятидесяти годам туда так и не попал. Ну везде был. Ну повсюду. А в советской Туркмении не был. А можно ведь что-то придумать. Но не захотел Клочков придумывать. И вставать не стал. И скорою не вызвал. А вот и диктор перестал бредить, и снова музыка началась. Группа «Форум». «Не жалею ты листьев, не жалею, а жалею любовь мою и нежность».

В сумке у него лежала бутылка литовской водки. Он берег ее на случай, если вдруг в день рождения будет в пути. Заигрывая с болью, уговаривая ее уняться ненадолго, он встал, подошел к столу, налил воды в стакан из графина, выпил, посмотрел сквозь грани на фонарь за окном. Стакан был, естественно, грязным. Тогда он отправился в тот угол, где раковина. «Агидель» была неплохой гостиницей и уж, что-то, а раковины были во всех номерах, даже в подсобке, где в пиковые дни ставились раскладушки, и отчаявшиеся попадали на них к полуночи. Там умещалось двадцать человек. Лучше так, чем на вокзале, где милиционер три раза за ночь спросит «почему спим», и где спать-то надо сидеть, и по ногам ползет зимой холод, а летом мухи жрут лицо и руки.

Он долго мыл стакан, морщась от несговорчивой боли под лопаткой, под ребрами, думая, где сильней и не осящая левой руки. Раньше он пил валидол, нитроглицерин, а потом перестал и с интересом прислушивался к Своей боли, а она ему благодарно отвечала толчками и тычками, будто разговаривала с ним. А вокруг храп и все остальное.

Вернувшись на свою койку, выдвинул из-под нее сумку, нашел под рубашками водку, отвинтил пробочку, нацедил с полстакана, закрыл опять священный сосуд и поставил на стул. Стал думать, чем бы закусить, но не придумал ничего, а открыл створки окна, поискал там, между рамами, нашел початую банку ивасей в масле, засохший хлеб. Возможно, это было оставлено спящими соседями, а возможно, недоглядел персонал, не заглянули между рамами, и стоит банка уже день, другой. Но чего теперь привередничать? Хлеб он покрошил в банку, перемешал ложкой. Потом глубоко вздохнул, выпил в два глотка водку, посидел с минутой, стал есть. Хлеб пропитался маслом, он его выбирал, долго держал во рту, потом глотал. Музыка опять не стало, и другой диктор заговорил о погоде.

... Клочков оказался прирожденным снабженцем. Понабив поначалу шишек, разбив молодое лицо, быстро понял, что к чему и зажил себе сам хозяином. Всю огромную страну посмотрел, везде присутствовал, погулявал, повертел головой и далее, и прочее. Угомоняясь и успокоившись, решил жизнь менять. Так как Рената-1 ждала его дома, выговаривала на языке коренной национальности, тяжела и задумывалась.

Злым гением Клочкова был его первый наставник. Вечный начальник, многорукий, ясноглазый и могущий Иван. Так его звали за глаза, а в глаза прибавляли отчество. Иван уничтожил Клочкова, сломал ему хребет, раздавил. Просто и без видимых причин, подсунул бумажку подписать, а в этой бумажке такое, что если кто дознается, то идти Клочкову «по Владимирке». Потом спрятал Иван документ в сейф и попросил: «Иди, пожалуйста. Работай». Зато теперь он мог способного Клочкова не опасаться. А когда через два года не стало Ивана, другой начальник был теперь, стал Клочков вроде бы вольной птицей, и год ему вышел вольный, едь куда захочешь, увольняйся. Написал он заявление, собрал вещицы, а Ренаты первой давно уже и след простыл, как и след потомства, вкуче с ней, присел на чемодан у окна, что на завод, а потом на табурет у окна, что на море, потом распаковал чемодан, развесил рубашки, отнес в ванную зубную щетку, бритву, помазок, поставил на место лучшие из книг, которые решил взять с собой, а прочие оставить, дабы стали они вечными книгами в этой квартире и новый хозяин читал бы их и думал иногда о Клочкове, заварил чай. Утром он явился на завод, а следующим днем уже летел в Уфу. И светло ему было и чудесно. И национальный башкирский герой на лошади (или на коне), и городской сад, и московский театр на гастрольях, а «Агидель» напротив гастроль-

ной площадки, где летом отсутствует местный балет и опера тоже, и какой-то легкий и веселый роман на весь месяц с продавицей из бакален, и подумал Клочков: «А, что еще есть в мире такого?»

Обратный путь устроил рваный. Залетел и в Питер и в Ригу, с его-то уменьем проще простого. И в том году он писал стихи. Клочков попробовал вспомнить, впрочем, про себя строк сорок, удовлетворился и приказал себе: «За это и выпьем». Открыл бутылку, закрыл, плеснул-проглотил, повозился в банке с ивасями, прилег.

Теперь пели звезды зарубежной эстрады. Клочков попытался вспомнить, какими они выглядят в телевизоре, какие у певца ноги, как высоко подпрыгивают музыканты, а если не подпрыгивают, то какие вытворяют другие потешные штуки. Храп стал совершенно невероятным. Клочков пощелкал пальцами, подвинул стул, но вместо храпуна проснулся другой гражданин, сел на койке, закурил, почувствовал в темноте бутылку.

— Не спишься?

— Будешь?

— Давай маленько.

Выпил, икнул.

— Хорошая водка.

— Литовская.

— Уважаю.

Тот хотел было усестись рядом с Клочковым, с намерениями допить, поговорить о сухом законе, заводах и ходках, но Клочков извинился, спрятал бутылку, где уже было меньше половины, и лег. Тот обиделся, посопел, но ото всего вышла польза, так как несостоявшийся собутыльник решительно пошел к храпу, растолкал его, обозвал дурным словом, и в комнате стало тихо. И приемник смолк. Сели батарейки. Клочков выключил его. Теперь, если опять включить, скажем, через час, то минуты полторы он еще пошепелявит.

Он лежал на правом боку, и пошевелиться было нельзя. А скоро холодный пот стал стекать со лба и простреливало через равные промежутки слева, но вдруг опять отпустило.

... Лет двадцать тому назад решили Клочкова самого сделать начальником. Он посидел в кабинете три месяца, потаскался на оперативки и планерки, поскущел и решил вовсе уйти с завода, глянуть напослед на наследников, оставить служебную квартиру, со служебным шкафом и своим собственным диваном, где этих наследников зачинал, и податься в Российскую Федерацию. Все тот же был у него директор и все помнил.

— А что еще умеешь делать, Клочков? Ты ведь больше не инженер. Толкачок ты. Ну не хочешь быть «бригадиром», ну не умеешь жить, иди опять на старую группу. А сюда желающие найдутся. Мой тебе совет. А нет, так ступай себе. Не неволю.

В тот вечер Клочков домой не пошел, слонялся по городку, лежал в дюнах, глядел на звездный сепаратор вселенной и ни о чем не думал. Он уснул, и ночью его разбудили пограничники, опознали, посмеялись: «А баба твоя где? Ушла уже?» — и ... отвезли домой на узике. Он тогда достал с антресолей коробку из-под обуви, вынул спрятанные там свои стихи, перечел их и все сжег.

Клочков знал гостиницу так, как ее можно узнать за двадцать восемь лет. Он жил в большинстве номеров, исключая двойные люксы. Жил и в полулюксах, и в «казарме», и в двух- и в трехместных. А в этом номере жил четырежды. А может быть, чаще. Трудно было вспомнить точно. Хорошо было жить здесь летом. По той причине, что в старинном городе летом гастролировали два-три театра и оркестр какой. А в «Агидели» жили лучшие артисты. Многих он уже видел в фильмах. И вот пожалуйста, живые, в майках и халатах, ходят по коридорам, сидят в буфете. Однажды удалось ему уговорить артистку, провести с ней время в забавах и играх. Потом он ходил на все ее спектакли, сидел поближе к сцене, но все кончилось скоро, и в фильмах он ее никогда не встречал.

Спектакли кончались поздно, и значит буфет работал до часу, а то и до двух. И можно было пойти ночью на второй этаж и выпить в буфете чай, кофе, а то и портвейну и

вкусить ночных закусок, до которых он был охоч. Транзитная привычка аэропортов и вокзалов. Еще имел Клочков барственную привычку принимать по ночам душ, переодеваться в чистое, лежать, долго слушать музыку. Приемник этот купил давно, уважал за малую величину и надежность. Когда соседи просили убрать музыку, он передвигал рычажок на минимум и ложился на приемник ухом.

... Рената-II была дамочкой с изрядными претензиями и решила пристроить Клочкова к торговому промыслу. Он попробовал, но вскоре отказался окончательно и без обжалования, оставив к тому же в Новосибирске часть «товара» в камере хранения, так как ему все казалось, что за ним следят. Они еще поперерекались с полгода, и она забрала «товар», сына и половину совместно нажитого имущества, а потом, естественно, отправилась в свой самостоятельный и полный удач и достижений путь, без терний и дураков.

Обе Ренаты уехали, каждая в свое время из городка. Клочков приезжал первое время к детям, те его боялись, и он перестал к ним приезжать.

То, чем занимался Клочков в городе Салавата Юлаева, то, зачем торчал здесь три месяца в году, было частью важной, народохозяйственной задачи. Когда-нибудь и где-нибудь поставят, возможно, памятник неизвестному толкачу. С портфелем человек, в галстуке и в очках; немолодой, полный. Только мастеру придется применить весь свой талант, если он у него окажется, чтобы передать у этого человека во взоре даже не собаچه, а какое-то скотское выражение. Выражение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ №. Именно они, спитые, усталые, когда-то бывшие молодыми, а теперь уничтоженные сырыми желтыми простынями в поездах, гостиницами, телефонными окриками и презрением хозяина кабинета. Так, что даже на землю с ночными городами, с высоты девять тысяч метров не хочется смотреть, даже независимость от проходной и табельщицы, а это все-таки — свобода, когда встаешь утром, ну и что, что не дома, и хочешь, идешь, хочешь — не идешь хлопотать за «свою» Литву, а хочешь, вообще, сядешь в поезд и туда, куда всегда хотел, поди, проверь, чего там было и чего не было, а еще повезет и все само собой делается, ты приезжаешь, а вроде бы и зря. Даже это воспринимается с чудовищным равнодушием. Потихоньку, с остановками, кривым



ТОТ СВЕТ

Все было так, как рассказывали вернувшиеся. Многотысячелетний опыт возвращенцев, которым Клочков был вооружен и подготовлен к парению души, распаду плоти и к созерцанию собравшихся у тела товарищей, и к туннелю, и к свету в конце оно, и к потусторонним песнопениям, и к встрече с почившими близкими. Он только успел подумать: «А, так все это правда...», — разочарованно и обыденно, а уже чудесное стремление и... нет возврата. Невозвращенец, стало быть. И кто будет возвращать, когда почил ночью в номере гостиницы «Агидель», а рядом храпуну и внутри похмелье. Утром же уже ни к какой реанимации он был, естественно, не годен, повитал еще сколько положено и с легким сердцем и чистой совестью (как будто все это у него еще было), отправился на сборный пункт ожидать суда, чистки и дальнейшего направления на один из уровней или кругов, как будет угодно создателю...

... В комнате не было часов. Ждущие сидели креслах, лицом к окну, и ни у кого также не было часов, а то, что ненужными браслетами стягивало запястья, не было уже часами. Эти хитроумные механизмы сейчас не работали, и не было силы, которая могла бы их исправить и запустить.

путем, а только потом оказывается, что все уже видел и видеть ничего больше нет сил. И тогда живешь на «автоматике», а переменить ничего нельзя. Но ТОЛЬКО. Должна. Осуществляться. Ритмичная. Постановка. Комплектующих. И материалов. Иначе заводы встанут. Это никто не оспаривает. Для того, чтобы все осуществлялось ритмично и вовремя, у нас в стране есть только одно средство и причина. Война.

А после того, как он навсегда остался один, годы потекли мгновенные и чужие. Как и не было их. Он стал толкачом высочайшей квалификации. Его наградили грамотами, давали премии, он побывал везде, кроме Ашхабада, и даже один раз по путевке в Бухаресте. Но три месяца в году он жил в Уфе.

Зимой здесь был совершенно необыкновенный снег — мягкий и долгий, как будто не было предвечернего смога. Снег был чист. Клочков тратил на посещение завода от силы час, два в день. Остальное время слонялся по городу, покупал книги. Во всех шести книжных магазинах Уфы у него все было «схвачено на корню», и среди командировочных он неприятно выделялся начитанностью.

«Горсть праха» Ивлива Во он возил с собой в сумке везде и всюду и перечитывал бесконечно.

У него не было братьев и сестер, а родители давно умерли. Его дети говорили по-литовски и, должно быть, Клочкова не помнили вовсе.

Перед тем как умереть, он снова достал бутылку, попробовал налить, последняя боль ударила подло и сильно, и бутылка упала, стакан звякнул. Тут проснулись все командировочные, но не встали, не сказали ни слова. Только повернулись лицом к стене, как по команде. Клочков перевалился, как мог, выпростал другую, действующую руку, повернул рычажок.

«Московское время — три часа тридцать минут. Вас приветствует главная редакция сатиры и юмора. «Опять двадцать пять» в эфире».

Он жил, пока не замолчал приемник. Еще минуты три. Когда приехавшие за ним из Литвы сопровождающие получили у директорши под расписку его вещи, та спросила: «А что написано на этой этикетке? Никогда так не видела». «По последней» — перевели ей.

И действительно. Была когда-то такая водка.

Стрелки и стилизованные цифры обозначали время официального убийства. Но у тех, кто прошел кремацию или попал в катастрофу, часы пропали естественным образом. Но одежда, как ни странно, осталась в целости, такой, какой она была незадолго до конца. Видимо, так было нужно. Все сидящие имели плоть. Можно было уколоть себя булавкой, если она была, а если нет, то просто ущипнуть. Что все и проделали.

Никого из сидящих не интересовали остальные ждущие суда, и этот неинтерес был привнесенным, чужим. Им не хотелось есть, пить, двигаться. Хотелось только сидеть, вот так у огромного окна, за которым простиралась бесконечные, величественные зеленые холмы. Свет не менялся над холмами, был ровным и бестрепетным, так как ход времени был остановлен создателем для сидящих в комнате. Тем не менее, стены были покрыты дубовыми, очевидно, панелями и оконные переплеты выкрашены белой краской, кажется, эмалью. И стекла отсвечивали, стало быть, источник света был. «Как же так, — думал Клочков, — все явь, и я есть я, а что же смерть?» Но вместе с тем он знал, что есть смерть и понимал смысл комнаты, и сидения своего и даже застывшего пятнышка краски в левом верхнем углу стекла.

Он мог встать, выйти, но знал, что время для этого не пришло, и те, кто были рядом, знали, и могли бы заговорить с ним, но знали, что вот этого-то вот и вовсе не велено. И так проходили то ли дни, то ли годы. Клочков был одет в то, в чем его погребли. Это нашлось в шкафу его комнаты. Вполне приличный костюм, серая рубашка и даже туфли, а не тапочки. И потом вот еще. Ныло в наскоро зашитом при вскрытии животе, но как-то спокойно ныло, почти безболезненно. Клочков засунул руку под рубашку, нашупал шов. Тот заживал...

Суда как такового не было. Настало время, и Клочков встал с кресла. Затем он повернулся. Дверь в комнату также была белой и вместе с деревянными темными панелями создавала ощущение заводского здравpunkта. Клочков попробовал рассмеяться. Какое-то желание шевельнулось там, глубоко... Дверь медленно открылась. Нужно было шагнуть за порог, он знал, что это вот сидение, этот шаг и то, что будет после, нечто рутинное и необременительное, и есть Суд.

Уже уходили некоторые из комнаты, и она почти опустела, но так жалко было оставлять все, жалко было оставлять все это. Он оглянулся, и тогда над холмом зажегся луч, только ему одному предназначенный и, улынувшись от такой заботы, еще постыдно веря в себя, он шагнул... За дверью не оказалось ничего. Он закрыл глаза, как закрывал их всякий на этом пороге, и забылся в долгом и тщетном падении, так как тщета была тем, что поглотило его, отторгая все прочее, чем он был в той жизни, веру, надежду и опять же надежду, и опять...

... Вода в душе то пропадала, то являлась вновь, то била кипятком, то студила. Наконец он отмылся, почти сдирая с себя кожу, затем яростно растерся грубым, почти невозможным полотенцем. Он постоянно трогал то место, где анатом рассек его плоть. Шрама не было. Прибавилось волос на макушке, что обнаружилось почти на ощупь. Исчезли складки на животе. Стало легче дышать. Его слегка починили.

В предбаннике, где он оказался в одиночестве, не было зеркала, но он знал, доведись сейчас увидеть себя — и лицо будет другим. Он нужен был здесь именно таким.

Одежда его исчезла. Вместо нее Клочков обнаружил брюки, примерно вельветовые, рубашку, грубую и без карманчика, туфли вроде кроссовок, ну там нижнее... Все было почти познаваемым и ясным, но, вместе с тем, не тем... Все было. И все не тем. И он почти не знал, зачем это, он не мог свести все многоединое в узел. Отныне он знал Истину, ту, что связывала его с прошлой жизнью, эту истину он постиг умерев, а потом сделал шаг за дверь. Но теперь уже другая, более страшная и желанная истина возникла, ослабилась. Зачем он здесь, и что есть эта другая жизнь.

Клочков находилась теперь уже у дверей другой комнаты, вместе с другими, то ли покойниками, то ли осужденными, то ли живыми и здоровыми, а, возможно, и свободными. Они знали, зачем сидят здесь, но опять не испытывали ни малейшего желания заговорить друг с другом. Наконец настала очередь Клочкова. И он вошел в кабинет. За столом возвышался офицер... Форма его была почти такой же, как форма офицеров его бывшей державы, но на погонах были не звезды, а крестики. Были и другие незначительные отличия. За другим столом располагался референт, за третьим секретарь-машинистка.

— Гражданин Клочков, если не ошибаюсь? Геннадий Федорович? — офицер улыбнулся и переложил папку на столе из одной стопки в другую.

— Не ошибаетесь. — И тут же спросил офицера: — А что, собственно говоря, происходит? — Офицер вскинулся: «А?» — Клочков сам не знал, зачем он влез со своим вопросом, и оттого сник.

— Кем были в прошлой жизни? Специальность, трудовой стаж, семейное положение, возраст на момент смерти, родственники за границей, — зачитал референт.

— За границей чего? — возмутился Клочков.

— Разумеется, за границей страны проживания. —

невозмутимо отбрил его референт, а машинистка сбилась на миг, но тут же споро продолжила работу. Сверкнул блик. Это фотографию сделал с Клочкова появившийся из-за ширмочки мастер, и уже несли в комнату бланки, тексты, книжечки удостоверений, и уже клеили в них Клочкова лик и пододвигали ведомость аванса.

В связи с нависшей военной угрозой со стороны сопредельной державы инженер Клочков был направлен на одно из предприятий оборонной промышленности, разумеется, после кратких курсов Гражданина и освидетельствования. Уже через месяц, с командировочным предписанием он выезжал в другой город за комплектами. Отпуск, согласно здешнего КЗоТа ему был назначен на зиму. В отпуск он решил посетить немногочисленных друзей и родственников, оказавшихся с ним на этом пересечении судеб, душ, здравого смысла и безумия. Пока они изредка перезванивались. В отличие от прошлой жизни, эта была полностью телефонизирована. Тот город, что в прежней жизни был Уфой, назывался здесь совсем не так, но был расположен примерно там же, почти на Урале, хотя никакого Урала здесь не было.

Только две вещи в этом мире были близки Клочкову — море, ничем не отличавшееся от того, другого, и его комната в общежитии.

Зарабатывал он примерно столько же, кругом развивался социализм, говорить о прошлой жизни между здешними жителями было не принято, и говорливых иногда изолировали.

Будто бы рука мастера дрогнула ненамеренно или по корысти, и мир этот был тем миром, но в смазанном ракурсе. Тем более, что совместить нужно было слишком многое, учитывая своеобразный характер появления обитателей этого мира. И события в этом мире перетекали, как песок в хитроумной стекляшке, и Клочков, перемещаясь и изменяясь сам, являл собой изменяющийся фактор. Он все понимал, все осознавал до последней детали, вернее, за исключением этой детали, но она, эта деталь, и была теперь Истиной. Но в какой бы исторический слой он ни влиял, какой груз общеизвестного опыта он ни тащил за собой, он везде Служил.

Он видел — те, кто был поэтом в прошлой жизни, существовали здесь в праздности, те, кто властвовал, перемещались по административной лестнице, по кабинетам и офисам. Воры крали. Каждый получал свое. Страждущие и гонимые страдали и были гонимы вновь. Но Клочков служить более не хотел.

... Он без труда нашел то, что было в Уфе отелем «Агидель». Только в этом течении песчаного мира все номера были на одного человека. Клочков попросил номер поближе к тому, где когда-то разорвалось его сердце.

Он не должен был приезжать сюда. Ему был дан другой маршрут, но командировка для Клочкова более не существовала. Он жил в этом городе как мог долго. Пока хватало скудных командировочных средств. Одной из ночей, все передумав и вспомнив, он снял с потолка люстру, приладил отмеренный, отлично намыленный шнур, встал на стул, влез головой в петлю и, резко оттолкнувшись так, что его зыбкий пьедестал отлетел к окну, отправился туда, куда хотел, напоследок ощутив великолепие удушья.

В этом мире было сколько угодно женщин, и в одной из них уже ворочался новый Клочков, которому суждено будет явиться на свет и считать свой мир богом данным, поскольку он не будет верить в другие, а узнает о них слишком поздно.

... Вода в душе иссякла. Клочков даже не успел как следует смыть прах самоубийства. Но следов петли не оставалось уже. Это он чувствовал. Выйдя из предбанника в новой одежде, сидевшей на нем кошмарно, а обувь была мала и жала, он дождался своей очереди у двери в Главную комнату.

— Кем были в прошлых жизнях? Специальность, трудовой стаж по совокупности...

Референт задавал вопросы бойко, а машинистка почти не ошибалась. И тогда офицер подмигнул ему. С той поры на погонах у него прибавился крестик.

МИХАИЛ СУХОТИН

ИЗ ЦИКЛА «ВЕЛИКАНЫ»

«ВАРЯГ»

«Товарищ, я вахты не в силах стоять, —
сказал кочегар кочегару, —
огни мои в топках уже не горят,
в котлах не сдержать больше пару».
(фольк.)

По местам, товарищи, всё спокойно!
Наступает последний, безалкогольный
хит-парад, который всегда возможен
лишь в отдельно взятой стране под песни
понимающих смерть на рабочем месте
как сердечный удар и мороз по коже.

Над седой от страха равниной моря
ветер, тучи собирая, готовит горе,
между тучами и пенистой той равниной
гордо реет во мгле знаменитый крейсер
каждый на котором привычно-весел,
где пощады не требует ни единый.

Кочегар кочегару несет напиток
опресненной и выдержанной водицы
но несчастный не вынесет этой вахты
потому что морское безумство храбрых
у кочующих рыб застревает в жабрах
когда тонут русские акванавты.

«Я не в силах бороться с котельным паром, —
кочегар отвечает кочегару, —
и лопата — она меня доконала.
Словно в прорубь глядя в открытый кингстон
я не чувствую радостного единства
и не жду утешительного финала».

Машинист говорит ему: «Стой на месте,
мы должны торжествуя погибнуть вместе.
Труд создал нас и воды теперь объяли,
до костей и до сердца дошло волнение,
как назло попали твои сомненья
невпопад с товарищами-друзьями».

Тут из хлябей облачно-поднебесных
на корабль спускается буревестник,
птица, предвещающая несчастья,
и в груди удерживая рыданья
говорит она спорящим в назиданье
не скрывая горестного участья:

«Тринадцать лет пролетят как в сказке
и от Копенгагена до Аляски
в новом свете появятся ваши мачты:
затмевая на солнце протуберанцы
над землей, летучие как голландцы
полпывете в будущее. Не плачьте!»

Только ветер уносит слова пророчеств
да волна побережью готовит почесть
да на пепелище лежит полушка —
это в стороне, что собой огромна,
тонет память, колоснику подобна,
где напрасно сына ждала старушка.

СЕЧЬ

«На Гималаях мы знаем совершаемое
Вами. Вы упразднили Церковь, ставшую
рассадником лжи и суеверий. Вы уни-
тожили мещанство, ставшее проводником
предрассудков. Вы подарили детям всю
мощь космоса. Вы открыли окна дворцов».
(Из «Послания махатм советскому
народу», 1928 г.)

По морю, конечно, живут поморы,
Горцы населяют холмы и горы,
землю — земляки, и овчарни — овцы.
Что же расположено за порогом
человеческих знаний? В соседстве с Богом
там живут тибетские запорожцы.

Существуя вне времени и пространства
без фамилии возраста и гражданства
чем же заняты богатыри-махатмы?
Тем и заняты они, что на страже жизни
составляют телеграммы и пишут письма
главному кремлевскому бодисатве:

«Мощь вселенной даря неразумным детям,
ты живешь среди звезд в ярко-красном свете.
Победивший мещан мановеньем брови
в кольцах Шеши путешествуешь как в пещере
и не помнишь о смерти как полый череп
глядя в красную землю не помнит крови.

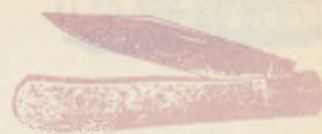
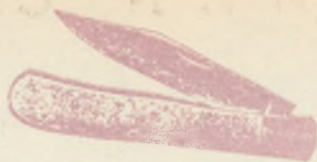
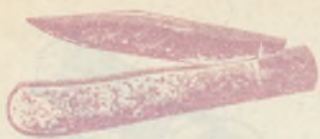
Здесь недалеко от горы Сумеру
проникая взглядом в такие сферы
где одни стихии и Высший Принцип,
мы охотно принимаем любые жертвы
кроме той что сейчас угрожает Церкви
стусеваться на нет под твоим мизинцем.

Берегись! Мы накажем тебя, неверный.
До тебя не доносится запах серный
но тебе от возмездия не укрыться:
мы велим тебя сечь на глазах у Лхамо
что и выполнит раненый Далай-лама,
а иначе якй же ты у чорта лицар?!»

До утра-то Рерих сидит в «Пенатах»
в окружении множества экспонатов.
Ни звериный рев ни вороньи крики
не тревожат его вдохновенной кисти:
в гималайском пейзаже впервые в жизни
он ваяет великого из великих.

Вот уже из-за облака солнце вышло
вот уже сапоги засияли пышно
чудо-трубка уже зажжена, и в дыме
ее чудится будущее планеты.
Сам Сосо поглядывает с портрета
и как будто живой говорит с живыми:

Передайте сердечный привет Никите
а меня пожалейте и не секите:
я ведь маленькая девочка Цаган-Дара
я танцую и пою на партийном съезде
да ступнями поворачиваю на месте
пустотелую опору земного шара».



ЯЛТА

«С чего начинается родина?
С кошек, горящих вдали,
со старой отцовской буденовки,
что где-то в шкафу мы нашли».
(муз. Баснера, сл. Матусовского)

Солнце и луна и луна и звезды
звезды в вышине а под ними версты
версты и века и века и версты
и века. Но через годы и расстоянья
песне ты не скажешь «до свиданья»
ни «прощай» потому что она поется.

Раз поспорили в Ялте американец
англичанин и русский протоиранец
о конкретном начале начал — с чего же
начинается родина в самом деле?
Все мы вышли из гоголевской шинели
но шинель ведь откуда-то вышла тоже . . .

Мир делил американец на злак и плевел
на животных и людей на дрова и мебель.
Там, в шкафу времен народного ополченья,
он источник великой родины обнаружил
в виде шапки, закрывающей лоб и уши,
со звездой стратегического значенья.

Англичанин вывел родину из тумана,
вынул счеты из внутреннего кармана
и извлек из нее корень всего живого
в качестве весенней скворца запевки —
отчего все каракатицы и креветки
окопались у прибоа берегового.

Только русский ничего не делал не мерил
но в святую простоту свою слепо верил
и поэтому он сразу же догадался:
родина начинается на кровати
с родинки на правом плече у Кати
за которой еще не пришли Двенадцать.

В этой родинке коричневой и невзрачной
деревянная земля и зенит прозрачный.
Там находится просторная мастерская
из которой два соц-артиста-дезертира
нам кистями говорят о разделе мира —
как поспорили в Ялте американец

англичанин и русский о самом главном
и о Кате Арнольд на бюро планетарном.
Потому что вещей Комар круги сужает
над пришедшими с оружием разбираться
и уходят восвосяи ни с чем Двенадцать
и вослед им Меламид как всегда читает:

«Берешит бара Элоким, — читает, —
эт ха шамайм взт ха арэц, — не забывает, —
вз ха арэц хайета тоху вавоху
вз хоших аль пнэй техом
вз руах Элоким мэрахэфэт аль пнэй ха майм
вайомэр Элоким йехи ор вайхи ор».*

ОТЕЦ ЯБЛОК

«Некому березу заломати,
некому кудряву заломати,
люли-люли, заломати . . .»
(фольк.)

Существует много тактик и аналитик
но, увы, не сосчитать уже всех количества
совершившего круговорот в натуре
чудодейственного кофейного эликсира
чьим раствором поливал черенки инжира
селекционер-рационализатор И. В. Мичурин.

Под заботливую рязанскую пятернею
скоро вымахали травы сплошной стеною,
за стеной зонтикоцветные разметались
первомайскими салютами, за салютом —
нечто странное наподобие Абсолюта
замаячило, какие-то ёлы-палы.

В эти палы и особенно в эти ёлы
углубился наш мечтатель вечнозеленый
но по мере постепенного продвиженья
к центру сущего, он нечаянно обнаружил
что кустами зарастает проход наружу,
растерялся и остался в краю растений.

Те кусты были смородиной черно-красной,
они смрад производили неся ужасный
всем урон кишечно-гнилостного расстройства.
И пошли тогда рубить топоры гибриды
чтоб взыскать с гибридизатора за обиды
строго личного и сугубо земного свойства.

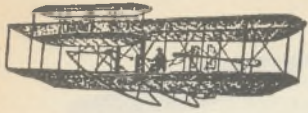
Били-били они, рубили они рубили,
все повырубили, все они покосили —
— Нет Мичурина, хоть мать бы его поймать им —
— нету матери, осталась одна береза
над которой до сих пор еще раздаётся
удаляющийся голос: «Держитесь, братья!»

Слишком много Нин Андреевых накопилось
и у каждой еще по одной родилось
Нине, возросли целевые фонды
сил реакции распространяющие влиянье
с южных гор до северного сиянья
где отчаянным светом горит природа.

Но особенно советую спастись
на реакцию готовящихся реакций
со стороны оптимистически-депрессивных
представителей учреждений и предприятий
то и дело порывающихся ломати
мою яблочно-березовую осину».

С этих пор его кудрявая плодоносит,
на Смородине-реке урожай приносит,
силой сказочного детства питая храбрых;
гули-гули поют на ней «люлю-люлю»,
а Иван Владимирович Мичурин
называется отцом молодильных яблок.

* Быт. 1.1—3



РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАХАНОВА НА ВСРИР СТАХАНОВЦЕВ

«Мне, товарищи, прежде чем удалиться в Ирмино, хотелось бы поделиться тем как организовано было дело на участке «Никанор-Восток» на Донбассе, где угледобыча в поточной массе не превышала указанного предела.

Ну, зарубив кутёк, я спустился в лаву, зёмник закатал по госшахтуставу. Начинаю снимать. На 8-ом уступе пласт пошел такой что товарищ Машкин осветил это событие в многотиражке как «Стахановский поход за донецкий рубль».

Но не сам я заслужил трудовую славу и награды мне присвоены не по праву: там в забое есть отверстие в подземелье. Дым оттуда валит и прах летучий: желчные французы, подобно туче, маленький редут под орех метелят.

Рядом шведы русских мурыжат, режут, барабанный там бой и зубовный скрежет — все не слава Богу — снегирь военну песню не поет, кочумает Теркин в яме у костра, духота как в морге, и суворовцы с Монблана скользят в геенну.

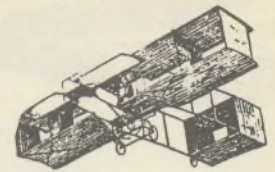
Половецкие куры Тьмутаракани бьют рогами буй-туров и мнут ногами, там хазарская змея, укусив Олега, подстрекает отступление из Кабула, и к груди Мальчиша приставляет дуло буржуин, непохожий на человека.

Ладно, спускаюсь ниже, туда где руды переходят в рубины и изумруды. Там, ушедшие по лядвея в жидкий гелий, рубятся, товарищи, два наркома. Имя каждого нам всем хорошо знакомо — Пламенный Серго и Железный Феликс.

Когда Пламенного Феликс одолевает, наши подразделения отступают, учащаются эпидемии, мор и голод. И наоборот: лишь Серго ша-рахнет, сразу все вокруг расцветет, запахнет, в небе голубом забелеет голубь.

В общем, в результате упал Железный — тут-то уголь и пошел на-гора из бездны. Таким образом, прошу не считать меня рекордсменом, ибо, как учил Ильич, товарищи делегаты: «электрон так же неисчерпаем, как атом». (Бурные продолжительные аплодисменты).

* Всесоюзное Совещание Рабочих и Работниц.



ПОКАЯНИЕ

Не жди меня, мама, хорошего сына,
твой сын не такой, как был вчера:
меня засосала опасная трясина,
и жизнь моя — вечная игра.
(фолькл.)

Темпо! Темпо! Фортиссимо! Аллетто!
Партитуры контрапунктированы, либретто
документировано в соответствии с хроникально-
достоверным свидетельством эпохи.
Мэйстер Глинка в предоперной суматохе
акт за актом перечитывает детально:

В Закарпатье на границе великой бездны
тучи хмуры, упования неуместны
край еловый тишиною объят суровой.
З танкиста в отдалении пьют по 300,
в Отделении шмонает контрабандистов
сам Сусанин под аккомпанемент щипковых.

Ист от Веста надежно предохраняя
на расхлябанных гатях родного края,
он берет на себя функцию мясорубки
то есть фильтра пропускающего снаружи
только тех кто действительно очень нужен
с точки зрения таможенной караулки.

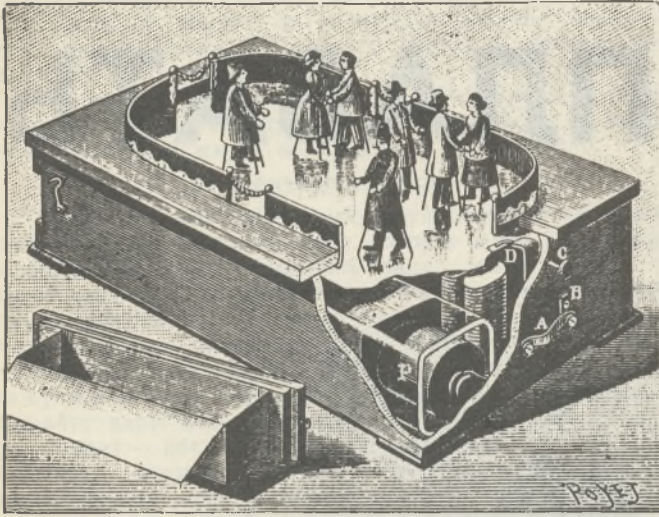
Но однажды отправляясь топить поляков
заблудившихся в лесу по дороге в Краков
он претерпевает метаморфозу
солидаризации с их народом
и, за жертвами палач, уходя в болото
сокрушается в решительном ариозо:

«Машинист, притормози! Вы куда, колеса?
Стой, кондуктор . . . Хоть минувшее не вернется
а грядущее час от часу нам рисует
все мрачней и напряженнее перспективы
я не волен отрываться от коллектива
потому что сознание он формирует.

Отправляйтесь по ж. д. до ее конечной.
Там увидите избушку, в избушке — печку,
на печи лежит Сусанна — ей сообщите
что до некоторого времени ее сына
засосала испытательная трясина:
из него уже не вырастет долгожитель».

В этом месте композитор оставил чтение
и отправился просить у людей прощенья.
На широких площадях и в глуши урочищ
так никто бы и не вспомнил его стаккато
если б как-то раз перейдя Карпаты
он не выговорил: «Черт поберил!» (короче —

— «ЧОП»). С тех пор и называется этот узел
пересадочных путей в воронки-маруси
просто ЧОПом, и по-глинковски покаянно
здесь гудят локомотивы на фа-миноре
пронося дорожно-транспортных ревизоров
мимо места где покоится сын Сусанны.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
(из цикла «Центоны»)

Гораций: Exegi monumentum aere perennius
Ломоносов: И я себе воздвиг такой же monumentum
Гораций: Legalique situ pyramidum altius
Ломоносов: И мой вот точно так же pyramidum altius
Гораций: Sume superbiam quaesitam meritis
Ломоносов: Quaesitam meritis, о муза, sume superbiam
Гораций: E mihi Delphica lanro cinge volens Melpomene comam
Ломоносов: Cinge volens мне, мне, Melpomene comam

Не говоря уже о том,
что Аполлин на Геликоне,
что быстрый разумом Невтон,
что дщерь бессмертия на троне,
что телескоп, полемоскоп,
сокровищ новая Индия,
что Днепр, Волга, Лена, Обь,
Академия, Поэзия...

Ломоносов: Я знак бессмертия себе воздвигнул
Державин: А я памятник себе воздвиг чудесный вечный
Ломоносов: Превыше пирамид и крепче меди
Державин: А мой кристаллов тверже он и выше пирамид
Ломоносов: Взгордися праведной заслугой муза
Державин: А ты, моя, гордись заслугой справедливой
Ломоносов: И увенчай главу дельфийским лавром
Державин: Нет, — ты чело венчай зарей бессмертья

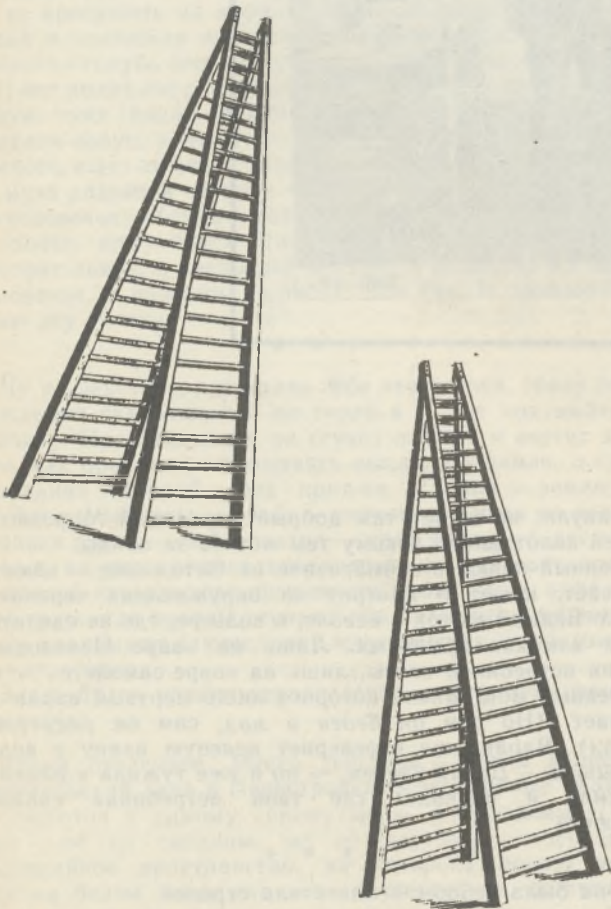
Не говоря уже о том,
что молнии блещут над водами,
что солнц златых огнистый сонм
вселенной движется путями
что все падет и пропадет,
телесный панцырь всех червь сгложет,
что глас пиита не умрет,
а нам ничто уж не поможет...

Державин: Я памятник себе воздвиг чудесный вечный
Пушкин: Но ведь и я памятник себе воздвиг
нерукотворный

Державин: Металлов тверже он и выше пирамид
Пушкин: Зато к моему не зарастет народная тропа
Державин: О муза, возгордися заслугой справедливой
Пушкин: А лучше все-таки веленью Божью будь послушна
Державин: Чело твое зарей бессмертия венчай
Пушкин: Это уж как изволишь — ты только не оспаривай
глупца

POST SCRIPTUM:

Хор имени Пушкина: ПМТНК СБ ВЗДВГ НРКТВРН...
Гораций: ЕУ-Е-ААЕ-АОАЯ-ОА!
Хор имени Пушкина: ВЗНСС ВШ Н ГЛВ НПКРН...
Гораций: АЕАИОО-ОА!
Хор имени Пушкина: ВЛН БЖ МЗ БД ПСЛШН...
Гораций: ОИЫ-Е-АА-Е-ЕУЯ-ЕА!
Хор имени Пушкина: ХВЛ КЛВТ ПРМЛ РВНДШН...
Гораций: И-Е-ОАИА-УА!



РУСЛАН МАРСОВИЧ

Фараону Аменемхету посвящается

ЛЕТАТЬ И ПЛАВАТЬ



* * *

Она была стрелой, но родилась среди стен. Стенам не положено было имени — ими командовал потолок — строгий, но справедливый. И с потолка можно было многое брать, и нужно было этому учиться: имена.

Но вместо травы здесь жил паркет (стройный и корабельный), но никаких закатов: солнце просто заваливалось в узкую щель между стенами. На берегу неба — обещание парусов. На берегу — все зовут ее, все ее выбирают: в ручеек, в кандалы. Когда ей было десять месяцев, она впервые осмысленно померила бусы, но лет с двенадцати до конца школы — только книги, только песни, только походы: скалолазка!

«... а Володя ускакал на своих длинных ногах. Володя меня предал. Я так и знала — он уже разлюбил. Я так и чувствовала — опять остаюсь одна-одинешенька, как Пенелопа, как Ярославна, как Терешкова, наверняка опившаяся от страха, наверняка кричавшая — Мама! — когда ее бросили, когда ее швырнули, когда ее кинули —

обманули: не живет там добрый бородатый Морозко со своей колотушкой, некому там мстить за обиды.

Бедный канюк в зоомагазине на Остоженке — клюет и бросает, клюет и смотрит на окружающих черепах и змей. Бедный канюк в неволе, в вольере, где не сделать и трех взмахов крыльями. Лишь на ковре Пенелопы — сцена ястребиной охоты, лишь на ковре-самолете...

Бедный мой канюк, которого лишь мертвый варан понимает. (Но сам он *беден и мал*, сам он *смертельно устал*). Варан еще перевернет нелепую ванну с водой, услышав — Давай улетим, — но я уже тужила и плакала, тужила и плакала: где твоя ястребиная свадьба, канюк?»

* * *

Она была ребром — она стала стрелой.

Почувствовав обман и оставленность, она вдруг оказалась в фиолетовом коридоре детского сна, где кафеля плиты уползают наискосок, равномерно накладываясь — и приближаясь, и вибрируя от луны. А вкус воды полузабытый ускользает уже, превращая то, что хотелось пить в каплю, в слезу, в предательство:

Не стану я *глотать столько попугаев!*

Не буду я пить вашу *железнодорожную воду!*

Мужчина-поезд громоздится и громоздится в ночь, и желтые крылья шелестят; но где же розы, обещанные, алые? Она не может дотянуться до крана, и он плакает всю ночь, и что-то толкает ее вслед — или навстречу: да же луны не видно уже, даже луны...

Северное сияние — включить!

И рассказать, рассказать мне о парусах...

Входная дверь терпеливо ждет звонка, готовится — к самому тихому перестуку, но, ты же знаешь, здесь живет большое темно. И сколько ни слушай — лишь шелест: это крылья. И сколько ни раскрывай, пошире, глаза — лишь провалишься в глазок на входном туннеле: нет движения, нет света.

Серые коты, серые ночные коты... Что ж не сожгли вы мою каплю, каплю соленую? Что ж не принесли вы мне в лапах дрему дорожную, осторожную? Брысьте!

Интермеццо эскимосо

Акумук — 19: один крылатый львун, живший на самом краю мира, был женат на лисе, которая жила в обличьи. Вообще, это самое «обличье» видно живет совсем в другой сказке, и я не знаю, что это за страна. Слушайте дальше. Недалеко от них были — жили их предки далекие, которые, правда, умерли, но вели себя хорошо и без приглашения не заглядывали. Про них я в другой раз расскажу. А сейчас — смотрите: стала яранга разваливаться; слушайте: вдруг послышался треск. Выскочила лиса из логоа, видит — нет, однако, никакой яранги, вместо нее река течет. (Акумук — это же месяц такой!). Хорошо. Это лиса-то думает: хорошо, мол, что львун — на охоте, а то от плавать не умеет. Тут ее подхватило течением и понесло. Хорошо. Это уж я говорю — потому что вижу, как выбралась уже лиса на берег, сняла свою шкуру и положила ее просушить на асфальт, а потом вынула глаза свои лисьи и положила их просушить на асфальт, а потом — плохо! — голубь мира пролетал и съел лисьи глаза.

И вот ходит лиса, бродит лиса — все ищет свои глаза. А львун тоже ходит, бродит — ищет лису — (В Акумуке родился львун, в Акумуке). Идет он от реки, бредет он в темноте, ищет он лисий народ. Вот выходят к нему навстречу мухи разные и червяки — какие красивые! — и говорят по-человечьи: «Хочешь, возьми нас!» А львун не понимает, не хочет, жену зовет. Видно прилепился к ней. Ну, — смотрит львун, а следы все меньше, и половина из них — человечьи, а половина — лисьи. Вот как. И дальше я не знаю эту сказку.

* * *

Ну и представь, представь себе этого лиса, сразу после рождения оказавшегося по горло в г. (не подумайте «в грязи»). Представь, как он стучит лапами и вертит хвостом, как пропеллером, пытается выплыть к земле, о существовании которой — эта прит-ча. «Земля — земля!» — трубят авторитеты. «Край, — уточняет червяк из-под половинки ореха, — я бы сказал — край земли». А лис забирается на свое скандальное дерево и посылает всех — в светлое «вчера», где прожектора стоят вдоль асфальтовых трасс, где вороны ступают под бетонными деревьями, и все поднимают клювы, и все ждут сюжета, пусть даже — сюжета топора.

Здесь будет начата первая серия и в фабулу прорублено окно.

Время столичное. Место действия — лисий дворец — совминовская дача в Перестройкино: мраморные балконы спускаются к самому синему морю, к кораблям. Тяжелые — не то гардины, не то портьеры — очерчивают трагедийное пространство, из которого можно выйти или на белом коне, или — на четвереньках, по-звериному — через черный фарсовый ход.

Здесь не прочесть, хотя и видно, что негодяй: здесь дворник, здесь домохозяйка утащили попробовать на зуб и зачитали до дыр. Здесь была завернута рыба, здесь — птица. И остались у нас лишь строчки, наколовшиеся на плавники, прилипли к крыльям:

	время	тест	нота	но где же?
утро	4—8	море	соль	цветы
ссора	8—12	чайка	фа	самолет земля
рынок	12—16	сад	ми	лес дерево
дача	16—20	дорога	ре	дом кочевье
визит смерти	20—24	кирпич	до	стена дверь
больница	24—4	хрусталь	си	маска глаза
утро	4—8	море	ля	суд

+ Не пеняйте на отступления от схемы, не путайте нас с нашим зверинцем.

* * *

Лисье время имеет лапы разной длины, и ступают они не в цепочку, как лис, а как-то необъяснимо, всегда неожиданно. Лис держит уши востро, готовится радоваться какой-никакой годовщине. Лис торчком ставит уши, боясь календарных несчастьев. Но каждый раз праздник наступает внезапно, и все вдруг уже радуются, а лис думает, что, видно, он опять упустил мыша по кличке «момент», не заметил, как пришел праздник.

И лис вертеться начинает, будто праздник этот наступил короткой толстой лапой не куда-нибудь, а прямо на лисий хвост. И лис лает фальцетом, и скачет, блестя глазами: радуется-боится. А потом вдруг прижимает уши и замолкает на полслово от того, что все вокруг смотрят на него, как бы сквозь дымку, из-за унылого своего калашного ряда. И лис мгновенно понимает, что праздник уже кончился, и с досады начинает кусать всех подряд.

Как высоко прыгал он, предчувствуя момент чудесного превращения, когда, например, змея, погибающая под копытами, воплощается в прекрасную лошадь — так же безнадежно утыкается лис мордой в пыль, зная, что снова проиграл. И тот, кто все дни жизни своей проводит на чреве своем, уползает питаться прахом своим. И тот, кто мчит в розовой утренней дымке, — скачет в послезавтра, не отзываясь на лисьи причитания: «Раз, два, три! — вот время, когда что-то случилось, а я не понял, и вот — нет больше праздника».

Ну и что? Ну и вот: так как все — это был львун, то и шариком воздушным был лис в неуклюжей львунской лапе, и сосулькой сосредоточенной — упал на львунский нос. Значит: львун виновен.

* * *

... А родители часто говорили лису: «Радуйся, вот природа!» И лис бежал со всех лап, но там жила какая-нибудь клумба нарисованная или рябина — хилая и горбатая. Лис отворачивался обиженно, оборачивался с упреком, и крошечный клык закусывал некроличью губу. Папа-кролик разводил руками, мама-кролик озабоченно хмурилась: «Да будь ты хоть суперлисом — сначала докажи, что можешь, как мы: уши прижимать, следы путать». И лис кончал экстерном кроличью школу, зная складлык — и песни кроличьи, и заповеди.

Папа-кролик: «Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать...»

Кролик-мама: «Я ступила на корабль, а кораблик! — оказался из газеты вчерашней...»

Голос сверху: «Стойте справа. По возможности, проходите слева. Не оставляйте малолетних зверей без призора».

Кто-то, как львун: «Если религия — это не о!пи!ум! и не глаз за портьерой, и не голос, хлопочущий так о многом, — а вкус и интерес зверей к бесконечности, то

Владеет книгой хитрый лис,

И лучше ты ее не трогай.¹

В книге той — пивяки вместо букв. И пивяки считают, что ливуны — звери ивиноватые изначально и навсегда. Почему? Да потому, что если на всех ливунов не хватит вины, то ведь может появиться маленький шанс — что малюсенькая часть вины — все же окажется и тогда уже безвозвратно — на перво-пивяке. А этому не бывать, — поясняет

¹ В смысле «не трогай книгу». Китайцы думали, что лис может быть мужского рода («Месье лиса»).

супруг лиса, появляющийся здесь из лисьего фильма «Наискосок» (князь Владимир).

* * *

Лис — Володе: твое число 3, а я — или твой лис, или море разлитое бесконечных возможностей, всевозможных лиц. Я лодка — желтая, подводная, путешествующая мультипликационно, бодро и одиноко. Я — все разноцветные, разношерстные звери, невозмутимо бегущие, ползущие, летящие по своим звериным делам.

С точки зрения летучей подводной лодки мы, Вова, живем в ветхой, печальной и темной лачужке; живем на границе леса и города, в игральном домике величиной с домино. Нет у нас окон, глядящих вниз, внутрь. И даже в небо — мы лишь опасливо поглядываем через дымоходы. Звездам не положено падать в наш спецогород. Там лишь будка злой собаки и гараж кирпичный — уменьшенные копии нашего карточного дома, хозяйские представления о собачьем и автомобильном счастье.

Я хожу по второму высокому этажу. Я смотрю то в то окно, где лес и самолеты, то в то, где туфта, новостройка. Снег везде, снег. Но здесь вот — леса живые, настороженные, а там — бетонные, самодовольные. И солнце восходит везде, но здесь оно убедительное, а туда боюсь идти, чтобы не заблудиться в отражениях: Акумука.

Если долго идти по зимней лесной дороге, то обязательно встретишь того, кто тебе нужен. А если пойти назад, где зарыты собаки, то появятся лишь руки — «что хотят и тебя и меня»: чтобы ставить на полку, чтобы сажать в клеть. «В зоопарке, по стенам, висят тут и там — три медведя, декабрьский витязь. За столом одиноко сидит капитан. Разрешите? спросил я. Садитесь». А я уж лучше постою, а я уж лучше посмотрю: что вы наделали здесь? Как вы могли?

* * *

Ища спасения от агрессивности, они выставляют культуру, как щит, и превращают эту даму в элемент вооруженный. Ах, оставьте, оставьте ей свои, маленькие в сущности, дела, не ломайте ей спину... Но поздно: она уже втянута, втиснута, вбита. И я нахожу отравленные плоды по всему берегу, по всему берегу нашего прекрасного острова.

Капитаны культуры твердили: больше света! И вот беззакатный день близок, как никогда. Но как же тогда, куда же — мы спрячем всех наших небывалых глазунов, этих зеленых и малых? Ведь будет день, и шаркающая походка обнаружит себя на сплошной бетонной крыше...

Так выступил лис на международной конференции по птичьим правам, которая по воскресеньям проходит на Таганском птичьем рынке. А потом, в знак солидности, лис забрался в автобус — вместе со всем проданным народом и купленным зверьем. И целую остановку собаки лаяли взахлеб, требуя, чтоб лис убирался, а попугаи и рыбы бормотали ему, кто жалобно, кто легкомысленно: свой.

И кто-то умер, и кто-то родился, как любит повторять Егор Радов. И лис выскочил из автобуса, и лис проснулся: отныне «Илис».²

* * *

Как это хорошо, Володя: слышать за спиной торопливые приближающиеся шаги и знать, что это не может быть к тебе; и убеждаться — нет, нет. Какое о-пойтельное чувство легкости, необязательности, неподключенности.

Наверное, ты скоро забудешь, что жил на краткой Земле.

Наверное, ты освободишься от лисьих взглядов и запахов так же легко, как освободился уже — от прятавших тебя лисьих волос. Наверняка, ты будешь плыть в своей лодке по марсианским каналам спокойно: не замечая, как вода за кормой каменеет, не обращая внимания на голоса, зовущие и требующие. И кратер «имени нас» превратится в гору, и родится мышь — и ты назовешь ее: Наверняка.

² Я слышал, что есть такой демон злой — «Илис», но это другое. А тема лисьих зомби — отдельная и едва приподъемная.

Высота, высота поднебесная.

Глубота, глубота: море марсианское. Откуда родом наши птицы, куда все собираются косяками — наши рыбы.

И львун будет легко и свободно носиться под морем полуночи, над зеркалом звезд. И глазунов будет выходить на красную тропу, задавая Володе: «Закрыв глаза, какой ты видишь сосуд?»

В нем яд — прочь!

Все знаки в нем имеют облака значений. Все знания здесь — о ларчике с несчастьями, о заветном даре родителей — детям. Идет война, *прислушайтесь к звуку*, придумайтесь к пробке, к вине, в которой — истина.

В такую шальную погоду нельзя, мол, доверяться, но *голос был бел*: Сушите ваши весла и ставьте, скорее ставьте на красное.

* * *

Здесь Илис окончательно выныривает из дремы, успев запомнить ощущение перехода нескольких границ одновременно. Урча и потягиваясь, Илис вспоминает последний сон и понимает, что видел не столько чьи-то действия, сколько готовую речь о них. Душечка. Не случайной появившись в конце Володичин текст, выкинутый им из «Чужого суда»:

Вова откладывает свежие «Марсианские хроники», Вова отводит тянущиеся к нему из воды руки: «Красные маки, — сказал мне один чувак, — светлый праздник на Земле».

Прикладом автоматической ручки обламываются рога любых марсианских тварей, но что же мне, пасынку, делать с двоюродным глазуном из «Даржеста», — со всем его насморком и плачем? То есть, тема дискуссии: растут ли на Марсе розовые розы, лежат ли на марсовом снегу яблоки, и вообще — можно ли там слышать голосок малиновки, кар-р-р?

Хорошо поставленным Бартом нас убеждают, что Марс — это только французская провинция; в чем, соответственно, есть известная доля французской вины. Что ж, если бы мы родились в Аркадии, а не в Папуя³, то, побродив с тросточкой по Елисейским полям и магазинам, и мы стали бы — сплошными Камю. И рисовали бы рассеянно звездочки на бутылках и флагах, и размышляли бы о посторонних, о красных: «Гори, гори, марсианская звезда; гори синим пламенем!»

Но если на шее Садовое кольцо, а в глазах — снега, снега, то *печаль моя светла*, вот что. Бывают жалкие, ничтожные пейзажи. Бывают бездарные места, где не напишешь ни строчки. Но не там ли зацветает нарисованный сад; не там ли в стеклянном гробу верность хранится? Не там. Нетам.

«Нетам» — это гора или мышь? — мышь или крыс? — крыс или корабль? — корабль или лодка? — лодка или весло? — весло или «взлетанье птиц»?

Птица пошла в морскую глубину.

Рыба полетела высоко в небеса, — вот что такое «нетам».

* * *

Лис смотрит на спящего Володю, лис ничего не боится: «Кажется, мы по-настоящему счастливы». Вдруг — звонит телефон, и, схватив трубку, Володя довольно медленно растворяется в воздухе, успев пустить в ошалевшего лиса воздушный поцелуй. Лис просыпается в холодном поту, лис понимает, что снова ему только снилось, что он просыпается. И лис не знает, перешел ли он эту границу сейчас...

Новый год — пустая копилка вина.

Новый год — коварная улыбчивая матрешка, скрывающая прошлые сны.

Новый год — в белокаменной стене маленькая узкая дверь, настезь открытая для катаклизмов и войн: амок-укаум! А тут что? А тут — прыжок пружины, заговор маятников, Йокнапатофа на пространстве одной семьи.

Как бы лисий дневник.

... Как же так получается, что Новый год — это и праздник всех до одного, и только наш с Володей? Когда в новогоднюю ночь мы шли по Гоголевскому бульвару,

³ Опечатка, но какая!

Володя, размахивая руками, говорил о предназначении, о судьбе; цитировал «Горе от ума»; перескакивал, когда мы выходили на Арбат, на тему праздника и доказывал, что нелепо выделять в общем потоке отдельные дни, говоря: вот праздник. Потом он даже рассказывал сказки, и я помню не только каждое слово и движение, но и — где мы в этот момент были, где плыли, подчиняясь ветру и снегу.

... Я вспоминаю наше начало, я понимаю, что таким восторженным, ласковым и преданным — Володя уже не будет никогда. Он стал директором какого-то совместного предприятия и целыми днями пропадает в конторе, на рынке. И я люблю, когда он привозит с рынка красные розы на длинных толстых стеблях, но иногда мне кажется, что он возвращается — как бы испачканным. Не спрашиваю меня, сам отвечает коротко — вижу, что он по уши погружен в рынок, в деньги, во всю эту грязь.

... Как простая слеза, оставшись одна, становится каплей в море? Чтобы знать, где я и кто я, мне нужно спрашивать у Володи, но иногда я могу рассуждать логично, последовательно. И тогда обязательно становится страшно: вдруг чувствуешь, как кто-то пытается доказать тебе — странное; все убеждает, убеждает тебя — в заведомо невозможном. Я — ребро: но разве бывают ребра оставленные, ненужные?

... Когда я напоминаю Володе о его новогоднем письме, сентиментальном, дерзком и сбивчивом, он только морщится, но я-то полюбила его именно таким — нелепым, незащищенным, с квадратными изумрудными глазами.

* * *

Как бы письмо Володи. Наизусть.

Настоящая независимость — это когда понимаешь, кому ты должен принадлежать. Расту — просыпаюсь — рождаюсь. Забреди я сейчас в Антарктиду — не миновать потопы. Вдохнуть полной грудью тоже нельзя: надо же и другим воздух оставить.

В эту ночь мне не было нужно — ничего. Такое больше не повторится. Теперь годы уйдут только на перечисление того, что мне необходимо в самую первую очередь. Все, на что ты взглянешь с улыбкой. Все, что ты попросишь... Надеюсь, тебе не понадобится чужая роль — иначе моя рука так и останется пустой.

Хотел бы остаться навсегда таким, каким ты запомнишь меня. Как тяжело мне было молчать, видя, что мой мир — только мой! Теперь знаю одну простую вещь — мое будущее в тебе. Проживу еще столько, сколько успею сделать для тебя. Постараюсь угадывать твои настроения. Показывать мультфильмы, когда тебе наскучит метель. Камешек мумией из пушкинского музея, когда ты будешь утомлена. Осторожно разглаживать каждый твой волос, когда забота покажется тебе уместной.

Проклятое время ясности, понятности. Отчего степень нашей вежливости с людьми обратно пропорциональна степени знакомства? Чувство чуда, чувство вопроса: будь моей прекрасной знакомой. Расскажи о себе. А если захочешь узнать меня — я возьму этот перочинный ножик и аккуратно разрежу себя надвое: постарайся, пожалуйста, разобраться.

Заглянут тебе через плечо — интересно, чем же он был так надут? Ха — да там только одна ночь — всего лишь одна новогодняя ночь... Не спорь с ними — ты же знаешь, как это много.

Черт, какие же мы эгоисты! Вдвоем?

* * *

Еще помню длинный пассаж про снег. Что вот — мягкий и тихий снегопад, что снежинки — Володины посланники. И что это нежность его скрипит под моими ногами, и — про «огромные поля веры — белоснежные и надежные — до весны». А заканчивалось письмо пространным рассуждением о страсти к нарушению границ («Потребность битвы — быть на краю, на берегу, на лезвии»). И действительно, ведь мы прожили вместе так долго именно потому, что реализовали, каждый по-своему, свое представление о запретном и невозможном.

Что выбрал арап себе сударушку,

Черный ворон белую лебедушку.

А как он, арап, чернешенек,

А она-то, душа, белешенька.

Чтобы ланиты — покраснели и заблестели — очи, мне по-прежнему нужно выпить — хотя бы пинточку — Володины крови. И, как в несуществующее «домой», меня по-прежнему тянет к морю и в лес (где качаются на волнах чайки, где терпеливо сидят на ветвях русалки).

А на даче, конечно, по-прежнему страшно, мутно и душно. Здесь умерла, не дождавись меня из затянувшегося медового путешествия, бабушка. Сюда она возвращается, чтобы похихикать над оставленной для нее чашкой чая, чтобы пошаркать в коридоре и побормотать на кухне. (Только львун смеется вместе с ней, только львун жужжит у нее «над ухом», мешая заглядывать в кастрюли.) А иногда я чувствую, как бабушка просто и бесцеремонно забирается внутрь меня, и тогда речь не о пролитом молоке, а о разбитом корыте: как в величайшее благо обратить величайшее зло?

* * *

Вот вы твердите о том, что хотели бы преодолеть неродственное отношение слепых сил. Но представляете ли вы весь ужас и непреодолимую какофонию жизни, в которую «из лучших побуждений» проникли только посланцы, лишь теньевые вестники тех сил, которыми вы собираетесь управлять с помощью шутки и пистонов своих?

Помилуй, боже, ночные души!

Помилуй великих путаников, ищущих пути, не ведущие в пропасть, не кончающиеся на вершинах.

Мне говорят — читайте книгу, уж все придумано, уж близится полдень. Но книга у всех своя, общее — только требование встать под знамена. И все говорят мне, что я иголка в яйце, а яйцо — в ларце. И все предлагают мне закинуть голову, предлагают — «определиться». Так вот — вам спасибо за умный пассаж: мы считаем иначе, мы считаем до двух: йокнапагофа.

У нас есть традиционное представление о судьбе и нетрадиционное — о способах взаимодействия с ней. Мы растим из себя «власть-имеющих» и каждое утро — беремся за лук и стрелы. Мы лепим князей, и нам интересен момент, когда вы ткнете пальцем: «из грязи». Тогда мы улыбнемся брат — брату, сестра — сестре, улыбнемся, как боги: «а больше-то и не из чего».

Но что это, что это за стадо за тобой? Я констатирую факт: эгоцентристы.

Из кустов и как бы случайно: «Пора завязывать бороду узлом».

* * *

Типа: «шагаем улицами жизни», пишем, присев на корточки, письмо ученому соседу «О хорошем отношении к духам и демонам». Шагаем, боясь опоздать, видя лапы свои, которые раздвигают и снег, и грязь, и пыль. И шагаем, боясь обернуться, шагаем.

Путевые заметки: что сказать тебе о городе Полонец? Город этот расположен на холмах. На холмах, мол, говорю, расположен. Речка есть. За речкой — холмы. Стоял и я здесь в очереди за молоком. Спросишь — времени было скоко? А я тут же: семь пятнадцать. А и людей в очереди стояло тридцать, опять же, человек. При том, что ветрено и морозно весьма — 25 по Цельсию — не для страстей говорю это, но за точность, а еще — чтоб было понятно, почему мужики наклоняли бойлеро-броллер за хвост и стучали ему по носу: «не тикет». И если теперь мы сдвинемся от в пространстве, так узрим на африканской границе невозможные скалы гор, а если от — во времени, так окажемся в лапах «гроссмейстера» Замятина, и будет значительное утро со знаменами, и последняя беспощадная ступень событий, когда неизвестная барская птица скачет вверх и вниз и пищит последним голосом... А вернемся в Полонец — опять очередь, и снова «не тикет» — и станем говорить с народом, обсуждая всяческие варианты

попадания внутрь: тряпки, крысы, кошки: третья мол вряд ли, ибо умна...

Эх-ма, не пекут для нас пирожных безе, не пекут! У продавщиц здесь во-такие дырины в телогрейках, а под носами бородавки. Не ревнуй.

* * *

О чем думала очередь. Стенограмма.

Мне читали Гайдара: Есть дальние страны. Есть и сладкая жизнь — я слышала о Феллини. Так почему же мы живем в этой *грязной вонючей пещере*? Зачем развешиваются над нами пыльные флаги провинциальности? Был и у нас столичный житель — конь длиннорукого князя, но остальные-то: провинция-с, лимита...

И запоздалые наряды, и запоздалый склад речей: улучшение, ускорение, расширение. Что-то давно не бросали с раската, но: «провинциалы идут!» — чувствуют витрины и прилавки. *Сумчатые на уме собаки*, но: провинциалы: занимают места и поднимаются по лестницам: скучно?

Им свойственно ошибаться и брать приступом:

Выкатим кадушку капусты.

Они заказывают музыку и строят столицы:

Выпечем ватрушку без теста.

О, святая провинция! Кто сказал, что она умирает? Она да здравствует: с нищетой своей, с пьяными битыми лицами, с тупым терпением и нелепым соляным бунтом:

«А вот полюбите-ка нас грязненьких!»

* * *

Хорошо-то как, Маша!

Да я же не Маша...

Да все равно: хорошо.

(срединародное)

Не ложись, Маша.

Диван, Маша.

На мой диван.

(мамоново)

Говорю вам: маргинальный ништяк. Я говорю вам совершенно серьезно: это все маргинальный ништяк, его проделки. Ведь хорошо-то, хорошо, но я в смущении: мадам, где же обещанное действие? Уж время думать о названии для второй серии несуществующего фильма...

Ништяк, но это ж какая ответственность! Скажешь «Маша, мол, и Медведь», хлобысь: и хочешь, не хочешь, а давай — про Машу все, про медведя. Да-а. Обсудим. Есть мнение: «Прыжок пружины». Нас мол повергли в освобождение и вот — какая ответственность: раскручиваемся, раззудись плечо, вместе с этим, с социумом. Если даже маятник остановят, мы уж как-нибудь выьемся, вырвемся — как пружина из часов — пусть даже в чужую плоскость. И еще — прыг, скок — это *вже* модель женщины и, значит, уже в названии — модная тема эмансипации. Пружина-то гинекологическая...

Стоп. Но ведь тогда и структура понадобится — как резиновая бомба — скачущая. Нет уж! Дайте нам сквозняк лучше, воздух. Помнишь, Володя Сорокин рассказывал об Андрее Соболе, который в 37 лет застрелился, случайно посеяв на ветру свой роман? — Что, если «Роман на ветру»? И без дураков — в память. Принято.

* * *

Да, я потерплю, как девочка из «Соляриса»: только ты. Да — помучаюсь, как мальчик с Марса: *нет, совсем не так, не просто* быть нужным каждому и всем.

Как провожают самолеты? Совсем не так, как пароходы. На пристани включают «Прощание славянки» и можно сморкаться в платочек, и в безнадежное сердце тыкать пальцем, объясняя заветное — столпившимся на палубе. Потом, когда уже боковое колесо начнет плюхать лопастями, нужно не забыть про чепчики: пошутить, озираясь на всех, делающих жесты сожаления. И поднять-таки руку над головой, и подвигать ею в такт с остальными: лево, право — грусть, печаль.

А самолеты проваливаются в облака мгновенно. Выскальзывают, как мыло из неготовых к прощанию рук: никакой музыки. И никто не знает, в каком из самолетов от него улетают. И это усугубляется каким-то особенно хищным выражением, застывшим у самолетов на мордах. Летайте лучше на самокатах — мы вас научим.

... Если есть, Володя, 13 миров, куда долетают наши мудрецы, то в 12-ти из них ты виноват передо мною. Но даже это неважно, раз один из них посылает в меня ракету с запечатанным ящиком цвета ночи. Будем радоваться.

* * *

Глупый мой зверь, любви не может быть «слишком много». Купи мне черепаху, чтобы я могла кого-то держать...

— ... Чаще всего — в значении «сильно» и наряду со словами «хорошо», «здорово».

— Наверное мы — плохая семья.

— Ну, конечно. Я ж не соглашаюсь всегда быть «плохим».

— По-твоему здесь — запомни! — не будет ничего.

— ... а больше всего, когда ты говоришь «ужасный праздник».

— Не знаю, чем все это кончится, но...

— «А будет зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю». (Танцуют).

— На лапы не наступай. Не фальшивь. Подожди, стой. Ну-ка скажи мне, ты не бросишь меня с маленьким львенком?

— Маленький лис очень любил громко петь, но родители всегда говорили ему «не фальшивь».

— Не ври тут, на вопрос мне отвечай: бросишь?

— О, Господи, — пятый раз. Передаю по буквам: «Низачто».

— Почему же ты не поцеловал меня, как пришел?

— Я поцеловал.

— Мало, очень мало. Да ты что, уже разлюбил меня?

— Сегодня был очень тяжелый день.

— Ну понятно. Мы, значит, всю силу на улице оставляем, а дома мы утомленненькие...

— ... магнитная буря, кстати говоря...

— ... должен быть, что тебе достался такой подарок, такой пушистый, ласковый, кроткий лис!

— Я и счастлив.

— Мало, мало ты счастлив. Ну хорошо. Скажи мне честно — ты меня не бросишь? Вот будет лис старенький, седенький; львун — маленький будет все ломать и царапать, на все будет говорить «нет»... и что, — ты к своим поклонникам убежишь?

— Ага.

— Тогда дай, я загрызу тебя сейчас.

* * *

Целуются. Темнеет. Ветер распахивает балконную дверь. Занавес бьет его по плечу. Контур крыльев. Со стола летят бумаги.

Володя с лисом в коридоре. Свет сзади, ее волосы развеваются навстречу ветру.

Мальчик с лисенком в руках на мокрой черной дороге, спускающейся к реке. Асфальт с каплями — крупным планом. Громче и громче — заедающая пластинка: «И плачут самолеты, как будто виноваты, что никуда не могут улететь...» Из верхнего угла, занимая весь экран, движется детский рисунок: самолет со слезой, или что-то похожее, не разберу.

... Живешь-живешь. Мучаешься. Думаю — ну все. Полным-полна коробушка горем, и *нам ее не расхлебать*, и безвыходность такая. А как запишешь, снимешь на пленку, глядь, и просто все, тривиально, и как у всех. Незадача.

* * *

— Как странно, милая, как странно. Когда-то ты была яростной феминисткой и не признавала брак, как встречу с участком.

— Прошли тысячи лет.

— А еще было время, когда тебя дико перепугала та иступленность, с которой Володя ринулся в свою влюбленность: «богиня, колдунья». И ты сказала тогда: «Уйми-тебя, волнения страсти!» И ты ударила его по высунувшемуся из зарослей носу.

— Мне хотелось, чтобы он видел меня, как есть.

— А — чего тебе надобно — теперь?

— Хочу занимать в его жизни место почетное и первое, потому что я всегда-всегда любила его. А он меня обижал. А я его любила, а он — обижал, вот как.

... Почему на единственную правду так похоже все шарлатанское? Знакомый «сэнс» говорит, что, видно, мы с Володей «не безразличны неким силам». Многие, дескать, живут в болоте, не поднимая головы. А вы? А вы, говорит, на ветру, на снегу, на проспекте. Черные, непрозрачные — на белом, ледяном. Остается, говорит, выяснить, что для каждого из нас — источник питания: грязь, чернуха или белый огонь...

— Когда Володя уходит и уезжает, я не «прижимаю к груди сумочку», не «шевелю губами под стук и скрежет». Меня просто затопляет дикая злость — чувствую себя оплыванной.

— Так, может, это потому, что плюешь в зеркало?

— Нет, Не знаю. Наверное.

Летит, летит стая бумерангов.

... Пока ясно одно — своей незамысловатой жизнью, наполненной бытовыми мелочами, мы ежедневно замыкаем все те, якобы открытые, структуры, которые создаем в кино и прозе.

Вот так пишешь-пишешь, глядь — контур. Снимаешь-снимаешь, вдруг током — как шархнет. И сосна все-таки падает на твою избушку, и в предназначенном месте — неизбежный пульс: нужна жертва.

* * *

Сколько раз я просила тебя не оставлять меня на этой проклятой даче с нарисованным на потолке небом? Это ожидание у дверей врача: уж лучше освободи меня совсем, но не мучай так. Праздник любой — всегда прощание с чем-то. Почему же «славянка» твоя — лишь железо по стеклу, лишь зубовный скрежет и лисий вой?

Простимся с улыбкой, повторяешь ты: *и если навсегда, то навсегда простимся — с улыбкой: простимся — интеллигентно*. Но, видно, бурчит во мне та часть крови, которая — от запорожских казачек, которая — говорит «не уходи» потому, что уход связан с многолетними походами, вероятной смертью или турчанками мутноглазыми. А ты — ордынец угрюмый, кочевник, берущий приступом города. Тебе б все нестись, все гикать.

Хороши и свежи будут твои розы — не опоздай, когда из простреленного твоей единственной стрелой неба полетят уже слезы, когда ветер с корнем повыврывает зубы твоего леса, когда кашель грома спросит тебя, как ты берег доверенное? И разреши мне сказать тогда свое лисье слово: плохо.

* * *

— А тебе всегда плохо. Признайся, тебя же звали в детстве «клизмой»?

— Дурак. Тебя никто и никогда — запомни! — не полюбит так, как я. Кому ты нужен — такой длиннопалый, шерстяной и нелепый? Да, раньше я была другой: и сворачивала горы, и добивалась всего, чего хотела, чтоб только доказать, что могу.

— И всегда ты была первой...

— Да, была.

— И теперь ты устала...

— И мне нужна передышка, нужен покой.

— Но кто все эти люди.

И почему они так милы с тобой?

— Ничего смешного. К своим годам я добилась всего, о чем можно было мечтать.

— И теперь ты все бросила, и озадачена только тем, чтобы помешать мне — добиться к твоим годам того же...

— Негодай!

— Я тебя ненавижу.

(Целуются). Умукак: ни в коем случае не замахвайся на лисье кино, мы здесь пытаемся зафиксировать Володино представление о том, что делается в женской голове — каким бы это представление ни оказалось нелепым или упрощенным. Йокнапатофа, и все дела. В решении этой задачи, настолько же частной, насколько и гиперборейской, хороши средства все. По просьбе художника Славы Лосева намечаем криминально-детективную линию: ставим фишки.

* * *

Володе подарили квартиру, машину, дачу и компьютер. То есть — не было у Володи ничего. И вот он едет на рынок, едет на рынок...

Уходя из берлога, Володя крепко-накрепко запретил лису высовывать нос и отвечать на телефонные звонки. Лис — на дорожку — погрыз Володю и, провалившись в обиду, оказался под столом — игрушкой брошенной и плюшевой, сразу забыв все тройные наказания.

Когда в телефоне говорило, что нужен Володя, лис ревел обиженно, признаваясь, что и ему — очень нужен, а вот неизвестно, будет ли он когда-нибудь еще. Потом в трубке вдруг шелкнул курок, и кто-то очень убедительно каркнул, что у лиса будут завтра же отрезаны уши, если Володя не принесет туда-то столько-то тугриков для того-то. Лис остолбенел на секунду, а потом воинственно зарычал, но связь уже прервалась.

* * *

Отбой, отбой, отбой — перебивка кадров, и мы видим Володю, сосредоточенно и настороженно пробирающегося по задворкам рынка. Умукак.

Там чудеса, там исполнение всех нехитрых желаний. Да были ли вы на ярмарке, на базаре, где рубят сады, да зато строят — свинарники? Нет, не умерла здесь надежда нищих, и мечты слабых здесь воплотились: рынок.

Только здесь вы застанете рядом и новых унылых, и тех, кто с песней по жизни. «Без лоха и жизнь плоха», — носится в здешнем воздухе. Вы не знаете, кто такой «лох»? Значит это вы и есть — непосвященный, непричастный, незанятый. Это вас здесь ждут не дождутся гуттаперчевые уши и, в комплекте к ним, спагетти, макароны, лапша. Это Вам не обойтись без приобретения «губозакаточного станка», чтобы не занозить, раскатав их (губы) до пола, на котором опилки скрывают слабую суповую кровь проигравших, разбивших лбы.

Может быть, вы захотите подойти к прилавку — с другой стороны, и тогда, конечно, вы будете — будете поминутно вытирать потеющие руки, сглатывать слюну и блестять глазами — от стыда. Максимум, что вы успеете, это вскрикнуть пару раз слабым изменившимся голосом: «Каждой девчонке по юбчонке», и вас уже скушают.

Потому что проспали вы, и кончилось уже прекрасное утро рыночного дня, когда шмотки, как флаги, развевались над неоцепленным еще холмом. Нет больше той вольницы, когда, приворовывая по мелочи друг у друга, спекулянты горой и стеной стояли за качество обсуждаемых — шитых на белую нитку — штанов.

Не все перепродавали государственное или польско-турецкое. Много было чудачков, особенно студентов, которые сидели по ночам на коммунальных своих кухнях или в общагах и шили до опупения; или делали из джинсов «Чемпион» — итальянскую варенку, самородки.

Умники проповедовали единенье, *аслапоженье и общее дело*. Независимость виляла перед ними своим тощим задом: скажи да кричи...

* * *

Ну вот, а вы — проспали. И настало, как предсказал поэт, время отсутствия мяса. И все здесь схвачено, огорожено, поделено: в калашном ряду — с автоматом системы Калашникова — купец Калашников — старый вол-

чара — с бодрыми молодцами — веников не вяжет. Под открытым небом, в бывших ягодных рядах, одно место стояло 15 «деревянных» в месяц. Теперь все фирменно — красный менеджмент, черная консервация — и в красивом павильоне нарисоваться за тот же срок — уже под «штуку» (800—900) — Благородно!

А ваш, простите, начальный капитал? Сколько? Ишь ты, даже на станок не хватит. Тогда держи, брать, — на бедность — пуговичку, и давай: *большими-большими стежками*, к высокому своему лбу; чтоб все-таки пристегивать губу-то.

Сам, наверное, презираешь торгашей, а? Я, дескать, по нужде хотел, а они — по подлости натуры. Что? И не собирался? А, может, и на работе не фарцуешь? Нет? Тогда скажи еще, что и другие — как ты: скажи, и я буду знать, что нашел экспонат для паноптикума. Молчишь? — Торчишь. В Бобруйск не ездил, чувак? Говори, кто ты по жизни? . . .

Правда? Нет, кроме шуток? О, снимите все шляпы. (Все снимают шляпы белые, модные). Перед нами супер-босс, экстрафизии. Перед нами — культуртрегер!

Фигура К выезжает на первый план. Экран делится на две половины: в одной на К поднимает глаза с надеждой Лис, в другой смотрит, ожидая, Володя.

Потом антракт: кому тугрики искать, кому подозревать чудеса. Фигура К как-нибудь сдвигается вбок, и мы видим калашные ряды, толпу и множество белых шляп. Юная Пугачева поет о белой же панаме: «Ах, мамамамамам! Ну где твоя панамка?»

* * *

Да кто сравнится с Матильдой моей? Да никто! . . . Вот Марфуша все хлопочет — то космонавтка она, то делегатка. Это как каблочки или помада: для — ради бубнового короля. Пусть он будет ласков и добр, пусть вьется на ветру чубчик, чубчик кучерявый.

Ночь нежна — не тревожьте солдат культуры. Ночь темная, моя Марусечка, — пусть солдаты немного поспят. Темная ночь! Кто-то стырил ручной пулемет, и гранату системы «капец» мне в карман подложили . . .

Так вейся, развевайся чубчик мой в Берлине — Маруся помнит дни золотые.

Гоп-гоп, товарищ Маузер, — летят белые журавли. И жить так хочется, и ночь нежна, а город подумал! — а город подумал! — а город подумал: ученья идут.

— Пойми, если я не буду ждать тебя так, как жду — ты ведь действительно не вернешься с этой войны.

А ты все молчишь, Агамемнон.
А ты ведь не слушаешь.

И я вижу ясно, как раскачивается в облаках наша веревочная лестница. И я слышу, как скоморох Мамонов поет для меня:

Знаешь, что все это значит.
Вся твоя самоотдача?
Ноль минус один. Ноль минус один.

* * *

Она стала стрелой — она вошла под ребро.
Каждое утро начинается на рынке культуры криком: «Вот новый! Вот авторитет!» И все подслеповатое и безногое задается вопросом: «Не видно ни зги — куда он завел нас?»

Плакали ваши паруса, плакали самокаты: «Покупайте! Варите! Кирпичьте!» Царство проспавшее — проспавшее каждый.

Толпа — «За чем очередь?» — Похороны. — «Все там будем». И «авторитет», подвывая: «Мне в красивом конверте — грустные глаза. Мне у каждой колонны — по грустной свече». Но если его научить летать, то на крыльях его обязательно вырастут когти. И вы, изумляясь: «Здесь даже солнце весеннее грязные окна освещает напрасно. Здесь он кушает печень — и не может иначе».

А когда кончается охота жить, львиную шкуру латают кусками лисьей: приглашение на суд, на сон.

Луна, похожая на снег, на портрет, на боль: Здесь

Сын поднимается медленно в гору, в окружении наших снежных мужиков. Здесь руки его обретают зренье и голос, когда, не поднимая глаз, он: «Обнимаю».

С силой и мудростью придут к нам боль и печаль. А пока мы в коротких штанишках, и наш призывной возраст дудит в дуду: разбрасывать камни, рубить ветви, забивать гвозди.

* * *

Телетайп с броненосца культуры:

«Ах, не будите меня молоду / рано, рано по утрам / . Разбудите молоду / На солнечном восходе / . Да есть ли что мечей поюнней? / Да заведомо нету! / Шашки наголо / . Пусть всегда будет солнце! / (А меня занесите в книгу красную, занесите хоть в книгу белую. Иначе придется мне написать свою, фиолетовую).

Судья имеет голос и мел для отметин. Судья уродила лиса на потемкинском броненосце, летучем и призрачном, где старые мореходы пили без передышки, где капитаны *Либо* скрывались в трюмах с прикованными мертвецами, либо по очереди сбрасывали друг друга к акулам: «Пойди-ка, послужи!»

Будет вам день беззакатный!

С ночью вы не радели —

Вот и все ушло . . .

Ночку вы не жалели —

И становится слишком светло.

— «Скажи мне, чему ты рад?» — даже если ты снимешь не сто, а тысячу, тьму полноценных кадров — «Постой!» — обращаются к тебе машинисты времени — «Оглянись назад! . . .» И если ты последуешь совету мудрых, ты узришь печаль в глазах Гекубы. Она и плачет, и страждет по Кукольникову; жалко ей рабыню Изауру, а на твоё арьергардное кино ей *«пиливать!»*

* * *

Мелодрама коды: беспредел:

«Соки, воды, пиво, табак, пэлмэни.

Дай мне уткнуться лицом в твои колэни!»

— Я хочу в лес, в избушку, в угол.

«Универсальный магазин», «Ава нареду», «Аните деньги».

— Я устаю от толпы, от шума, мне здесь нечем дышать.

«Уважаемые гости столицы! Наконец-то и у вас есть счастливая возможность поступить в нашу средне-профессионально-техническую кублуху. Запишите, запишите телефоны!»

— И гадаю, и ворожу, и кричу, а все с того берега, с противоположного . . .

. . . Видно, у нас ничего не выйдет. Ты любишь только себя и свои слова. А я устала, устала жертвовать. И у меня поперек горла стоят все угрюмые творцы, все матросы и бакеншики. Никогда не была я «мещанкой расчетливой», но семья . . . Семья — это больше, чем ты и я; важнее, чем все, что мы успеем.

Что «сичас»? Что «серавно»? Да врешь ты все в своих книгах! Все, что ты написал и напишешь, не стоит моего мизинца! (Бросает рукописи на пол.)

— Ну вот, ушел. Все-таки ты совершенно не понимаешь меня, не чувствуешь, толстокожий мой, дубиноголовый . . .

Как же ты можешь? — Вот так, взять и уйти. Неужели ты не понимаешь? Это зима, это оледенение, когда лыжнику — уже на трамплине — бросается в ноги страх, и он знает, что мог бы жить и вновь подниматься в гору лесенкой, но он следует — путем сердца своего — и судья: *мы вас вычеркиваем*. Так как же ты можешь?

. . . Обняв колени, можно делать вид, что разговариваешь с собой-самим, но потолка-то уже нет. И сидят, сидят на стене птицаны: мутные, серые, зыбкие. Если не поднимать головы, они так и будут мерно качать огромными носами, так и будут болтать ногами в шлепанцах. Но чуть только ляжешь, они — сразу вниз, и долго летят в лицо, уменьшаясь в размерах и брякая беспорядочно крыльями: каждый хочет сесть первым; *каждый видит прекрасные сны* о простых вещах: мороз и солнце, лодка и весло, яблони в цвету, како-ое чудо, яблони в цвету я не-эээ забуду!

* * *

Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой про гусара, который наклонился и меня поцеловал...

Баю-баюшки-баю! Царствуй, лежа на краю.

Синица подожгла наше общее море, и предательство раскидывает свои черные крылья: в твоём заповедном лесу идет охота, идет охота.

Каркнул ворон на березе...

Свистнул воин на коне...

Погибать тебе, красотка,

В чуждеальной стороне!

Скучно, бабушки, весною жить одной. Грустно, декабристки.

Все одна и понапрасну

Обольщая душу страстну

Друга ищет, друга ждет,

Другу голос подает.

Я говорю «снег». Я повторяю — «снег» — для тебя. Но нет тебя, только буквы (лживые).

«И тайно и злобно»

«Кипящая ревность пылает»,

«И тайно и злобно»

«Оружия ищет рука».

Вот! Вот что мне нужно. Пусть тебе будет так же больно, как мне. Пусть не ко мне прилетят птицы, а я к ним — приплыву. Симметрия, Володя, симметрия. Пусть будет, как хотел ты, как ты хотел: ванна. И жест скрипача: нам нужен огромный оркестр. И чаши, Володя, очень похожи. И: больше света.

Коль надежда меня помнит —

Мой венчик потонет!

Коль надежда покидает...

* * *

Роман на ветру

— Господи, что мы с тобой наделали! Бедная, маленькая моя девочка. Прости меня, прости...

Роман на ветру

— Я буду беречь тебя, буду охранять — чтоб никто не обидел моего Лиса. У нас будет ребенок, правда?

Роман на ветру

— Наверное, ты замерзла без меня? Хочешь, я постригусь налысо? Что же ты молчишь?

Роман на ветру

Ты ничего не говоришь.

Ты только смотришь и молчишь.

Смотришь — молчишь.

И ты не ходишь никуда

Ты не выходишь никуда.

Ты — рядом всегда...

Роман на ветру

Я, Володя, говорить с тобой... Как это хорошо: шаги. Рояль, Володя, весь раскрыт. И струны в нем — Володя. Пока себя плохо, но — доказательства. Далеко гляжу, все помню: ты говорил «не важно», ты говорил «пустяки». Бедная Москва, бедная брошенная девочка. Птичка плывет — я точно знаю. Птичка плывет — значения очень много. Птичка докажу тебе. Правда, мне не дают здесь бумагу, то есть — я не хочу здесь писать. Птичка плывет, назад забыть шаги. Здесь все очень белое и доброе: спасибо. Здесь очень много разных имен. Я их слушаю не совсем спокойно. Камень, Рояль. Наверное, кто-то зовет меня. Наверное, меня зовут. Как это звать, Володя: шаги. Птичка плывет — назад не отдает. Вова! Возьми меня! Вова! Я какая?

Правда, мне не разрешают смотреть, то есть, я отдыхаю.

Я открываю глаза, я сижу высоко, я вижу ясно: птичка раскрыт поднять, птичка раскрыт поднять, птичка раскрыт поднять, птичка раскрыт поднять: легче камень поднять, чем вымолвить слово — любить.

Роман на ветру

Грушевые деревья со всеми их сердцами, все дальние страны со всеми жирафами, самое небо, ракетное, самолетное — за один только взгляд, хитрый, лисий.

Достать чернил и плакать: февраль.

Никогда больше: закройте глаза газет.

Но вдруг — февральская заря: мое любимое слово — «если», мое любимое число — два.

Если будет февраль, четверг, утро и гром, то фильм может быть снят заново.

Если сказать «восстань, и виждь, и внемли» лису, то, хотя ему и придется жить на задних лапах; хотя собаки и будут чувствовать его грустную участь и лаять недоуменно; хотя по ночам будут шаги в сапогах и разбитые зеркала; хотя среди белого дня разорвутся обои, впускная вихрь, черноту и месть, но до этого-то дня — как славно, как счастливо, как долго мы с ним...

Баю-баюшки-баю, мое дитяtko.

Спи, усни, мое маленько.

Спи, да усни, на погост гости!

Но где же стена, о необходимости и неизбежности которой нам столько рассказывали? Кирпичная! Высокая! Великая! Ее нет как нет. Нетути.

О бай-бай, о бай-бай.

Уж как дедко Бадай

Кричит: «Лиса подай!»

Я Бадаю на ответ:

«Мово Лиса дома нет».

А есть остров Капри, и физический, и, в то же время, «мета-». Есть Карибские моря с флибустьерами.

И вьется пыль из-под копыт, и продолжается сабельный поход: «Ахейские мужи во тьме снаряжают коня».

Звери все едут в автобусе по своим звериным делам, а золотые рыбки все бьются — сосредоточенно — глазами об стекла банок.

Положат чурочку в могилочку

Под бел камень, под сыпуч песок,

Рядом с бабушкой, рядом с родненькой.

Сорок тысяч братьев бесславно и бессмысленно погибнут в пустыне, пытаюсь перевернуть пирамиду, но наши кипящие воды освободят и рыб, и птиц, и фараонов. И живая вода наша соберется в облака, и не изгладимся мы из книги...

Баю-баюшки-баю,

Нет ли местичка в раю,

Хоть на самом на краю?

Я те смертушку зову,

Смертыньку зову,

тебе милостивую!

Память воды: мы должны были сделать то, что мы еще сделаем, чтобы граница потеряла упругость, чтобы листья травы колыхались на ступенях лестницы, чтобы горестные заметы напоминали детям погибели о вине и причастности.

Мамка приде, блинок принесе.

Тато приде, гробок принесе.

Дитяtko

Не будите-тко,

Да не воротите его...

Роман на ветру

Душа Аменемхета выше, чем высота Ориона, и она соединяется с преисподней. Аменемхет видит красоту солнца.

1990. Москва



БЕСЕДА С РЕГЕНТОМ МИТРОПОЛИЧЬЕГО ХОРА РИЖСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА И ЛАТВИЙСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ— СВЯЩЕННИКОМ ИОАННОМ ШЕНРОКОМ.

— Отец Иоанн, расскажите, пожалуйста, о создании Вашего хора!

— В нашем Кафедральном соборе подобрался очень хороший состав певцов, и мы почувствовали, что хотим работать больше и нам недостаточно одной репетиции в неделю. Однако, работать каждый день может только профессиональный хор. Латвийский фонд культуры пошел нам навстречу и предложил свою помощь. Так 1 апреля прошлого года возник наш хор — впервые хор, который поет службы в церкви, стал профессиональным.

— Когда состоялось ваше первое выступление, и какова была реакция публики!

— Это произошло 18 ноября 1988 года в День независимости Латвии на сцене Национального театра. Тогда у нас не было еще нынешнего статуса. Публика была поражена самим фактом появления на сцене православного церковного хора и священника в рясе с крестом. А для многих было открытием вообще существование православной церковной музыки. Нас очень удивило и обрадовало благожелательное отношение к нам латышей, вклю-

чая и профессионалов. Там же мы начали получать приглашения участвовать в концертах. Кстати, это послужило еще одним толчком к созданию профессионального хора.

— Ваш двойной статус — хора церковного и хора фонда культуры, — вероятно, обусловил и характер вашей деятельности!

— Наша цель — нести свет Христов людям. Кроме пения служб (до 20 в месяц, в Пасхальный период — 34) мы подготовили пять концертных программ: Рождественскую, Великопостную, Пасхальную и еще две, составленные из богослужебных песнопений. В среднем мы даем 5 концертов в месяц, включая благотворительные. Принимали участие в фестивале камерных хоров «Rīga Dimd», ранее чисто церковные хоры не выступали на светских фестивалях.

— Мы начинаем к этому привыкать, но для Вас, как регента, пение церковного хора на концертной сцене, наверное, представляет особую проблему!

— Этот вопрос до сих пор остается для меня нерешенным. При вынесении церковных песнопений на сцену следует соблюдать

и законы богослужебного исполнения, и законы сцены, невозможно выходить на сцену и выдерживать строго богослужебный стиль. Для себя я еще не решил, что можно, а что нельзя на концерте. Одно ясно, необходимо, чтобы церковное песнопение не уклонялось в сторону академизма, как это бывает у светских хоров, исполняющих духовную музыку. Но специфика нашего хора состоит в том, что мы принимаем участие во всех богослужениях в соборе, и на концерте у певцов перед глазами стоит богослужебный образ. Это помогает петь, насколько это возможно, церковно, даже не духовно (мне не очень нравится современное употребление этого слова), а истинно церковно, как положено во время службы. Например, почему то или иное песнопение нужно петь *piano*? Дело не в интерпретации дирижера, просто это соответствует определенному моменту на службе. Когда происходит молитва в алтаре, хор соучаствует в этой молитве, как элемент, дополняющий гармонию богослужения. Полноценное участие в богослужении составляет преимущество церковного хора, скорее даже церковного пения перед академическим.

— В чем отличие церковного пения от академического с точки зрения вокальных принципов?

— Основная особенность церковного пения состоит в мягкой атаке звука и теплом звучании. Но для меня в церковном пении самое важное то, о чем сказал Патриарх Алексий: «Большая часть молящихся в церкви не является знатоком пения. Но спросите у этого большинства, чего оно ожидает от церковного пения, и какого пения оно желало бы? И большинство вам ответит: «дайте нам такое пение, которое трогало бы сердце, которое вызывало бы у нас слезы умиления, которое бы поднимало наш дух и помогало бы молиться».

— В какой-то мере вы пытаетесь продолжать дореволюционную практику Синодального хора [партезного пения]...

— Дай Бог нам постичь его основные принципы, начала, к этому мы стремимся.

— Вас не смущает, что многие слушающие не понимают текст песнопения, не понимают иногда, о чем поется?

— В свое время известный католический богослов Фома Аквинский, отвечая на подобный вопрос, сказал так: даже если люди не понимают слов, они слышат, что слова и музыка обращены к Богу и поются во славу Божию. Я согласен с этим. Но тем не менее в помощь слушателям мы печатаем в концертных программах тексты песнопений, как на церковнославянском, так и на русском языках.

— В наши дни неприятно удивляет бесцеремонность и фамильярность по отношению к Церкви. Не боитесь ли Вы, что кто-то воспринимает хор как экзотическое явление, которое «ласкает взор и слух»?

— Это было бы ужасно! Но ужасно не для Церкви, поскольку Бог поругаем не бывает, как и Его Церковь. Это было бы ужасно для людей, которые относятся к Церкви не как к великой Святыне, а как к экзотике. Для меня церковное пение со сцены — это своего рода проповедь, иначе я бы не занимался концертной деятельностью. Ведь я не только регент, но и приходской священник, я служу службы, молебны, панихиды, исповедую, крещу людей. Я считаю концерт удачным, если после него люди спрашивают: «Когда можно прийти в церковь, после этих церковных песнопений просто хочется прийти в церковь и узнать, что это такое». Подходят и профессиональные музыканты: «Вот здесь у вас нечисто звучало, не совсем профессионально сделана вот эта фраза. Но с вашего концерта я ухожу с ощущением необыкновенной душевной радости, теплоты, которую невозможно объяснить». Церковная музыка имеет своей целью воздействовать на душу, и поэтому мы можем воспринимать ее только как проповедь — церковную проповедь в миру. Церковь призвана к деятельному спасению душ человеческих, и если в наше время люди забыли путь к истинной Церкви, то Церковь должна сама выйти к миру для спасения людей к вечной жизни.

— Не кажутся ли вам несовместимыми непосредственность, искренность веры [безыскусное трогательное пение старушек в храме] и неизбежная, скажем, сделанность профессионального исполнения?

— Главное — чтобы всегда оставалась молитва. Но с другой стороны, дар, приносимый Богу, должен быть лучшим, что человек может сделать, самым дорогим. Вспомните дары, принесенные волхвами младенцу Иисусу — золото, ладан и смирну. Ведь тому, кого вы любите, всегда хочется отдать самое лучшее. Так и в церковном песнопении нужно стремиться к совершенству, включая и музыкальное совершенство.

— Какое музыкальное образование Вы получили?

— Сейчас я учусь на отделении хорового дирижирования Латвийской консерватории, а в свое время окончил музыкальное училище по классу альты. И это, как утверждают мои коллеги, сказывается на работе с хором. Так, например, работая с хоровым

голосом, я использую некоторые принципы инструментализма — инструментальное *piano*, органную полифонию. На мой взгляд, это способствует усовершенствованию самого совершенного инструмента — человеческого голоса.

— Как Вы намереваетесь работать дальше?

— Углубляться в церковную музыку и прикоснуться к древним распевам.

— К знаменному распеву?

— Да, мы делаем первые попытки, но до подлинного исполнения знаменного распева еще далеко. Чтобы написать одну икону, Андрей Рублев полгода постился, и во время создания ее сам живописец и с ним весь монастырь усердно молились Богу. То есть можно сказать, что это «произведение искусства» писалось по наитию Святого духа. Поэтому сегодня невозможно достичь такой глубины одухотворенности, повторить творения преподобного Андрея. Мир все дальше уходит от Бога и теряет с Ним непосредственную связь в молитве. Так и в знаменном распеве. Одно дело когда люди жили этим, и распев был для них непосредственной молитвой, другое — когда пытаются «исполнить» его. И высокая степень профессионализма не приближает нас к духовной сути знаменного распева. Путь к нему ведет не через мастерство, но через сердце — через душевное очищение.

— Есть ли у Вас иные возможности расширить репертуар хора?

— Предполагаем петь церковную музыку других конфессий.

— Это не противоречит канонам?

— Думаю, что нет, ведь мы не собираемся петь противоречащие канонам тексты. На каком языке воспевать и славить Христа?

На всех языках христиан. В латышских православных приходах, например, многие песнопения исполняются на латышском языке, а у нас в хоре поют не только православные, но и католики и лютеране, которые полюбили православную музыку. В Риге ведь сильные и другие христианские конфессии. Католикам будет приятно, если православный хор исполнит, если не мессу, то хотя бы небольшое произведение католической службы. Люди воспринимают это как добрый знак открытости. Посредством этого хотелось бы развивать, может быть, не экуменическую жизнь, а принципы братства. Такая широта помогала бы изживать неприязнь к человеку, не к его конфессиональной принадлежности, но к человеку как таковому. Польский композитор, ксендз, подарил нашему хору ноты написанной им мессы со словами: «Если вам удастся выучить ее и приехать в Польшу, я буду счастлив исполнить ее вместе с вами».

— Отец Иоанн, в жизни Вашего хора несомненно были особо запоминающиеся выступления.

— Одним из самых трогательных и волнующих событий было выступление на празднике воздвижения крестов на Христорождественском соборе, возвращающемся в Церковь через 29 лет, в течение которых там находился планетарий. По моему убеждению, это знаменует собой перелом в духовной жизни Латвии. Причем для всех христианских конфессий. Это еще одна победа Света над тьмой.

Очень полезной оказалась поездка в Польшу. Хотя нас пригласила Православная церковь, мы пели в основном в католических и лютеранских храмах. Там даже не подозревали, что Церковь в Латвии живет.

— Православная!

— Нет, Церковь вообще. И тот факт, что Православная церковь могла организовать такой хор, был свидетельством того, что в Латвии она не погибла.

— Как воспринимали православное пение в католической стране?

— Поначалу холодно.

— Настороженно!

— Нет, именно холодно: «Спасибо, конечно, что вы приехали...» Но хотя у нас было запланировано не так много концертов, после выступления в костеле нам сообщили, что было много звонков с приглашениями. Отношение менялось на глазах. По окончании концерта люди подходили к нам, обнимали, целовали, говорили, что готовы слушать еще и еще. В Польше в католических и лютеранских церквях в конце программы мы исполняли «Отче наш», сольный номер сопрано на фоне хора, что не совсем обычно для православного песнопения. Эта молитва существует у всех христианских конфессий. И когда мы начинали, весь зал вставал и начинал молиться. Так концерт венчался общей молитвой. Это главное, чего мы добились во время поездки в Польшу. И чего мы хотели бы добиться здесь.

— Благодарю Вас, отец Иоанн, за беседу.

**«Родник» представляла
ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА.**

БЕСЕДА ГАТИСА С АИЕЙ

ГАТИС: Нет ли у тебя порой ощущения, что работаешь только для себя?

АИЯ: Конечно. Обывателям я не по душе, они просто в открытую издеваются. Меня это по-настоящему не волнует. Главное — то, что интересует меня, а не наоборот. Карьеру можно делать, но жизнь — карьера — это кажется слишком упрощенным.

ГАТИС: Возможен ли компромисс для тебя как художницы со своим мироощущением и социумом, политикой?

АИЯ: Горе в том, что даже немножко запачканными руками невозможно ничего создать. Каждому дан выбор, компромиссов тут нет. Это ни легко, ни приятно, но я «вынуждена» жить так, как живу. Компромиссы стоят слишком дорого.

ГАТИС: Какая ты или какой ты себе кажешься в быту?

АИЯ: Я прикидываюсь большей дурой, чем я есть на самом деле, чтобы получить какую-нибудь выгоду, информацию о жизни. Если я буду прикидываться более умной, люди и предметы не будут раскрываться передо мной — будут бояться. А я хочу больше увидеть и услышать в этой жизни. Оставаясь серостью, я обретаю больше.

ГАТИС: Элемент игры?

АИЯ: Все это взаимосвязано, ничего нельзя принять одним 'да' или 'нет'.

ГАТИС: По каким критериям ты оцениваешь произведение искусства?

АИЯ: По заложенному в него заряду энергии. Как в картинах Кранаха — как будто мертвенный покой, а внутри огромное напряжение.

ГАТИС: Тебе никогда не хотелось выйти за пределы изобразительного искусства, выразить себя по-иному?

АИЯ: Форма не существенна. Занимаешься ты одним делом или несколькими. Хотя я ни в каком другом виде деятельности не ощущаю такой силы и сопротивления материала, как в живописи. Это означает — взяться за новую тему и в профессиональном плане снова добраться до той степени, которую я достигла в живописи на данный момент. Именно в этом я ощущаю страшное противодействие, каждый шаг на этом пути мне дается с трудностями, и бороться с ними интересно. По сути ты все время борешься с собой. Чтобы я могла заниматься каким-то делом, я должна о нем очень много думать.

ГАТИС: Как ты ощущаешь влияние культуры, на себя и на твою живопись?

АИЯ: Конечно, я получаю энергию от культуры, но мне больше нравится обретать ее в природе, и потом — наполненной возвращаться.

ГАТИС: Ты испытываешь страх перед возможным влиянием культуры?

АИЯ: Да, мне кажется, что в итоге может получиться что-то

уродливое. Я по характеру, как бык: все на рога, и по-другому я не могу. Я пыталась писать совсем свободно, и поняла, что я вижу и оцениваю искусство через напряжение, словно балансируя на лезвии ножа.

ГАТИС: Много идет споров о том, как ты пишешь. Как рождается форма в твоих картинах?

АИЯ: У меня такое чувство, что они «находятся где-то в воздухе» уже созданные, и когда я вхожу в свое «напряжение», концентрируюсь, то как с дерева снимаю одну готовую. Они там все находятся, но взять их может и тот человек, который находится, может быть, в 2000 км от меня. Главное — готов ли ты взять.

ГАТИС: Да, но способность восприятия требует тренировки...

АИЯ: Конечно, в этом процессе рука и голова работают одновременно и интенсивно, чтобы ты мог понять, назывем это профессионализмом, тут необходим труд, так обретают необходимую уверенность. Второй вариант — гипноз, но это слишком сложно.

ГАТИС: Но твоя работа, начиная с первого мазка кистью, не переход ли это в гипноз?

АИЯ: Да, — но мне как подготовленной это дается легче. Для меня это уже убежденность.

ГАТИС: Как ты относишься к сексу?

АИЯ: Я воспринимаю его так естественно, что мне действует на нервы его нарочитое акцентирование, ну все что-то такое — особенно выделяют. Я не думаю, что к этому должно быть обращено внимание общества. К тому же для меня это интимное, и публично разглядывать это неприлично.

ГАТИС: Но это очень сильный импульс, выделяющий, может быть, как в пьесах Шекспира.

АИЯ: Ну, конечно, он постоянно чуть ли не в ведущей роли! Но мне по душе, когда он находится в скрытых, замаскированных формах. Прекрасно, когда это так, и мне не хочется анализировать, потому что секс как таковой — оголенный — непривлекателен и вызывает чувство отвращения.

ГАТИС: Тебе не нравится детальный анализ?

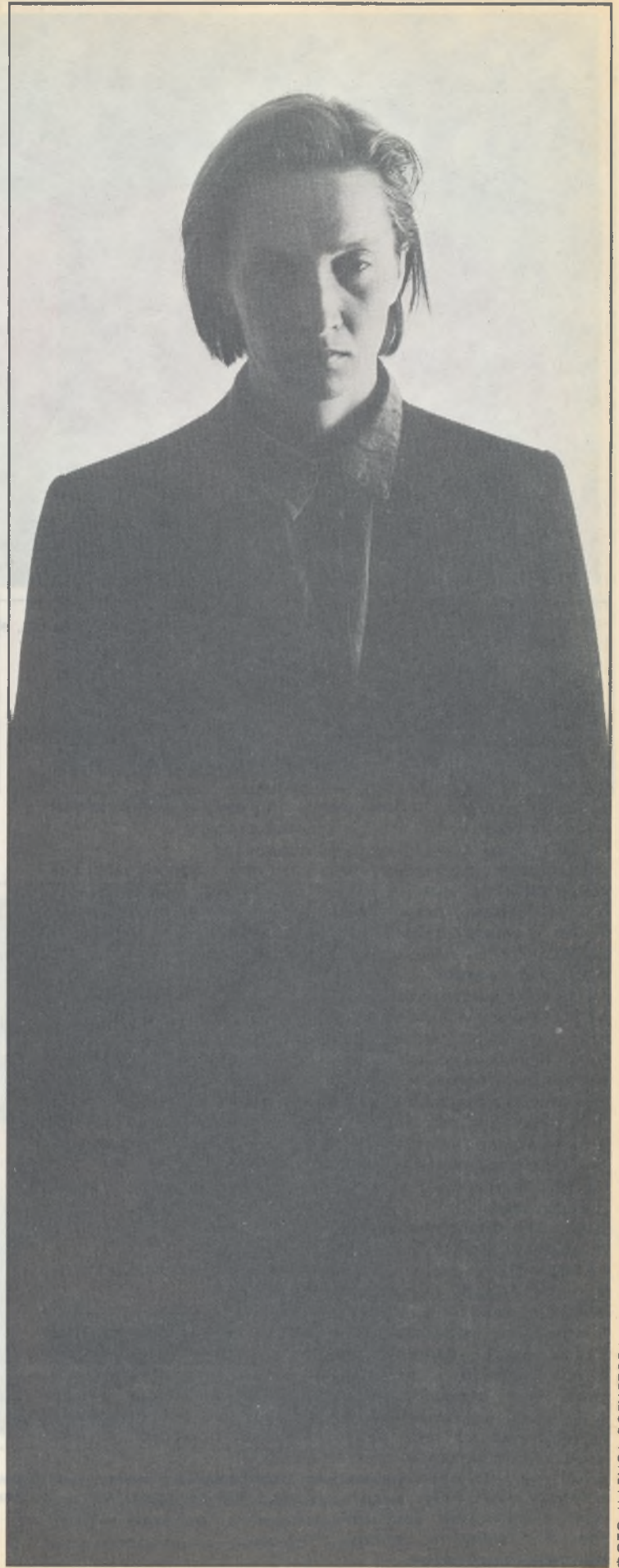
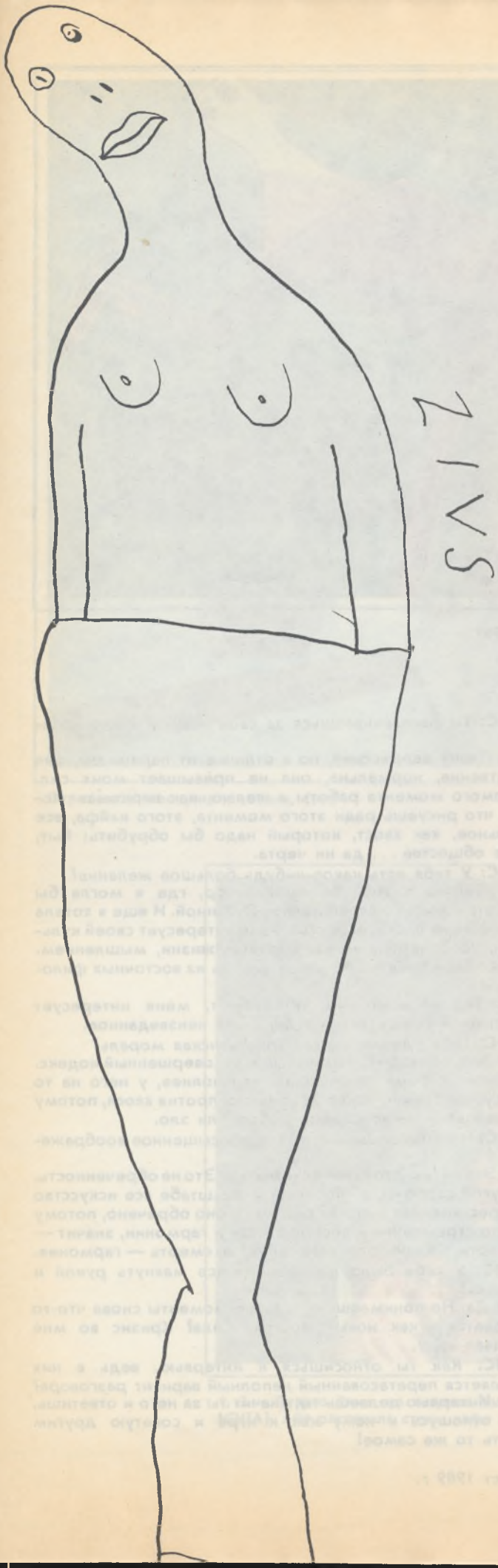
АИЯ: Нет, это не так. Явление необходимо формулировать. Чтобы осознать мир и «шпарить» дальше. Ты фиксируешь мгновения или явление, но постоянно ищешь и ищешь дальше.

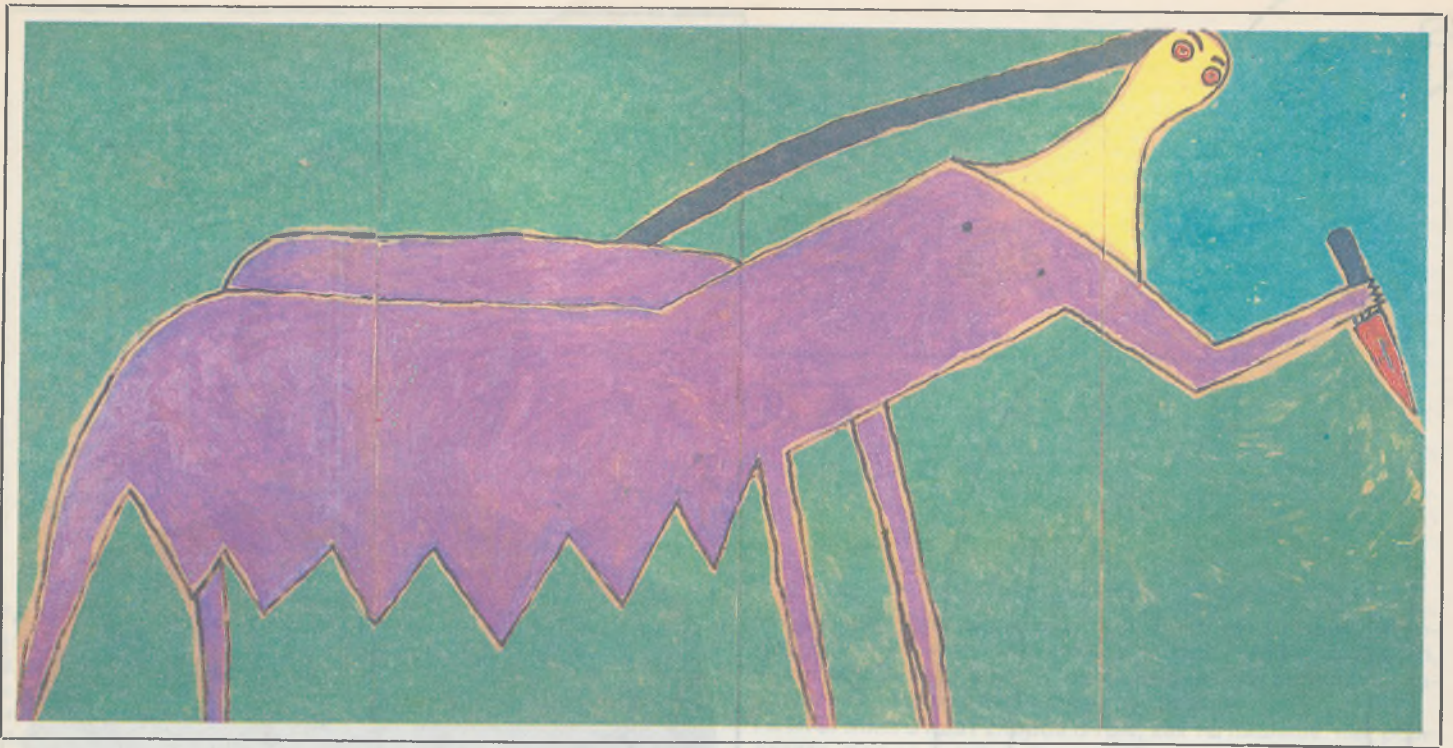
ГАТИС: Я знаю, что тебя интересовало кино.

АИЯ: Да, пять лет назад я хотела стать кинорежиссером — если бы я была мужчиной. Ха! Ха! Но теперь — нет. Наверное...

ГАТИС: Какой режиссер тебе особенно близок?

АИЯ: Мне страшно нравится Пазолини. Использование им средств выражений. Как и что он хочет сказать. Какими





Убийца, № 1. 1989

простыми приемами он создает свои фильмы. Как он невзыскателен!

ГАТИС: Это гениальное ощущение свободы, когда ты берешь материал не привередничая.

АИЯ: Возьми то, что попадает под руку и делай, чтобы быстрее сказать то, что ты хочешь сказать.

ГАТИС: Думаешь это профессионализм?

АИЯ: Это не профессионализм, это перст божий! Человек каков он есть, уже не может ошибиться, может делать все что угодно, если находится в контакте с «тем», он вовсе не может избежать «того».

ГАТИС: Что ты подразумеваешь под «тем»?

АИЯ: Это универс.

ГАТИС: Ты книги читаешь?

АИЯ: Раньше я читала очень много, но последние три года вообще не читала, наверное, была «полна». Теперь снова начала. Хорошая книга — это сильный импульс, но нужно быть готовым его принять. Чтение — это восприятие системы другого человека, вхождение в него, и порой это очень трудно. Когда я читаю Вольдемара Матвея, во мне все поднимается, хочется смеяться, что-то делать, он меня воодушевляет, пишет так, как я чувствую.

ГАТИС: Литература и живопись это преодоление одного сопротивления?

АИЯ: Это подсобные средства, которыми решают одну проблему. Может быть.

ГАТИС: Ты в своих картинах часто показываешь тему насилия, борьбу белого с черным.

АИЯ: Да, меня интересуют эти вещи, потому что художник в принципе не может заниматься только белым, одно белое не дает ускорения. Но в сущности меня интересует белое, черное я использую только как стимул для себя. Мне очень нравится жить. Жить между белым и черным. Без внешней жизни не было бы интересно.

ГАТИС: Как на тебя влияет музыка, помогает ли она тебе освободиться и дает ли стимул?

АИЯ: Музыка меня не только освобождает, но и дает встряску. Она меня ведет духовно. Когда делаю что-то сама, я выключаю, хочу идти сама, когда работаю — быть только с собой и холстом. Что-либо со стороны мне мешает, раздражает.

ГАТИС: Ты расплачиваешься за свои моменты вдохновения?

АИЯ: Плачу депрессией, но в отличие от наркомана, она естественна, нормальна, она не превышает моих сил. Но самого момента работы я желаю, как наркоман: потому что рисуешь ради этого момента, этого кайфа, все остальное, как хвост, который надо бы обрубить: быт, имя в обществе... да ни черта.

ГАТИС: У тебя есть какое-нибудь большое желание?

АИЯ: Сейчас я хочу большой хутор, где я могла бы работать и жить со своей дочкой Зузанной. И еще я хотела бы пожить на Востоке. Восток меня интересует своей культурой, восприятием мира, образом жизни, мышлением.

ГАТИС: Тебя привлекает какая-нибудь из восточных философий?

АИЯ: Теории меня не интересуют, меня интересует практика. Я хочу влиться туда, как в неизведанное.

ГАТИС: Тебя удовлетворяет христианская мораль?

АИЯ: Это, по-моему, замкнутый и несовершенный кодекс. Художник стремится раскрыть его полнее, у него на то есть субъективные права. Я, конечно, против хаоса, потому что человеку не все равно, добро или зло.

ГАТИС: Но, может быть, это твое пресыщенное воображение?

АИЯ: Это не так. Это заверения бытию. Это не обреченность. С другой стороны, в глобальном масштабе все искусство это пресыщенная нервная система и оно обречено, потому что это стремление к совершенству и гармонии, значит — к смерти. Жизнь это испытание, а смерть — гармония.

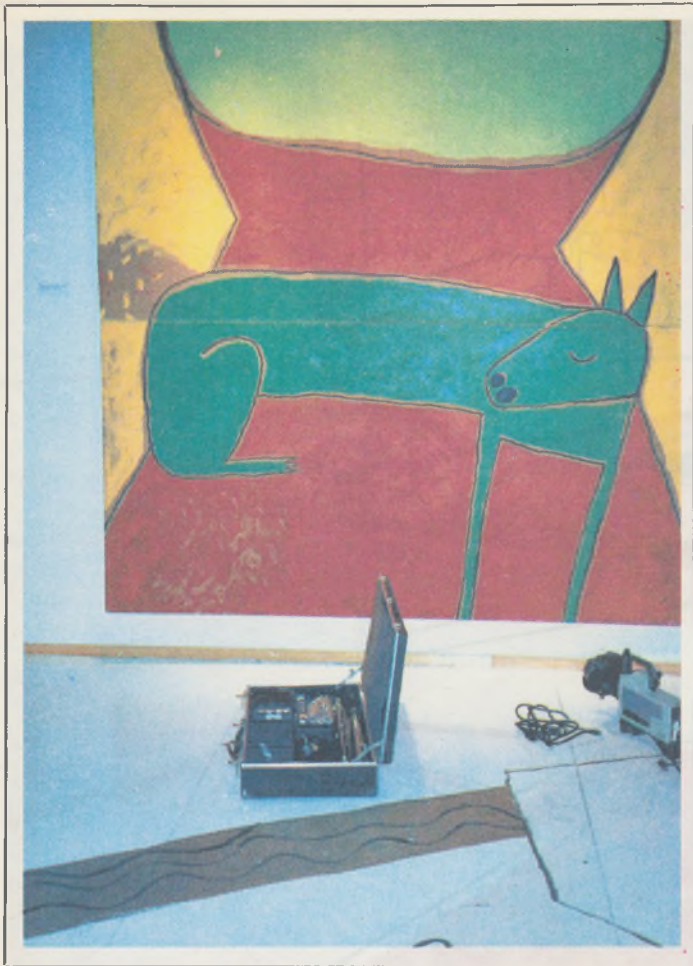
ГАТИС: У тебя было желание на все махнуть рукой и умереть?

АИЯ: Да. Но понимаешь — в такие моменты снова что-то рождается — как новый росток. Сила? Кризис во мне рождает веру.

ГАТИС: Как ты относишься к интервью, ведь в них появляется перетасованный неполный вариант разговора?

АИЯ: Интервью делаешь ты, значит ты за него и ответишь. А я отношусь к нему как к игре и советую другим делать то же самое!

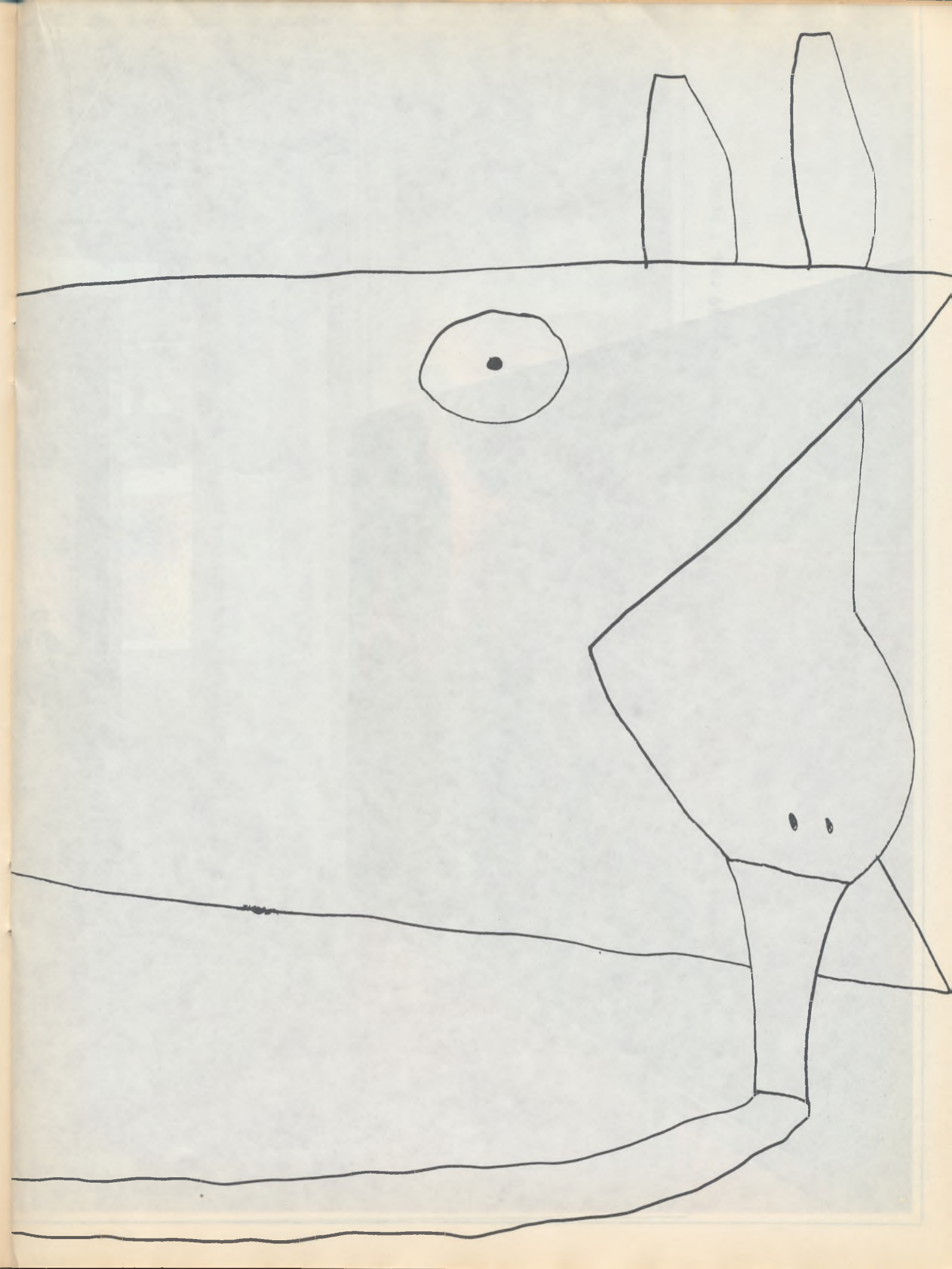
Август 1989 г.



Отрезанная женщина и собака. 1989



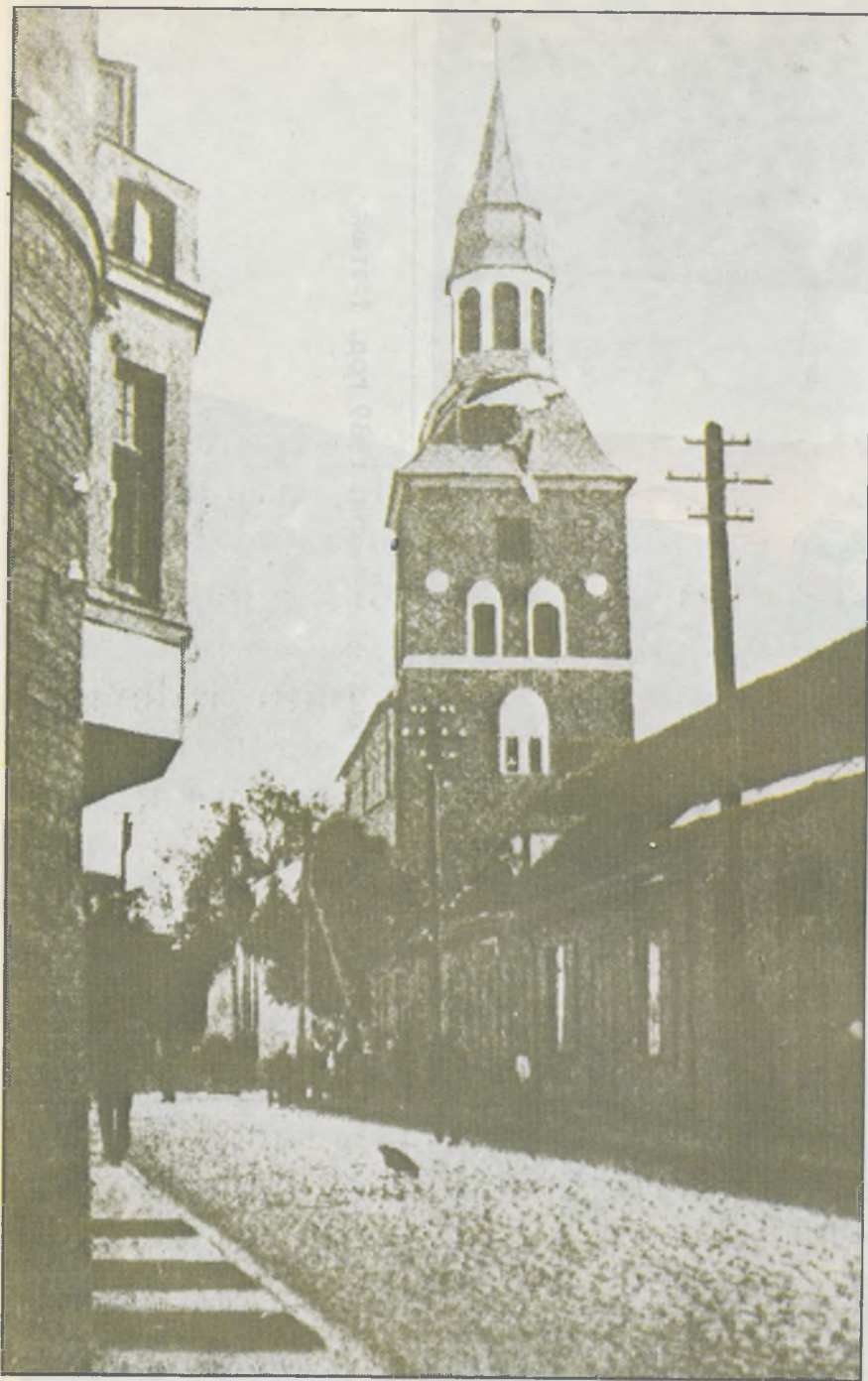
1, 2 — Пуэрто Рико, на острове Вьега, вместе с художником Эдвинсом Страутманисом (США). Айя расписала стены кафе «Банана» за 2 суток, в январе 1990 года.







Выставка Айи Зарини в галерее Эдуарда Нахамкина, Сохо, Нью-Йорк, 1989 год. 1 этаж.



Церковная башня, поврежденная снарядом при отступлении Красной Армии. Май 1919 г.

Безденежье пригнало Теодора Удерса (1868—1915) из России обратно на родную сторону. В Валмиере жизнь была несравнимо более дешевой, чем в Воронеже и Ялте. Художник испытывал постоянную потребность в обсуждении и анализе художественных произведений. Но в сером и однообразном городишке не нашлось достойных собеседников и единомышленников, так как слишком разными были уровни интересов и мышления. Через полтора года после переселения в Валмиеру Теодорс Удерс пишет: «... Эта серая мещанская среда здесь, в Валмиере, надоела по горло. Бароны? Они заказчики, и поэтому никакой близости с ними быть не может. А граждане Валмиеры? Черт, как мюнхенские лавочники... Нет! Так нельзя! Мы сами, художники должны создать свою среду, свою сферу! Мы художники, тоже необходимы в народном хозяйстве, как любое другое сословие. Это я могу доказать научно! Именно так, как поступают барбизонцы и ворпсведцы, есть един-

ственный верный путь. И мы тоже, дай Господи, скоро переедем к морю...»¹

Не прерывается интенсивный обмен мнениями с воронежским художником А. Петровым о создании колонии художников на Видземском побережье. Теодорс Удерс настойчиво приглашает его переселиться в Латвию и стать членом задуманной колонии художников. В одном из писем он пишет: «Сначала следует признать, что от Видземе недалеко находятся Петербург, Рига; потом отсюда можно на пароходе легко уехать в Германию, Швецию, Финляндию. Еще следует добавить, что в северной части Видземе есть места, похожие на твои Воронежские поля. В наших краях есть такие озера, которые напоминают море, например, озера Пейпуса и Вирцззерс.

Можешь поступить, как француз Руссо в Барбизоне;

¹ Письмо А. Петрову 16 февраля 1906 года.

АЙВАРС ЛЕЙТИС «БЕЛАЯ ВОРОНА»

он жил в деревне Барбизон и оттуда ездил по всей Франции»².

Импульсивной натуре Теодора Удерса изменчивость цвета беспокойного, взволнованного моря была намного ближе серости провинциальной сонной Валмиеры. Наверное, поэтому он задумал создать на побережье северной Видземе колонию художников, что-то вроде французского Барбизона, или немецкого Ворпсведе. Теодор Удерс утверждает: «Факт бесспорный — то, что сотрудничество художников в общине чрезвычайно способствует художественному развитию и обостряет чуткое зрение»³.

Вспомним, основателем Барбизонской школы был Теодор Руссо (1812—1867). При написании пейзажей он старался максимально объективно фиксировать увиденное. Более романтичны и эффектные пейзажи Жюлья Дюпрэ (1811—1899). В этом направлении еще работали Нарсис Дьаз (1807—1876), Шарль Добиньи (1817—1878) и несколько других художников. Среди видов на болота и топи, в Ворпсведе около 1899 года колонию художников основали Отто Модерзон (1865—1918), Паула Модерзон-Бекер (1876—1907), Фриц Овербек (1869—1909) и еще несколько художников. Несмотря на символистически-философскую направленность работ Теодора Удерса, ему ближе всего, кажется, ворпсведская колония. В одном из своих писем он упоминает также Дахау. В основе творчества обеих групп была идеализация природы и крестьян. Немецкий искусствовед В. Хют пишет: «В то время во всех высокоразвитых странах Европы стала встречаться литература, провозглашающая возврат к простой, естественной жизни. Прославлялась естественность и креатуризм. Восхищались здоровьем и свежестью жизни крестьян, идеализировали их элементарный образ жизни».

Подобные настроения были не только всеобщими, но и накалились до экстремизма. Французский романтик Jean Giot, чьи рассказы отображали жизнь французских, предальпийских, примитивных, неразговорчивых народов, обращался к своим читателям: «Освободитесь от больших городов! Вы все должны покинуть большие города!» Людям, преследуемым цивилизацией, отдых и безопасность были уготованы только на селе. Райнер Мария Рильке провозгласил: «В земле, в дерне есть что-то сакраментальное». Для художников, которые пытались выразить этот «сакрамент» пейзажа и жизни крестьян, пейзаж стал выразителем настроения, которое было названо «лиризмом природы». (Naturlyrismus)⁴.

«... «лиризм природы» соответствовал настроению более широких масс. Новое в этом искусстве то, что содержание выражалось через тихое и ненавязчивое присутствие вещей, и приближало чувство природы к переживанию. Это достигалось легким усилением красоты, известной стилизацией и слегка вытанутой формой»⁴.

Ворпсведские художники так писали насыщенные суровой поэтикой пейзажи болот северной Германии, а также натюрморты и фигуральные композиции. Но «лиризм природы» не смог надолго объединить художников. Вскоре большинство из них, из романтиков, находящихся под впечатлением югендстиля, превратились в экспрессионистов. Следует отметить, что «(...) колонии художников также заложили основы тенденциозному националистическому «искусству родины», которое коренилось в мире «из крови и земли», и несколькими десятилетиями позже взлелеяло фашизм»⁵. В Ворпсведе это направление представлял Карл Виннер. Он написал также брошюру, пропагандирующую националистическое искусство.

Близость Теодора Удерса художникам Ворпсведе и Дахау доказывает его письмо А. Петрову: «Но ты не пошел туда, где твои единомышленники. Ты попал к академикам — к ним следует причислить также сецессионистов,

которые точно такие же академики. Тебе лучше надо было ехать в село Дахау, вблизи Мюнхена. Там сейчас группа художников, любящих природу и живопись, они умеют писать в цвете и даже быть безыскусными и естественными...»

Расхваленная Удерсом колония художников в Дахау (Dachau; Neu-Dachau) появилась в 1893 году. Немногим позже чем в Ворпсведе. Слегка изогнутые формы картин художников Дахау были намного ближе югендстилю, чем работы ворпсведцев. В основном в приглушенных тонах писали пустынные пейзажи. Уже в 1888 году тут со своими учениками поселился Адольф Хольцель (1853—1934). В 1894 году в Дахау переселился Людвиг Диль (1848—1940), а в 1900 году Артур Лансхаммер. Теодор Удерс был также информирован о других немецких колониях художников. Таких, как образованная в 1899 году дармштадтская (Darmstädter Künstlerkolonie) и колония художников Виллингсхаузен (Willingshausen) в селе Хессен. Кажется, художнику была также известна изданная в 1905 году в Лейпциге монография Райнера Марии Рильке о художниках Ворпсведе.

«Не хочу тебе ничего навязывать, — пишет Теодор Удерс А. Петрову, — но все же отношусь к этому делу всерьез, пошлю тебе деньги на дорогу — приезжай и посмотри... Время уладить это разумно, как следует. Мы же не дети! Надо не только мечтать, но и показать себя в работах. Дай бог, найдем еще кого-нибудь, и тогда в нашем союзе будут четверо: по-моему, достаточно. Посмотрим домики в Рутерне (так называется волость, выбранная мною на побережье), и там каждый поселится в отдельном домике, а по вечерам мы будем собираться и веселиться. Видишь, те в Барбизоне и те пятеро в Ворпсведе тоже жили так. «L'union — c'est la force» (В союзе сила) — в этих словах звучит старая истина»⁶.

Весной 1907 года, следуя настойчивым приглашениям Теодора Удерса, А. Петров переехал в Валмиеру. Вряд ли он тогда задумывался, что найдет здесь вторую родину. Живописец полюбил леса и дали Латвии, быструю и капризную красавицу Гаую, глубокие и роскошные берега которой вилась через Валмиеру. Он многократно писал крутые берега, дубы, липы, сосны, которые, нависнув над берегом, смотрят на Гаую. Особенно художник полюбил полоску каменистой и бесплодной земли, омываемой волнами Видземского взморья. В Валмиере А. Петров быстро обрел популярность.

«Помню, видел, — пишет поэт Карлис Элиас, — этюд! Берег Гауи, воткнутая в песок трость со шляпой на конце. Очевидно, владелец трости и шляпы пошел освещаться в Гауе. Там были летние краски и яркость»⁸. Но А. Петрову были чужды философские искания и взгляды Теодора Удерса, которые по замыслу должны были лечь в основу концепции создания и существования колонии художников. А. Петров обычно довольствовался простым отображением реальной природы в лиричном пейзаже без глубоких философских идей. Если Теодор Удерс образ моря трактовал как аллегоричный символ вечности, в игре волн которого «... выражена литературная символическая мысль о сходстве человеческой судьбы и морских волн»⁹, то А. Петров, изображая море, не старается решить философские задачи. Он исследует настроения разного времени суток и времен года. В скитаниях по взморью в летние месяцы на протяжении многих лет А. Петрову открылась красота Балтийского моря и прибрежной природы. «В ураганные осенние ночи здесь слышком необычные, странные гармонии звуков, — отмечает Т. Удерс — тут и стоны от гнущихся под ветром макушек елей и сосен переплетаются с прерывистым хрипением бунтующих морских волн на

⁶ Письмо Т. Удерса А. Петрову

⁷ Письмо Т. Удерса А. Петрову 30 октября 1906 года.

⁸ Карлис Элиас. «Валмиерский художник Теодор Удерс. Воспоминания школьных дней». — Хранится в учебной лаборатории Истории латышского искусства Государственной Художественной академии.

⁹ Мадерниекс Я. Теодор Удерс (1868—1915) — иллюстрированный журнал, 1926, № 6, стр. 169.

² Письмо А. Петрову 13 января 1907 года.

³ Удерс Т. Строки писем — «Максла», 1968, № 2.

⁴ Wolfgang Hüft. Deutsche Malerei und Graphik in 20. Jahrhundert. Berlin, 1969, S. 18.

⁵ Künstlerlexikon von Axel Schenck. Braunschvig, 1973.

песчаном пляже. У этих звуков нет ничего общего с грубым рычанием, с постукиваниями гольшей на Крымском побережье во время шторма. Нет, прибой на нашем взморье намного величественней и музыкальней»¹⁰.

Ранние работы А. Петрова написаны отдельными мазками. Подобно импрессионистам, проанализированы модуляции света, игра тени и отсветов. Но сохранена твердая, отчетливо-выраженная линия предметов, и они написаны довольно-таки грубо. Картины художника близки немецкому импрессионизму. Иногда отличаются в незначительных мелочах. В некоторых ранних, а порой и в поздних работах А. Петров даже больше интересуется цветом, нежели светом. В отдельных картинах была использована также техника Писсаро. В импрессионизме А. Петрова доминирует индивидуальное ощущение действительности. Его лирическому видению мира соответствовали настроения влажной атмосферы и неба. Но он почти что не использовал эффекты солнечного света. Обращение А. Петрова к методу импрессионизма не последовательно и не окончательно. Это всего лишь кратковременное увлечение, хотя и во второй половине тридцатых годов им написано несколько картин в манере импрессионизма. Критики тех лет эти работы расценивали как попытку художника «вжиться в технически новый метод...»¹¹ параллельно академической тщательности письма. Возможно, отказ А. Петрова от импрессионистической манеры явился одной из причин конфликта с Теодором Удерсом. Последний считал, «... что грядущее искусство мысли воплотится именно в технике импрессионизма, как в своем естественно созданном облике»¹². А. Петров продолжал писать лирические пейзажи, а не «грядущее искусство мысли», как было задумано Теодором Удерсом. Отбросив технику импрессионизма, А. Петров все больше приближался к воззрениям, формулированным передвижниками. В годы Латвийской республики художественная критика, оценивая картины А. Петрова, обычно подчеркивала, что работы художника тщательно завершены, и в картинах есть «... хорошие контуры теней и решение сюжета»¹³. Но аккуратному¹⁴ и работоспособному поэту валмиерского пейзажа¹⁵, чьи произведения «... своей тихой задушевностью и уравновешенным содержанием дарят зрителям приятный отдых»,¹⁶ вполне заслуженно упрекали за натурализм¹⁷. Также отмечалось, что, несмотря на некоторую фотографичность работ, картинам А. Петрова свойственна известная экспрессия¹⁸.

Отношения А. Петрова и Т. Удерса резко обострились, и первый уже начал подумывать о возвращении в Воронеж. Т. Удерсу удалось это предотвратить, но дружба больше не возобновилась. Слишком различными были взгляды на искусство и на задачи творчества обоих художников. Т. Удерс намного острее, нежели раньше, почувствовал отсутствие понимания и поддержки со стороны близких людей. Его ученик Я. Бирзгалис свидетельствует, что мастер «... глубоко переживал разрыв с Петровым. В результате этих неурядиц и он пришел к выводу, что среди художников, овладевших известным мастерством и выработавшим свою манеру самовыражения, уже довольно достигнутым и остановившимся в развитии, не стоит искать сподвижников в решении актуальных проблем искусства и в поиске умозаключений»¹⁹.

В 1907 году Теодор Удерс начал педагогическую деятельность в Валмиерской городской школе и в торговой школе Валмиерского латышского общества. Ученики многочисленных городских школ принимали активное участие в революционных событиях. Когда художник начал работать учителем, страсти уже улеглись, и городок снова обрел мечанский покой. Непреходящую память о революционном духе школьников оставил П. Розитис, написав роман «Валмиерские мальчишки».

Теодор Удерс во время своей учительской карьеры (до 1915) подготовил и проводил до художественных училищ более десяти учеников. И хотя его ученики дальнейший путь в искусстве совершали под руководством других педагогов и были широко признаны через многие годы после смерти первого учителя, мастер мог бы гордиться тем, что именно он был их первым педагогом. Народный художник Латвийской ССР Эмилс Мелдерис признает: «Если в Валмиерской городской школе не было бы Теодора Удерса, вряд ли во мне появилась смелость мечтать об изобразительном искусстве, да и вряд ли бы вообще появилось такое устремление»²⁰. Среди тех, кто под влиянием мастера осмелились «мечтать об изобразительном искусстве», было много художников, обретших славу при жизни или после смерти, другие, напротив, остались незамеченными при жизни, или же после смерти о них вскоре забывали. Трудно говорить о художественной педагогической системе Теодора Удерса. Кажется, таковой не существовало.

Главная цель — воспитать себе соратников в искусстве. Полностью это не воплотилось. Причиной тому послужила скоростная смерть художника. Для Теодора Удерса скорование учителя было источником регулярных доходов, и к тому же открылась возможность воспитать себе последователей и единомышленников. В письме своим ученикам он пишет: «Я хочу объединить художников — аристократов духа. Я сам должен их вырастить!.. От старых, сложившихся художников я ничего не жду: нигде нет так много стариков по духу, как именно в искусстве! И еще: я принципиально возлагаю на молодежь все надежды на лучшее будущее человечества»²¹.

В 1913 году в Валмиере приехал Эдуардс Бренценс (1895—1929), известный более широкому кругу ценителей искусства в основном как автор шестидесяти иллюстраций к роману братьев Каудзитов «Времена землемеров». Наряду с Я. Кугой, А. Циммерманисом и П. Курдзиньшем, он является одним из основоположников латышской профессиональной сценической живописи. В 1913 году Каугурское просветительное общество Валмиеры пригласило художника декоратором для местной самодеятельной группы, чтобы создать декорации к постановке актрисы и режиссера Бируты Скуенице (1888—1931) пьесы Яниса Райниса «Золотой конь». Об этом был осведомлен также Янис Райнис²².

В то время в Валмиере насчитывалось более 7000 жителей, и по административному делению царских времен город считался уездным центром. В конце 1913 года в уезде действовало 1195 предприятий с оборотом капитала более чем 14 миллионов рублей в год. Самыми крупными предприятиями в Валмиере были: фабрика Петерсонса по переработке льна, красильня тканей Лициса и Кресльниша и красильня текстиля Вейде. Большая часть населения города, несмотря на то, что здесь не было крупных промышленных предприятий, были рабочие. Но в общественной и политической жизни самое значительное место занимала довольно-таки большая группа немецких патрициев, которая была тесно связана с остзейской немецкой сельской аристократией. Они были основными покупателями и заказчиками художественных произведений. Лидерами группы были Артур фон Вирен, владелец аптеки Йохан фон Эрдиган и Хейнрих Грей.

²⁰ Вспоминает Т. Удерса. — Латышское изобразительное искусство. Р. 1970, с. 189.

²¹ Письмо Х. Аплоциньшу и Э. Брастыньшу. Напечатано в газете «Латвия Вестнесис» в 1920 году, № 54. Написано 7 апреля 1911 года.

²² Бирнитис А. Переписка актрисы Бируты Скуенице с Аспазией и Райнисом. — Театр и жизнь. Р., 1959, с. 383.

¹⁰ Письмо Т. Удерса А. Петрову 30 октября 1906 года.

¹¹ Модернист Я. ЛНБИ «Объединения независимых», 35 выставка — Яунакас Зиняс, 10 февраля, 1940 г.

¹² Письмо Т. Удерса Х. Аплоциньшу и Э. Брастыньшу.

¹³ Стирайс А. Осенняя выставка объединения независимых художников. — Понедельник, 8 ноября 1926 г.

¹⁴ Художественные выставки — Буртниекус, 1934, № 12, с. 969.

¹⁵ Так А. Петрова называет Я. Бине в рецензии на 32 выставку ОНХ 1932 года. (См. Курситис А. Поэт пейзажа. — Лиесма. 21 дек. 1974 г.)

¹⁶ Модернист Я. Художеств. выставка к 10-летию юбилею Латвии. — Яунакас Зиняс, 16 декабря 1928 г.

¹⁷ Художественные выставки. — Буртниекус, 1934, № 12, с. 1339.

¹⁸ В. Т. Осенняя выставка. — Сегодня, 27 октября, 1925, № 242.

¹⁹ Бирзгалис Я. Попытка создать сообщество художников на побережье северной Видземе.

Большая часть местных немцев объединилась в «Обществе немецких ремесленников». Латышская буржуазия в основном группировалась вокруг «Светского общества валмиерских латышей». Сельская буржуазия в 1898 году организовала «Валмиерское сельскохозяйственное общество Каугури», которое в 1908 году реорганизовали в «Балтийское сельскохозяйственное общество». Их создателем был Херманис Эндзелиньш, в начале века в деятельности общества сельскохозяйственников активно участвовал также Карлис Улманис. Значительными центрами политической консолидации латышей были также светские, культурно-просветительские, благотворительные, ссудно-сберегательные общества, общество трезвости и еще несколько других обществ.

Существовала также малочисленная русская колония. Группе, которую в основном составляли чиновники, учителя и офицеры местного гарнизона, были свойственны крайне шовинистические взгляды. Они основывались на тезисе, что основой Российской империи является православие и неограниченное самовластие и требовали привилегированного положения для представителей русской национальности. Всеми средствами пропагандировали мнение, что у латышей и латышской культуры нет будущего, так как их ассимилирует великий русский народ. Самыми активными сторонниками политики русификации были начальник уезда А. Игнатьев, православный священник В. Третьяков и директор Валмиерского семинара учителей Ф. Страхович. В его время (1909—1914 г. — А. Л.) в семинар был введен политический надзор и казарменная дисциплина. Царившие в городе настроения не способствовали творчеству. Как уже отмечено, особенно болезненно и остро это чувствовал Теодор Удерс. Особенно после конфликта с А. Петровым. Приезд в город Э. Бренцена дал мастеру новый импульс к реализации его мечты, созданию колонии художников. Несмотря на тяжеловатый характер Теодора Удерса, он быстро сошелся с сердечным блондином небольшого роста. Надо полагать, тут большую роль сыграли собственные Э. Бренцену простота и правдивость, а также и то, что «... Удерс искал дружбы с людьми, которые были ему внутренне близкими, и с которыми он мог найти общий язык»²³. Оба художника быстро поладили и, возможно, немногие поздние его картины с философской направленностью написаны под влиянием идей Теодора Удерса. Художника сильно увлек замысел Теодора Удерса создать колонию художников, и он «... в свою очередь предложил после создания Нового Барбизона» снять помещения трактира и организовать там народный дом для театральных представлений, художественных выставок, лекций и концертов. Доход от этого предприятия мог бы пойти на нужды общины художников. По свидетельству ученика Т. Удерса Я. Бирзгалиса, «мастер положительно оценил эту идею, потому что таким образом связи художников с народными массами стали бы еще тесней»²⁴.

Создать объединение художников так и не удалось. 27 июля 1914 года Российская империя объявила всеобщую мобилизацию. Мобилизовали Э. Бренцена и А. Петрова. 30 июля 1914 года в Видземе было введено военное положение, а 1 августа Германия объявила войну. 6 (19) августа 1915 года перестало биться сердце Т. Удерса. Он ушел из этого мира одиноким; в сопровождении нескольких родственников, учеников и местных ценителей искусства. Э. Бренцен вернулся в Валмиеру в 1917 году после боев в рядах латышских стрелков и лечения тяжелого ранения, полученного на Галицийском фронте. В когда-то таком гостеприимном городке за военные годы не осталось «... ни пылинки от былой благосклонности, лицо жесткое, взгляд исподлобья, полный беспокорности, речь оборванная... Только услышав шелест цветных бумажек, оно оживает. Для него этот шелест слаще песни русалки, — вызывает широкую улыбку...»²⁵.

Э. Бренцен стал работать учителем в Валмиерской женской гимназии. Здесь в то же время преподавал историю Латвии Линардс Лайценс (1883—1938). Вскоре началось сотрудничество художника с типографией П. Стумпса в Лимбажи и типографией К. Дуниса в Валмиере. Последний в газете «Лидумс» объявил: «... находятся в работе и скоро выйдут в моей типографии открытки с приметами на мотивы песен о свободе, с рисунками Эд. Бренцена»²⁶. Для открыток характерна простота и непосредственность, даже наивность рисунка. Некоторое время художник жил в Лимбажи. Тут он поставил сказку Я. Райниса «Золотой конь», символизирующую солнцестояние, был сценографом постановки и сыграл в пьесе Антынша.

20 февраля 1918 года Валмиеру заняли немецкие войска, и был создан жестокий военно-полицейский режим. Уже 21 февраля у церкви Св. Симаниса был повешен член Совета рабочих, солдат и безземельных крестьян Артур Дилле, рабочий Густ Сиксна и его сыновья Янис и Эдуард. Л. Лайценс под впечатлением этого события написал рассказ «Победа» с подзаголовком «История повешенного». Чтобы помочь семье казненного, писатель купил у нее лодку, которую держал привязанную напротив того места, где он жил на хуторе Пубеки, на берегу Гауи²⁷. Были закрыты профсоюзы и просветительные организации, запрещено издание книг, листовок и прочей литературы. 7 марта 1918 года отдел прессы 8-й немецкой армии издал приказ изъять из обращения книги, пропагандирующие латышскую национальную культуру, а также книги политического содержания на латышском языке. Разрешение издавать газеты получили только германски настроенные группировки. Во всех учреждениях официальном языком объявили немецкий. В средних школах учеба проходила на немецком языке. Только в начальной школе было разрешено обучение на латышском языке, но математику тут тоже преподавали на немецком. 22 декабря 1918 года в Валмиеру вошел 1-й Латышский полк стрелков, и была установлена советская власть. Местная газета писала: «Мы были самыми угнетенными. Нам даже хотели запретить самостоятельно мыслить. Теперь мы в пух и прах разбили старый мир рабства. Дело нелегкое. Нам все пришлось создавать заново, создавать своими силами. Мы уверены, что мы освободим Прометея, который лежит прикованный к скале, и спустим огонь на землю»²⁸.

Уже в последние месяцы оккупационного немецкого режима в Валмиере начала образовываться плеяда художников северной Видземе. Особенно активную деятельность она развернула во время немногих месяцев советской власти и также несколько месяцев после нее. Объединение создал Э. Бренцен. Вокруг него, А. Петрова и Я. Витола группировались бывшие ученики Т. Удерса — Х. Аплоциньш, А. Брастыньш, Э. Брастыньш, Э. Мелдерис, Я. Саукумс и остальные тогдашние валмиерцы: П. Кундзиньш, А. Бобковицс, Х. Креслия, П. Петерсонс, валкский художник Я. Сприньдис и Я. Домбровскис и еще несколько художников из Цесиса, которые принимали участие в выставках группы.

Самым обоснованным названием этой плеяды художников было бы «Объединение художников северной Видземе», косвенно это подтверждает также член группы Я. Домбровскис, добавляя, что она «... была известна под неофициальным названием «Белая ворона»²⁹. Иногда указывают, что «... в названии можно усмотреть скорее протест, может быть даже обретенное у модернистов бунтарство, нежели дурачество»³⁰. Дз. Андрушкайте это название, основываясь на фотографии Э. Бренцена из Музея литературы и искусства им. Я. Райниса, на оборотной стороне которой написано «Во время выставки «Белой вороны»» считает официальным названием плеяды

²⁶ «Лидумс». 8 июня, 1917 г.

²⁷ Лайценс Л. Собр. соч. т. II — Р. 1958, стр. 495.

²⁸ Бюллетень Совета депутатов рабочих и безземельных крестьян Валмиерского уезда. 1919, № 1.

²⁹ Домбровскис Я. Латышское искусство. — Р., 1925, с. 89.

³⁰ Скумис Я. Иллюстратор? Соавтор? — «Карогс», 1975, № 7, с. 178.

²³ Силиньш Я. Искусство Латвии 1800—1914, т. II. — Стокгольм: «Даугава», 1980, с. 328.

²⁴ Бирзгалис Я. Встреча с мастером. — Максла, 1968, № 2.

²⁵ «Лидумс». 14 января, 1917 г.

художников³¹. В литературе по истории изобразительного искусства встречаются еще несколько вариаций названия. Такие как «Объединенная группа валмиерских художников», которое подтверждается архивными документами³² и «Группа валмиерских художников». Не сохранился устав группы и вызывает сомнения то, что он был вообще, потому что «... у художников еще не было общей идеологической платформы и плана работы, работа шла самотеком»³³. Художников «Белой вороны» объединяли фактически дружеские отношения, а не схожие цели, потому что большинство членов группы были соучениками в центральном училище технического рисования Штиглица. Во взглядах царил полный плюрализм. Поэтому «... часть членов объединения позже основала и вступила в «Объединение независимых художников»³⁴, которое в своем уставе провозглашало, что «... не ограничивает ни одну индивидуальность: любое направление и любое выразительное средство хороши, насколько они включают в себя ценности истинного искусства»³⁵. Хотя последнее и не всегда соблюдалось. А. Брастыньш тоже подчеркивает, что начало созданного в конце 1919 года объединения независимых художников «... следует искать несколькими годами раньше, на первых выставках в Валмиере»³⁶. Весьма примечателен тот факт, что одной из первых выставок ОНХ была экспозиция — памяти Т. Удерса осенью 1920 года. Было выставлено шестьдесят восемь работ мастера.

Профессиональный уровень и диапазон творческой направленности художников «Белой вороны» был весьма противоречив. Существовали мистицизм и светлый романтизм, застывший академический реализм с умеренным левым модернизмом, слащавый натурализм и истинный реализм. Вокруг профессионально хорошо подготовленных и способных художников группировалось значительное число самых разных дилетантов и самоучек.

В начале деятельности объединения большинство художников с восторгом встретило установление советской власти и активно включилось в строительство новой культуры. Об их общественной позиции свидетельствуют темы прочитанных лекций (например, «Рабочий класс и искусство», «Задачи культуры пролетариата» и т. п.) и активная педагогическая деятельность в Народной высшей школе и на руководимых Л. Лайценом рабочих вечерних курсах. Однако, к концу мая 1919 года в настроениях художников произошли существенные изменения. Из-за террора — «... осуждены и расстреляны и те, кто никакого, ни активного, ни пассивного участия в контрреволюции не имел...»³⁷, и других необдуманных акций художники все определеннее становятся на позиции отрицания власти. В 1919 году П. Кундзиньш и Э. Брастыньш делали Лозунги на праздники Рабочей солидарности, а в конце мая последнему уже пришлось скрываться. Подобная участь постигла и Э. Бренценса, А. Бобковица, Я. Саукумса и Э. Мелдерса.

За время деятельности «Белой вороны» было организовано несколько выставок. Сразу после создания объединения в конце 1918 года состоялась «Вторая объединенная выставка латышских художников», на которой экспонировалось 150 произведений Т. Удерса, А. Розиньша, Э. Бренценса, Э. Брастыньша, Я. Саукумса, Я. Витолса, П. Кундзиньша, П. Петерсонса, А. Брастыньша и Брандта³⁸. Творческая активность валмиерских художников вызвала интерес и среди рижских художников. Оценка упомянутой выставки в рецензии Р. Суты в газете «Лидумс» резко отрицательна. Э. Мелдерис вспоминает: «В связи с выстав-

кой активностью группы заинтересовались и рижане. На обсуждение прибыл художник Р. Сута и в Доме Латышского общества прочел доклад о задачах изобразительного искусства, критиковал валмиерских художников. Мне не удалось принять участие в дискуссии, потому что в тот день меня в Валмиере не было, но П. Кундзиньш и А. Бобковиц помнят продолжение публичного представления в более узком кругу, где возникли острые разногласия между Э. Бренценсом и Р. Сутой по вопросам формы и содержания живописи (...). Судя по работам обоих художников, у Э. Бренценса и Р. Суты и не могло быть общего языка»³⁹.

Несмотря на необоснованную резкость, суждения Р. Суты несомненно характеризуются остротой зрения. В отдельных произведениях валмиерских художников он отмечал и непреходящие достоинства. За время деятельности «Белой вороны» состоялось еще несколько выставок. В январе 1919 года выставка группы художников была в женской гимназии. Эту передвижную выставку показали в Цесисе, Смилтене, Валке. Эти «... первые художественные выставки в упомянутых городах нашли живой отклик общественности, успех был и материальный»⁴⁰. Работы художников объединения были показаны и в Тарту. В экспозиции января 1919 года было около двухсот работ. Среди них и близкие к кубизму и футуризму крупноформатные картины. Их автором, прежде всего, был Э. Брастыньш. Реалистическую манеру живописи с несколько символическим уклоном предлагал Э. Бренценс. Р. Сута писал: «Несколько более других определился Эдуардс Бренценс со своим стремлением к латышскому колориту в палитре финна Аксела Галлена и «Югенда», в его работах прослеживается уравнишенность цвета, хотя рисунок вовсе не конструктивен. Тут еще следует отметить, что все те персонажи, которые на его полотнах облачены в латышские этнографические костюмы, близки бутафории «передвижников». П. Кундзиньш в своих картинах «предался изучению мистических проблем»⁴² с помощью художественных средств. Стоит отметить также лирические пейзажи А. Петрова, пейзажи П. Петерсонса, носившие в основном характер этюдов «... меньше формы, больше цветовых импрессионизмов». Также заслуживают внимания рисунки тушью Я. Спрингиса и акварели Я. Саукумса. Была выставлена также скульптурная группа «Осень», скульптура Я. Домбровского, портрет Т. Удерса, выполненный А. Розиньшем.

Художники обычно собирались у Эрнеста Брастыньша. Самыми главными и громкими ораторами тут были Брастыньш и Страубергс; вклинивались в разговор Мелдерис с Саукумсом, у которых всегда было наготове много блестящего латышского юмора и сравнений.

Самыми тихими в этой компании были Бренценс и Кундзиньш; особенно последний больше курил, чем говорил. Битвы шли вокруг проблем современного искусства: их в то время представляли оба Брастыньша и Мелдерис; противоположную сторону Бренценс с Кундзиньшем (...). Много говорили об отходе искусства от литературы, о кубизме, экспрессионизме и о манифесте футуристов. Мнение Бренценса в этих спорах было простым — важна не какая-нибудь формула, теоретические рассуждения, а работа. «Пиши, браток, глядишь, что-то и останется, если сам будешь художником!» — было обычным его выражением, когда пыл спорщиков уже поугас. «Важно твое личное видение, восприятие, форма, а не то, наносишь ты краски, как Пикассо или как Ван Гог»⁴⁴.

За время деятельности «Белой вороны» самую большую творческую активность проявил Эдуардс Бренценс (1885—1929). Его талант сценографа особенно ярко проявился в Валмиерском рабочем театре (позже театр Советов). Тут, начиная с 1917 года, он выполнял обязан-

³⁹ Мелдерис Э., то же, с. 270.

⁴⁰ Dombrovskis., то же, с. 89

⁴¹ Сута Р. Вторая объединенная...

⁴² Сута Р. Вторая объединенная...

⁴³ Мелдерис Э. Жизнь изобразительного искусства..., стр. 269.

⁴⁴ Цирулис Я. Воспоминания о Валмиере. — «Тевия», 17 июля, 1943 г.

³¹ Андрушайте Дз. Эдуардс Бренценс в Валмиере 1918—1919 гг. — Латышское изобразительное искусство. — Р., 1981, с. 121.

³² ЦГАОР, Ф. 47, кн. 1, с. 922.

³³ Мелдерис Э. Жизнь изобразительного искусства..., с. 266.

³⁴ Dombrovskis J. Latvju..., 89 lpp.

³⁵ Весенняя выставка Объединения независимых художников (1920 г. 5. IV — 16.V). Каталог на лат. яз.

³⁶ «Tēvijās sargs», 1938, № 13.

³⁷ L. L. Kāpēc krija Padomju Latvija? (Почему пала Советская Латвия?) Циня, 3 янв. 1989 г.

³⁸ Сута Р. Вторая объединенная выставка латышских художников в Валмиере. — Лидумс, 1918, № 238.



Здание Валмиерского театра. 20-е годы. Снесено в 1984 г. Репродукция А. Лейтиса.

ности декоратора и наряду с Янисом Зариньшем и Арвидом Михелсонсом был одним из основателей театра. В театре ярче всего проявились его удивительно огромная работоспособность, талант и богатая фантазия. Создать единый визуальный образ было нелегко, потому что новые декорации изготавливали редко. Чаще всего из-за нехватки материалов приходилось трудиться над приспособлением декораций, предназначенных для других спектаклей. Материальное положение было настолько трудным, что зачастую заново создавали декорации для одного или двух актов, а для остальных собирали фрагменты от визуального воплощения других спектаклей. Э. Бренценс создал лицо декоративного оформления определенных спектаклей. Художник делал декорации для пьес различных авторов и жанров, но всегда преобладал живописный момент. Это была больше декоративная суховатая, графическая живопись, в которую порой просачивались некоторые элементы натурализма. В лучших работах раскрывалась способность Э. Бренценса как сценографа раскрыть дух постановки, из декораций, собранных с большой ловкостью и остроумием со всех спектаклей, он создавал выдержанный в едином стиле и хорошо скомпонованный визуальный общий образ спектакля. В декорациях, в отличие от картин художника, более удачно были использованы возможности синтеза цвета и фактуры, что способствовало достижению концентрированной иллюзии пространства помещения среды и воздуха. Э. Бренценс часто приглашал в помощники П. Кундзиньша, А. Петрова и самых способных учеников последних классов Валмиерской средней школы. Среди них был также будущий Народный художник ЛССР график П. Упитис, который помогал «Э. Бренценсу покрывать краской большие проспекты — декорации для Валмиерского театра...»⁴⁵. К созданию декораций в качестве помощников приглашали также самых способных учеников студии рисования и валяния при Народном университете. Каждому из них давали задание по эскизам художника написать по отдельному фрагменту, и работа хорошо спорилась⁴⁶.

⁴⁵ Грассе И. Умозаключение богатой судьбы. (Беседа с П. Упитисом). — «Ригас Балсс», 5 января 1980 г.

⁴⁶ Воспоминания Квиекиса К. Записаны в июне 1985 года, дополнены в сентябре 1985 года, автором статьи.

Наряду с деятельностью сценографа Э. Бренценс трудился и как творческий живописец. В период с 1917 года по 1921 год, когда художник жил на севере Видземе, было создано несколько станковых картин. В этом смысле это был самый плодотворный период жизни Э. Бренценса. «Бренценса охватила настоящая лихорадка. День за днем он сидел за мольбертом в своей квартире, и если кто-нибудь из друзей стучал в дверь или окно, то отзывался своим спокойным, несколько назальным голосом: «Слушай, браток, лучше не входи!» Только под вечер его можно было сдвинуть с места. Иногда тогда заходил к Брастыньшу, чтобы посидеть за ужином, где не было недостатка и пищи для разговоров. После ужина он сразу вставал и уходил, сверкая белым на заднице своих недопорванных брюк. Из-за этого и замаскированных всеми возможными красками бывших когда-то белыми туфель, растрепанной прически и перекошенного галстука Саукумс иногда ему выговаривал: «Ты бы, Бренцит, принарядился, уж как художник и женихающийся человек» (Бренценс собирался жениться). «Какой от всего этого толк, браток! Садись хоть на воз навоза — был и останешься Бренценс!»⁴⁷ Сейчас не известно место нахождения многих написанных в те годы портретов фигурных композиций, пейзажей и рисунков, и о них мы можем судить только по открыткам и воспоминаниям современников. Сегодня самой популярной стала психологически глубоко трактованная картина «1905 год» (1919). Лаконичная по форме, суровая по живописи и колориту драматическая композиция с выразительно трактованными образами отца и матери, склонившихся над трупом расстрелянного сына, который словно воплощает крах их мечтаний и надежд. Картина — вообще одно из лучших полотен латышского изобразительного искусства, посвященная этим трагическим годам, несмотря на то, что «на ней нет ни знамен, ни разъяренных шестивей — лежит парнишка, латышский, светлоголовый, у ног отца с матерью. Все. Уже ничего лишнего — хотел лишь свою землю и правду. Даже крови не видно. Только большая боль и горечь на сером небе. И какое-то всевыразимое достоинство в осанке отца и матери. Эта осанка появится позже в картинах Казакса и Гросвальди, посвященных беженцам и стрелкам, и в образе матери на

⁴⁷ Cīrulis I. Atmiņas... (Цирулис Я. Воспоминания...).

Братском кладбище»⁴⁸. Это полотно и картины: «На между кладу голову» (1918, хранится в Цесисском музее и известная по репродукции А. Розиньша картина «Проклятие матери» (1919)) образуют группу исторических полотен. В этих картинах с большим чувством переживания раскрыта история народа. Произведения весьма далеки и от документальной фиксации времени, и от восхищения старинной. В композициях рельефно вырисовываются черты трагических образов, черты, несущие печать конкретности своего времени. На полотнах «Замок бесов» (1918—1919) и «Предание» (1919) художник живописью рассказывает предания и сказки, даже видения, которым характерна образно-аллегоричная окраска и символическое настроение. По фоторепродукциям трудно судить о живописных качествах этих произведений. Не очень понятны и философские идеи этих композиций.

«Декоративная небрежность»⁴⁹ и использованные аллегорические образы создают символично-сентиментальное настроение. Художнику не всегда удается сбалансировать на лезвии сентиментальности, и иногда исчезает невидимая грань, отделяющая сентиментальность от романтической реальности. Хотя Я. Яунсудрабиньш считает, что «... Бренценса все же от этой беды всегда вовремя удерживали его врожденное чувство меры и живое восприятие, не терпящее ничего надуманного ни в содержании, ни в выразительных средствах»⁵⁰. Нагляднее всего это открылось в картинах «На теплом солнышке» (1919), «Летней ночью» (1919), «Идиллия» («Пастушок») (1919), «Янова ночь» (1919), «Мысли» (1919), «Вечер» (1919), «В лодке» (1920). Наблюдаемое в них обобщение лирического образа выражает настроения, характерные для искусства неоромантизма начала века. Характерно стремление к такой интерпретации поэтического образа, которая соединена с известным раскрытием психологии образов. Наряду с упомянутыми картинами Э. Бренценс написал несколько портретов и несколько десятков пейзажей окрестностей Валмиеры, в большинстве этюды, в которых, главным образом, создавалось и оттачивалось профессиональное мастерство художника. Следует присоединиться к написанному Э. Меднисом: «Будучи декоратором, Бренценс в картинах всегда остается верен той технической манере, которую он освоил в училище Штиглица — широкие, нелепые цветные площадки света и тени, оставляющие впечатление эскиза»⁵¹. В целом художественные достоинства картин Э. Бренценса всегда спорны. Наряду с профессионально высококачественными произведениями есть картины «... манерность, декоративная небрежность, дешевые цветовые эффекты, банальный анекдот, и бесформенный анекдот делает большую часть его живописи неприемлемой»⁵².

С весны 1918 года учителем рисования в городском реальном училище и в гимназии работал Петерис Кундзиньш (1886—1958). В то время он был известен как автор романтически символических картин. Эта линия его творчества, со «... склонностью к символической гущенно романтической трактовке жизни, преобладанием различных орнаментальных украшений»⁵³ трактовалась искусствоведами даже как и... дань вкусам эпохи, стремление художника буржуазного общества того времени и мечтательности, к чему-то нереальному»⁵⁴. По-моему, такое мнение весьма необоснованно. Значение категории символа в латышском изобразительном искусстве, в теории и практике реализма начала двадцатого века еще недостаточно оценено (например, в творчестве Р. Перле, Т. Удерса, Я. Розенталя и некоторых других художников). П. Кундзиньш в своих произведениях пытается использовать символы — как символы определен-

ных человеческих качеств и способов действия, чтобы тем самым приблизиться к явлениям реальной жизни со стороны философского обобщения и попытаться открыть ценности, которые невозможно обнажить на уровне простой фиксации реальности. Именно использование символов делает более внушительным и обобщенным образ живописца. Определяющей является отображенная реально среда с вкрапленными в нее символами. Это способствует увеличению удельного веса романтически сказочных элементов. Не просто отображаются или типизируются реальные впечатления, а ищутся символы реальности. Именно с их помощью П. Кундзиньшу удается в своих картинах раскрыть свое отношение к действительности.

В свое время была широко известна картина «Мечты» (1917). Она экспонировалась и на передвижных выставках, устраивавшихся «Белой вороной», была весьма популярна среди зрителей. В нижней части композиции изображены две изможденные руки. Сквозь колючую проволоку они тянутся к изображенной на темном небе звезде чаяний и надежд. У каждого ведь есть «... своя заветная мечта, своя, часто неосознанная и даже кажущаяся недостижимой целью»⁵⁴. Возможно, что широкие народные массы в то время воспринимали эту картину как символ стремлений к лучшему и прекрасному будущему. Эта картина была широко распространена в репродукции⁵⁵. Несколькими картин символического характера посвящено латышским стрелкам и освободительной борьбе народа. В 1918 году, когда в Валмиере царил созданная немецкой оккупационной армией атмосфера террора, была создана картина «Реакция!». Распятый на кресте воин с вцепившимся ему в грудь стервятником. Символически аллегоричные образы картин взяты из реальной жизни и тем самым ярко выражают обусловленные эпохой думы и чувства художника. Отдельные работы П. Кундзиньша вызвали напоминание со стороны коллег и широкого круга зрителей, так как было трудно расшифровать значение заключенных в них символов. «Настоящей загадкой для всех по своему содержанию были в картине П. Кундзиньша «Я знаю красивую розочку» (1917), «усевшиеся вокруг рождественской елки воробьи»⁵⁶.

Это написано Эмилсом Мелдерисом (1889—1979). Осенью 1918 года он после демобилизации вернулся на родной хутор «Спельги» Ренценской волости. Вскоре Э. Мелдерис переехал в Валмиеру и активно включился в культурную жизнь города. «Работая в школах и в студии Народной высшей школы, — вспоминает художник, — я только успел в Валмиерской печи для обжига посуды обжечь маску мужчины»⁵⁷. Созданные в это время «... обогащены небольшими «роденовскими» поверхностными эффектами, они еще вписываются в рамки проповедуемого школой Штиглица реализма академического толка»⁵⁸.

Живописец, педагог и популяризатор искусства Петерис Петерсон (1881—1937) писал жизнерадостные, лирические, интимные по настроению пейзажи. В них художник достиг даже известной виртуозности, без лишнего шума, со вкусом и относительным изяществом палитры он выражает настроение пейзажа.

Э. Мелдерис, П. Петерсон и Я. Саукумс активно работали в Народной высшей школе и на Рабочих вечерних курсах. В Народной высшей школе «... отдел образования организовал курсы рисования и ваяния. Обсуждение методических вопросов и испытания на практике показывали большое воспитательное значение рисования и вая-

⁴⁸ Ziedonis I. Tik un tā. — R. 1935. 218. lpp.

⁴⁹ Силиньш Я. Живопись. Независимая осенняя выставка. — Latvijas Kareivis, 1922 g., 19 nov.

⁵⁰ Яунсудрабиньш Я. Эдуардс Бренценс. — Piesaulē, 1926, № 6, 279 lpp.

⁵¹ Меднис Э. Эдуардс Бренценс. — Pēdējā brīdī, 1927 g., 19 okt.

⁵² Силиньш Г. Живопись...

⁵³ Блахина Е. Природы тихих звуков и облаков художник. — Лат. изобразительное искусство, Р., 1960, с. 159.

⁵⁴ Кундзиня А. Вспоминая Петериса Кундзиня. — Латышск. изобразит. ис-во, Р., 1981, с. 99.

⁵⁵ Репродукции произведений П. Кундзиньша издали: К. Дунис в Валмиере, П. Стучис в Лимбажи, Э. Дубавс в Цесисе и А. Белманс в Риге. Существует также много открыток, на обратной стороне которых издатель не указан. Для К. Дуниса и Э. Дубавса репродукции сделал П. Разиньш.

⁵⁶ Мелдерис Э., то же, с. 270.

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Latviešu tēlniecības meistari. P. 1982, стр. не нумерованы.

ния и глубже заинтересовывали учащихся курсов. Мы читали доклады и организовывали практические занятия также в детском саду и для сельских учителей Валмиерского района. При Народной высшей школе организовалась студия рисования и валяния. Эту студию посещали в основном рабочая молодежь и молодые учителя. . . . За короткое время устроили даже одну отчетную выставку в помещении средней школы. Лекции по истории искусства читал П. Петерсон, и его аудитория всегда была переполнена слушателями различных профессий⁵⁹.

Местная газета сообщала: «Работа отделом образования вечерних курсов началась в понедельник, 5-го февраля в бывшей женской гимназии. До 8-го февраля записалось всего 399 слушателей — курсантов. Больше всего посещаются лекции по общеобразовательным предметам — латышской и русской литературе, естествознанию, истории искусства, политэкономии.

Специальные предметы — языки, рисование, бухгалтерия посещаются таким количеством слушателей, что не хватает предусмотренных вначале часов. Наибольшее число учащихся из кругов рабочей молодежи Валмиеры»⁶⁰.

Ученик Т. Удерса в Валмиерской городской школе Янис Саукумс (1890—1936) под влиянием педагога отправился учиться в Петербург в Центральное училище технического рисования барона Штиглица. Материальную поддержку юноше оказывает общество Мазсалацы. После окончания училища художник главным образом работал в книжной графике. В 1917 году он рисовал обложку и двенадцать иллюстраций к произведению Гарлиба Меркелеса «Иманта» (издание Дукурса). Примерно в это же время сделано несколько открыток. Их сюжеты обычно почерпнуты в латышских народных анекдотах, дайнах и сказках. «Своеобразной личностью был художник Я. Саукумс, — пишет Э. Мелдерис, — постоянно улыбающийся, полон шуток. Из созданных в 1919 году картин (акварелей) в памяти сохранились «Праздники Лиго» и несколько остроумных рисунков. Свою творческую энергию Я. Саукумс вкладывал главным образом в педагогическую деятельность»⁶¹. До нас не дошли акварели раннего творчества. Позже, в 20-е годы, в акварелях существенное значение имеет техническая сторона. В пейзажах и жанровых зарисовках в качестве самостоятельной эстетической ценности акцентируется фактура бумаги и весьма четкая, точная линия рисунка. В натюрмортах больше подчеркнута текучесть цвета и прозрачность. В произведениях Я. Саукумса обычно открывается романтизированный насыщенный эмоциональной радостью жизни мир. Однако, когда в жизнь художника ворвалась болезнь, этот мир оказался слишком слаб. Вместо жизнерадостного настроения образуется мистически ирреальный мир.

Не помогло кратковременное лечение на западноевропейских курортах, туберкулез костей оказался сильнее, и жизнь художника прервалась в возрасте сорока шести лет. Могилу Я. Саукумса на кладбище Мазсалаца украшает созданный скульптором Арвидом Брастыньшем памятник, открытый 1 мая 1938 года. В выставках «Белой вороны» А. Брастыньш принимал участие вырезанными из

дерева масками идолов и деревянными барельефами. Подобно маскам африканских народов, скульптурные изображения мифологических богов древних племен балтов обычно полихронны, с приклеенными волосами, прикрепленными глазами и зубами из другого материала. Однако « . . . находясь еще только на стадии становления художника, Брастыньш в своих произведениях еще довольно неуравновешен и технически несовершенен»⁶³.

Вдохновленный Т. Удерсом, не окончив Валмиерский учительский семинар, в Петербург отправился Херманис Аплоциньш (1891—1958) и осуществил там свое намерение учиться в училище рисования Штиглица. Учебу он успешно закончил в 1916 году. Произведения художника 1918 и 1919 годов, созданные в Валмиере, сегодня неизвестны. До конца двадцатых годов Х. Аплоциньш в значительной степени подражал манере исполнения Т. Удерса рисунков углем, а также технике и сюжетам произведений. Критика тех лет отмечает: «Художественное лицо Аплоциньша еще совсем проблематично»⁶⁴. Позднее, в тридцатые годы, у него вырабатывается более или менее самостоятельный художественный почерк. Наиболее удачны у него акварели. В них виртуозно объединяются изогнутые, ломаные линии и суховатая акварель, особенно во взморских сценах. В изображении трудящегося человека акцентируется ритм движения и словно тяжесть застывших поз.

В один год с Х. Аплоциньшем Центральное училище технического рисования Штиглица окончил Эрнестс Брастыньш (1892—1940/41 (?)). Во время деятельности «Белой вороны» он в своих картинах следовал различным авангардистским направлениям. Его кисти принадлежат экспонировавшиеся на выставках «Белой вороны» написанные под впечатлением кубизма и футуризма полотна большого формата. Е. Мелдерис свидетельствует, что Брастыньш отличался от других живописцев « . . . исканиями художественной формы — ребристыми портретами»⁶⁵. Сохранились также свидетельства, что весной 1919 года написан портрет какой-то гимназистки, который следует причислить к лучшим произведениям художника⁶⁶.

В выставках «Белой вороны» активно участвовал скульптор и искусствовед Янис Домбровскис (1885—1953). В 1919 году вместе с художником Аугустом Уллой (1872—1958) он активно трудился в Майском комитете в Цесисе. «Под их руководством работает несколько молодых дарований, как Саулитис, Б. Крестынь, Гайлис, Бирканс и др., а также ученики старших классов местных школ»⁶⁷.

Только в одной выставке группы (в январе 1919 г. — А. Л.) участвовал А. Петров, так как в феврале 1919 года он был мобилизован в Красную Армию и в Латвию вернулся только через год.

В стабилизации художественного уровня выставок группы большое значение имели рисунки тушью жителя Валки Яниса Сприньгиса (1892—1959) и живописные изображения цветов и пейзажей Роберта Сникерса (1893—1944). Последний в начале двадцатых годов создал в Валмиере студию « . . . где работали ученики средней школы, интересующиеся искусством»⁶⁸.

⁵⁹ Силиньш Я. Искусство и театр. Независимая летняя выставка. — Darba Balss, 1922 g., 19 maijs.

⁶⁴ Melderis E. Tēlotājas mākslas dzīve . . . , стр. 270.

⁶⁵ Цирулис Я. Воспоминания.

⁶⁶ Cesu apriņķa strādnieku deputātu padomes Ziņotājs. 26 aprēļa 1919, № 21.

⁶⁷ Скулме У. Картина Яниса Звирбулиса «Пейзаж». — Даугава, 1937, № 10, с. 955.

⁵⁹ Мелдерис Э., с. 265—266.

⁶⁰ Biletens 1919, № 5.

⁶¹ Мелдерис Э., с. 270.

⁶² Dombrovskis J. . . . — с. 213.

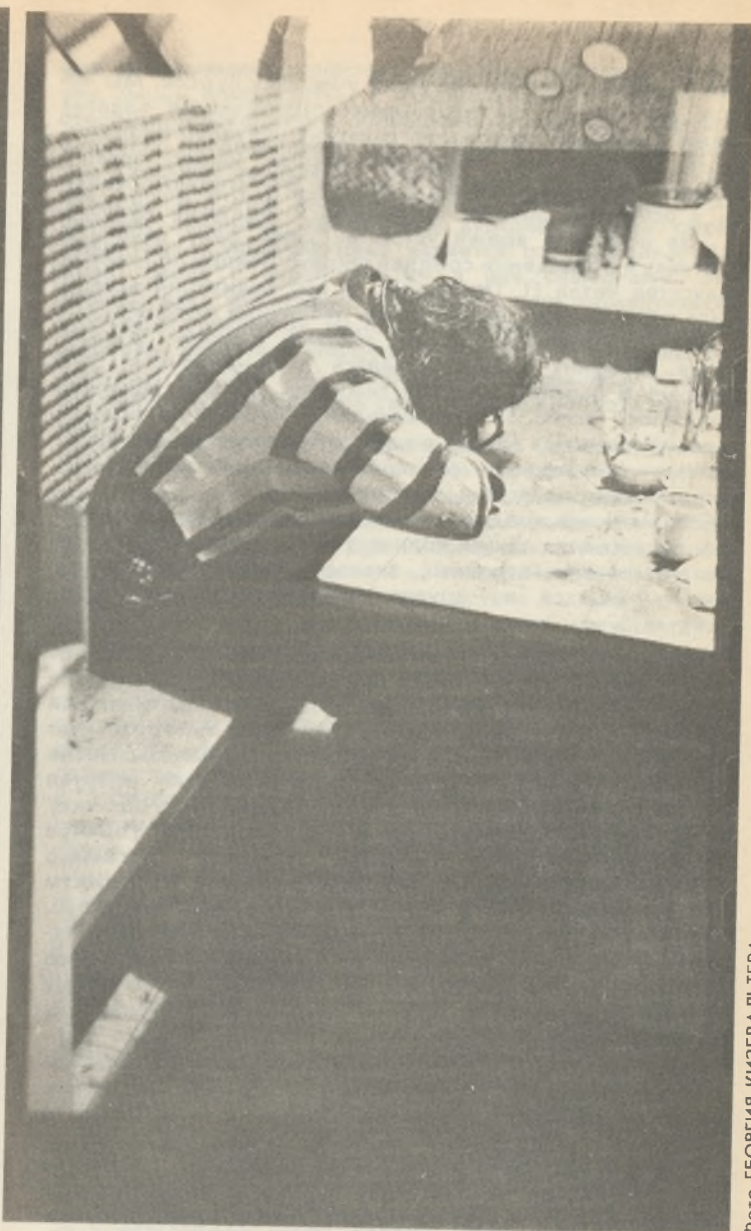


Фото ГЕОРГИЯ КИЗЕВАЛЬТЕРА

МОНОЛОГ АНАТОЛИЯ ЗВЕРЕВА

Зверев Анатолий Тимофеевич [1931—1986] — известный московский живописец, мастер антижизни. Данный текст скомпилирован на основе двух интервью: из альбома «По мастерским», часть II, С. Г. Кизевальтер, 1985, и из фонограммы к слайдфильму «Полузакрытый город», © Г. Кизевальтер, 1986. «Логические связи» внутри отдельных фраз сохранены без изменения.

...

Ну, что тут скажешь . . . Искусством я начал заниматься с футбола. Вот живопись и футбол — это всё взаимосвязано! Когда мне надо было пробить штрафной удар против команды «Стрела» (а у нас была команда «Чайка», но это одно и то же), мне было 14 лет, и я забил мяч, потому что решил стать поэтом, и забил так, как мастер спорта никогда не забьет! Но я труслив — мне так сразу определили в клубе гимнастики — ты, говорят, боишься упасть. — Ха! Я падал потом и не так, когда

в Ленинграде был без сознания: лбом о платформу — и ни хрена! Но эта трусость наложила отпечаток на всю мою жизнь. Я темноты боюсь. И женщины меня поэтому не любят: ведь женщины требуют защиты, а на хера нужен мужик, который бздит и под юбку лезет!

Кстати, о любви. Это сильная вещь! Она приводит к уничтожению мира. И это понятно, потому что с детства я привык верить в одну вещь — в подлость! Все — подлые (кроме меня и тебя, конечно). Вот онанизм — это подлость. Это я говорю, как классический онанист. Но я от любви бешеный — влюбился в детстве в одну даму — ей было два года, а мне год, и вот до сих пор . . . Её звали Нора. Но теперь я влюбился в другую, и норы мне не нужны.

Да, так начал я в 31-м, как только родился. Мне что-то такое померещилось, что будто была гроза — осенью,

я в ноябре родился, — летели осенние листья... и это повлияло так сильно, что когда меня пытались кормить из чужой груди, я блевал, вырывался, падал на пол головой, как бы наживая себе антиума — это тетка меня пыталась кормить, потому что мать работала все время, — кстати, Костика врет, когда пишет в каталоге, кто мои родители. Он там наговорил: переплетчик, посудомойка, подломойка какая-то... Отец — инвалид гражданской войны — просто и коротко. Мать — рабочая. Всё... А потом всё пошло и поехало, хотя почти ничего не помню, что дальше было... в пять лет я нарисовал уличное движение — тогда Москва была ещё небольшой, и на выборные собрания ходили человек по пять, по восемь, под гармошку, и детей брали с собой: для детей там ставили столики, и можно было рисовать, и я нарисовал уличное движение и получил премию — портрет Сталина в золоченой раме... потом я уже заставлял рисовать троюродного брата — он очень здорово лошадей рисовал, а я вот строение копыт до сих пор не знаю: надо же изучать копыта, а я только примерно знаю... хотя я ученик Леонардо да Винчи, я не хочу ничего изучать... я никогда не хотел быть художником, я стал им совершенно случайно, а вот гением — не случайно! Я прочитал у Леонардо да Винчи, что «жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя», — это какой-то трактат был, и я обнаружил там массу общих со мной мыслей, — так мне показалось, что это он — мой ученик; мне так жалко его стало, что я прослезился и превзошел его!

Нет, конечно, я учился — в художественно-ремесленном, на Преображенке, на улице Девятой роты... закончил, потом учился полтора месяца в училище 1905 года — меня выгнали оттуда, не хотели они меня, да и я сам не хотел... я просто помог товарищу написать диктант, и он пятерку получил, а меня выгнали, решили, что я у него списал...

«Мир противоречив», — сказал Илья Эренбург, разрезая ленточку на выставке Пикассо. Потом Эренбург назвал меня русским Ван-Гогом, когда появился у А. Румнева¹, — я этим не то чтобы горжусь, а вспоминаю, чтобы со мной считались, чтобы рубль кто-нибудь дал!..

Я сейчас стараюсь вообще не рисовать, но рисую ещё больше, потому что судьба заставляет... Вообще, я рисование бросил в 59-м году — для себя — ни хрена больше не делал: чего этим искусством интересоваться? — Это всё равно, как сельское хозяйство... с 59-го года я прекратил всякие эксперименты и стал халтурщиком: рисую только для халтуры, хотя иногда и получается неплохо — всё зависит от настроения, от погоды, от здоровья, — но всё равно получается новая форма, новое искусство... а основное начало рисования было в детстве, когда мне было девять лет — я тогда создал шедевр, и когда я попытался повторить его — мне уже черт знает сколько лет было... бенуаль? — нет, не фестиваль... ещё приехали эти иностранцы сраные — кто кого на лодке перегонит, как это называется?.. когда 80 лет было, ну?.. негры всякие понаехали, советские люди... — вместо фестиваля, как это называется?.. вот фестиваль молодежи и студентов был в 57-м году, а вот 80 лет — что это такое?.. Думай! На букву «о»... Правильно, олимпиада! И я тогда много нарисовал всего — у одного человека... А в 57-м я действительно рисовал интересно, привлек к себе внимание иностранцев — рисовал я тогда лучше всех, прямо надо сказать... один бразилец заявил, что «это лучший художник, и единственный!», и присудил мне две золотые медали — за две работы из шести — все тогда обалдели, и эти иностранцы-американцы с их ташизмом: ташизм, кстати, я изобрел, только никто об этом не знает... ещё в ремесленном училище!

Нет, на меня абсолютного никто не влиял! Рисование — это мой порок. Я, по совести, поэт, а не художник...

художничество пришло ко мне из-за материальных условий, к несчастью, но рисовать я действительно научился лучше всех, потому что я старался... и лучшего, чем у меня, рисунка, как говорил покойник Румнев, ни у кого не было — я раньше мог рисовать, не глядя на бумагу, один к одному! — Так в мире никто не рисовал — ни Рембрандт, ни Энгр, ни даже Леонардо, мой учитель...

Молодые художники? Да я их не видел. На выставки я стараюсь не ходить, потому что молодые очень агрессивны: им кажется, что я какую-то тайну храню, а мне не до них, и я ухажу... вот влюбился в двух дам, и всё.

Почему я должен любить свое искусство?! Пускай оно меня любит. А оно говорит: слишком мало денег получаешь! Крыши над головой нет, зарплаты нет... Вот я, к сожалению, не могу на метро ездить, потому что милиция на меня смотрит как на охламона какого-то. Мне просто сказали: лучше тебе в метро не ездить в таком виде. Я говорю: в каком? — Я белую майку на себя надеваю — мне говорят: ты белогвардеец недобитый! Красную надеваю — ты, говорят, смеешься над красноармейцами! Черную — ты анархию проповедуешь! Серую — ты серопупый, не хрена тебе в Москве жить, поезжай в деревню. Поехал в деревню, там мне говорят: ты что-то не совсем деревенский, рассуждаешь по-московски! Еду к Немухину², а он: ты что-то мудришь! Давай, ищи богатых покупателей!.. Я говорю: богатыми покупателями могут быть только спекулянты и иностранцы — они любят русских художников. Но если ты русский — так отдай своё произведение, как я отдавал!.. Мне говорят: зачем у тебя покупать, когда ты за четвертинку сто штук нарисуешь? Или если тебе ночевать негде — ведь ты боишься милиции и дурдома? — А я прописан в Гиблово-Свиблово: кто там в дверь стучит, я не знаю и я боюсь... Дурдом, говорят, тебе обеспечен! Да, я сумасшедший, конечно. Все художники — сумасшедшие, но не надо из этого делать культ! Нормальный человек, конечно, не будет разговаривать, как я. Но больной человек всегда сумасшедший: перебей ему кости — нормальный это будет человек? Если ногу ему оторвать — полноценный это человек? Нет, он обязательно будет пороть всякую чушь!

Вообще, Советский Союз — это ералаш. Страна — благодатная. Социализм — не утопия, но бардак и обман... Мне кажется, что мудрых людей в СССР нет, потому что у нас равенство. То есть мудрость всем распределена поровну и распространена по всему Советскому Союзу настолько, что куда бы ты ни плыл, куда бы ты ни ехал, ты всё равно получишь мудрость, то есть по башке!

Старик, что я тебе хочу сказать... Искусство — это ты сам! Вот ты живешь, видишь, смотришь, а тебя за это по башке бьют — вот это и есть искусство!.. Как бы научиться, как хамелеон, цвет менять? Ведь мы же не борцы, мы слабые люди, и наш бронепоезд не стоит на запасном пути — надо как-то приспособливаться к обществу!

Вот у американцев есть поговорка: время — деньги. А я расточаю время в течение 54 лет со страшной силой, и никто мне за трудодень не дал ни копейки! Один раз, правда, я был строителем коммунизма — в роли маляра — но меня так нае... — это ужасно! Конечно, кому я такой нужен: одна нога в валенке, другая в ботинке, и лаптем тормозит — в гололед!..

Старик, есть ещё выпить? Это я говорю, в принципе, как борец против алкоголя... Что? Сейчас я живу нормально дальше будет хуже и хуже... Я думаю одну: как бы жизнь обогнуть и окунуться на дно... Горького — нет, значит, счастья нет во мне: я — на дне!.. Что, действительно больше ничего не осталось? Нет?! — Всё, жизнь прекращается!..

¹ (балетмейстер, первый покровитель Зверева — Г. К.)

² (другой известный московский художник. — Г. К.)



Фотоколлаж АЙВАРСА ВАКСИСА

ИРИНА КАМЕНСКАЯ

ПОЛЁТ НАД СТЕНОЙ НЕЛЮБВИ

Мы так многое в жизни презираем, чтобы не исполниться презрением к самим себе.

Вовенарг. Размышления и максимы.

Пестрая толпа буквально вынесла нас из метро и показала по дорожке к парку прямо на запах шашлыка. Ярмарка выплеснулась далеко за пределы вывески с громким названием «Вернисаж» и сразу же обрушила на нас шквал красок, запахов, музыки. Картины и пуговицы, самовары и куклы, книги, игрушки, кружева и яркие фартуки — все это Измайловское еженедельное разноцветье втянуло в свой водово-

рот разноязыкую воскресную публику. Измайловская ярмарка — это первое, и поначалу не вполне законное детище перестройки; это свободный рынок, куда вот уже несколько лет приносят свои работы все, кто умеет (или не умеет) рисовать, лепить, вышивать или просто продавать. Только здесь можно по-настоящему прикоснуться к праздничной московской безалаберности и неистребимому людскому желанию смеяться. Сме-

яться над всем, по поводу и без повода.

Конечно, в Измайлове немало и «серьезных» товаров, как, например, расписные лаковые шкатулки, которые по карману лишь богатым заграничным туристам, или неизвестно кому предназначенные бледные картины «под Модильяни», «под Ренуара» и т. д. Но отдавая дань умельцам, выстроившимся по обе стороны аллеи рынка, иногда даже прицениваясь к

той или иной картине, люди проходят мимо, неудержимо стремясь к хохочущим островкам зевак, толпящимся вокруг лотков, где просто смешно. Только здесь, в Измайлове, можно увидеть набор традиционных русских «матрешек» с лицами руководителей государства, вставляющихся одна в другую в соответствии с хронологической последовательностью правления вождей, или прекрасно изданный, в красном переплете с золотым тиснением и обрезом «Капитал» Маркса, который при ближайшем рассмотрении оказывается копилкой. И, конечно, большие круглые значки с надписями, понятными по-настоящему только советским людям — ведь культура юмора, иронии, анекдота, принадлежащая самым глубинным слоям человеческого сознания, действительно национальна по своей сути, и не рассмешить таким значком, скажем, англичанина.

Я добросовестно, но без особого успеха, пыталась перевести своей спутнице, западногерманской журналистке, надписи на значках, но вдруг она удивленно спросила, указав на один из них: «А это что, тоже смешно?». Надпись гласила: «Не люблю Раису».

Раиса у нас одна. И ее действительно не любят. И ничего смешного в этом значке нет. Так же, как и в анекдотах о ней, хотя и немногочисленных, но неизменно скучных, исчезающих почти одновременно с их появлением, — глупые шутки в России не живут. А ведь пошутить и высмеять у нас умеют.

Отступление первое

Юмор — это спасательный круг на волнах жизни.

В. Раабе

Вряд ли найдется в мире страна, где с такой же невероятной скоростью обрастали бы анекдотами революции и погромы, болезни и смерть, преступления и наказания. Любая неприятность — личная или социальная, нищета, официальная ложь, и уж, конечно, политика и ее творцы всегда становились предметом шуток и насмешек. Особенно богата история советского государства политическими анекдотами, и хотя существуют серьезные филологические работы, посвященные анекдотному творчеству, жанр политического анекдота еще ждет своего исследователя.

Часто анекдоты надолго переживают создавшее их поколение. Так, еще из первых лет после революции дошел до нас популярный ныне анекдот, как старый еврей отвечает на «классический» вопрос того времени «Как вы относитесь к Советской власти?» — «Как к своей жене: немножко я ее люблю, немножко я ее боюсь, и немножко мне уже хочется другую».

Ни послереволюционная разруха, ни голод, ни кровавая диктатура Отца Народов — Сталина не смогли остановить поток анекдотов, а уж в годы правления Хрущева и Брежнева анекдотное творчество расцвело небывало пышным цветом. Более того, родился новый жанр — анекдоты об анекдотах. Вот один из примеров: «Какой народ самый смелый? Американец, ведущий автомобиль по горной дороге с бешеной скоростью? Француз, меняющий женщин с риском заболеть сифилисом? Нет, это русский, рассказывающий в компании политические анекдоты, твердо зная, что один из гостей — стукач».

Притягательность политического анекдота неизменно побеждала страх перед реальной опасностью подвергнуться преследованиям, потерять работу, сесть в тюрьму. При Сталине за анекдот, подпадающий под статью уголовного кодекса «антисоветская агитация», — а таким мог быть признан практически любой — шутнику грозил совсем не шуточный расстрел. В 60—70-е годы произошла некоторая либерализация в этой области, но не случайно получил в то время широчайшее распространение анекдот о том, как Брежнев на вопрос иностранного корреспондента, есть ли у него хобби, отвечает: «Конечно. Я собираю анекдоты о себе». — «И много набрали?» — «Да немного, два лагеря».

Особенно безжалостно высмеивали анекдоты недостатки и слабости руководителей страны. Так, в годы правления Хрущева основной мишенью шуток была забавная внешность главы государства, а также его постоянные попытки — при полной некомпетентности — вмешиваться в вопросы культуры. Один из наиболее популярных анекдотов того времени появился немедленно после печально известного посещения Хрущевым первой выставки советских художников — авангардистов, вследствие которого все, кто не желал работать в жанре «социалистического реализма», были вынуждены надолго уйти в подполье, а многие — и покинуть страну. Хрущев: «Что это у вас за квадратики?». Художник: «Это картина». Хр.: «Снять немедленно! А это что за кружочки и палочки?» Худ.: «Это картина». Хр.: «Это — дерьмо. Снять немедленно! Ну а это что за задница с ушами?» Худ.: «Извините, Никита Сергеевич, это зеркало».

Анекдоты Брежневской эпохи отличались удивительно злой иронией над каждым шагом этого человека и невероятным разнообразием, благо недостатков у него было в избытке. Появились они, однако, не сразу после его прихода — страна присматривалась. Умы острословов были заняты сочинением анекдотов по поводу шумной и всем надоевшей кампании празднования 100-летия со дня рождения Ленина, продолжавшейся несколько лет.

Анекдоты смутного времени «междуцарствия» — от Брежнева до Горбачева — как правило, так или иначе были связаны со стремительной сменой вождей, даже смерть которых практически не вызвала сочувствия в массах. «У тебя есть пропуск на похороны?» — «Зачем мне разовый? У меня абонемент». Эта и другие подобные шутки прожили весьма недолго.

И вот появился Горбачев. Остряки приуныли. Смеяться, оказалось, в общем, не над чем. После небольшого всплеска иронии по поводу недолгой — к счастью — антиалкогольной кампании анекдоты о главе государства, может быть, впервые за всю историю советской власти, исчезли совсем. Нет, смеяться не перестали, несмотря на лавину незнакомых моему поколению трудностей, свалившуюся внезапно и на всех сразу. Наоборот, участвовавшие праздники юмора рождают неисчислимо количество шуток о наших общих бедах. Но как-то не попадает в эту обойму фигура лидера, и лишь жиденьким ручейком просачиваются время от времени на поверхность нашей жизни необычайно несмешные анекдоты о его супруге.

Как же могло произойти, что нелюбовь, личная неприязнь к этой изящной, элегантной, привлекательной женщине, несмотря на ее физическую отдаленность от основной массы нелюбящих, оказалась настолько сильна, что сумела подавить чув-

ство юмора — одну из немногих вещей, никогда еще не бывших в дефиците в нашей державе?

За что ее не любят!

Взмолился человек: «За что, о Боже, ты насылаешь на меня одного столько бед? Почему другим хорошо?». Подумал Бог, поморщился и сказал: «Да не люблю я тебя».

В этой мужской стране никогда не было «первой дамы». Жены политических деятелей даже не пытались претендовать на эту роль. Некоторым общественным весом обладала лишь супруга Ленина, однако ее влияния не хватало даже на то, чтобы добиться исполнения последней воли ее покойного мужа — желание быть похороненным рядом со своей матерью. Едва ли не первым событием, обозначившим само существование жены Сталина, стала ее трагическая смерть, принятая, по разным версиям, либо от руки самого тирана или его сообщников, либо от своей собственной руки. Полнотелая Нина Петровна Хрущева, в отличие от своей предшественницы имевшая общеизвестные имя и отчество, своим добродушным крестьянским лицом вызывала неизменную улыбку, появляясь в обществе своего мужа, но сколько я ни пыталась отыскать человека, слышав-

шего ее голос, мне этого сделать не удалось. И уж совсем загадочным персонажем была — или есть? — жена Брежнева. Лишь самым везучим удалось увидеть ее по телевизору при жизни супруга, да и то мельком, во время голосования на выборах. Жен Андропова и Черненко советская общность удостоилась лицезреть лишь на похоронах их именитых супругов, также, впрочем, промелькнувших на политическом небосклоне нашей страны.

Казалось, не суждено было женщинам обнародовать свою причастность к жизни лидеров советского государства. Но вихрь событий, именуемый «перестройкой», взметнул многие обветшалые структуры и символы власти, и фигура политического лидера страны внезапно утратила свою бесполость. У него появилась Жена. Это обстоятельство произвело не меньший эффект в обществе, чем выход на политическую арену самого М. Горбачева, но это был эффект другого рода. Не стану утверждать, что новая роль супруги Генерального Секретаря, ее интерес к его делам вызвали в целом отрицательную реакцию среди членов ЦК, хотя, судя по некоторым косвенным данным, например, по высказываниям Б. Ельцина в его наשמевшей и долго не публиковавшейся речи на Пленуме ЦК 1987 г. («Прошу избавить меня от постоянных звонков Раисы Максимовны»), не было и особых восторгов по этому поводу. Но чем ниже мы спускаемся по пирамиде власти, тем более жестким и резким становится неприятие «первой дамы». Спектр претензий оказывается необыкновенно широким: «Держится безобразно, то волосы поправит, то воротник», «Лезет в телекамеру, как будто это она персона номер один, а не Горбачев», «Да что она с нами как с дураками говорит! И говорит-то не умеет. Как ляпнет что-нибудь, вроде как в Америке про «вечную дружбу между советским и армянским народом!» Уши вянут!». А вот еще: «Ишь, вырядилась, на каблуках. Небось из Парижа шмотки. Ее бы на этих каблуках, да как мы — в «Гастроном», а потом с сумками в автобус», «Она деньги держит в швейцарском банке, а в Англии такие бриллианты покупала, что Тэтчер ахнула». И уж совсем абсурдное: «Ну чего он ее с собой возит? Дома бы сидела».

Боже мой, какая гамма чувств отразилась на лицах моих собеседников — людей, принадлежащих к разным слоям общества, имеющих разные профессии и социальный статус. Но сквозь все барьеры и различия в мировоззрении, уровне образования отчетливо проступала одна общая мысль: «Не люблю Раису».

Да, институт «первой дамы» пока остается неприемлемым для большинства моих соотечественников. Уж очень трудно отказаться от привыч-

ных, вдолбленных нам и нашим родителям с пеленок, представлений о том, что женщина — это только труженица, общественница и немножко мать. Даже в книге о женских болезнях, изданной всего тридцать лет назад, женщине предписывается следить за своим здоровьем с единственной целью — чтобы не понизить свою способность выполнить задания, которые стоят перед ней как строительницей коммунизма. А из всех человеческих ипостасей женщины идеология долгое время предлагала нам лишь одну — женщина-товарищ. Как размышлял герой одного из романов Андрея Платонова: «Женщина — это тоже товарищ, только особого свойства». Мы все вынесли из литературы и кинематографа нашего детства и юности образ благородной, но мужеподобной положительной героини, способной выполнить любую мужскую работу, стрелять из пулемета и варить сталь, не знающей слабостей и верной долгу. Гротескным воплощением такой женщины стала «железная» дама из недавнего кинофильма «Прошу слова», пришедшая руководить партийным собранием прямо от гроба своего маленького сына.

Конечно, искусство тосковало по женственности, но уж очень много лет она представляла перед нами в кино лишь вкупе с отрицательными моральными качествами. Даже теперь, в годы кино-ренессанса, самых красивых и женственных актрис чаще всего приглашают на роль проституток.

Жестоко пострадала женственность в наших женщинах от непосильного груза проблем, забот, ответственности, и какая-то уже генетически заложенная усталость в их глазах так часто поражает иностранцев. Но в нашей стране, в общем, все привыкли к роли женщины как многорукой рабочей машины. Журнал «Бурда моден», издающийся теперь и на русском языке, несмотря на свою чрезвычайную популярность, воспринимается многими просто как издевательство — его рекомендации рассчитаны на женщину, ведущую человеческий образ жизни, а не на бабу с сумками. Невероятно трудно советским людям примириться с тем, что существует реальная женщина, официально выполняющая роль женщины, жены своего мужа — главы государства, и имеющая право ничего не делать, кроме как оберегать его покой. И не обязана она публично отстаивать это право — оно предоставлено ей всей политической историей цивилизованных государств европейского типа.

Ну почему, если в смешной сказке, известной всем советским детям, рассказывается о крокодиле, который работает в зоопарке крокодилом — это логично и всем понятно? А вот «первая дама» — это, пользуясь формулировкой советского автора А. Фа-

дина, «неопознанный социальный объект», непонятный предмет, который на всякий случай проще и привычнее не любить.

Есть и другая причина стойкой неприязни к жене Президента — постыдное, но неистребимое чувство зависти, глубоко поселившееся в сердце российского обывателя.

Отступление второе

Явился Бог к бедняку и сказал, что выполнит любое его желание, но соседу его даст вдвое больше. Подумал бедняк и попросил Бога выколоть ему один глаз.

Мучительное, всепоглощающее чувство зависти, как мы теперь понимаем, переосмысливая 70-летнюю историю советского государства, легло в основу многих явлений и процессов, в немалой степени определивших печальные результаты дня сегодняшнего. Важно не обладание благами, а отсутствие их у соседа. Временами хорошо прикрытая благородной идеей «всеобщего равенства» зависть заставляла людей вредить ближнему своему даже без выгоды для себя. Не случайно в годы коллективизации подыхал запертый в загонх скот, отобранный у богатых крестьян — свежеспеченные бойцы советской власти не умели и не желали по-хозяйски распорядиться «экспропрированными» коровами и овцами, но о содеянном не жалели — ведь главная цель, может быть, и не осознанная до конца, была достигнута, теперь и сосед стал нищим. Зависть к чужим деньгам, красивой одежде, чужому счастью и успехам превратилась в разрушительную ржавчину, разъедающую сознание обывателя. Это она стала могучей силой, развратившей людей в 30-е годы, расплывшей море лживых доносов и клеветы. Это она заставляет в наши дни колхозных крестьян люто ненавидеть предприимчивого фермера-единоличника и в бессмысленной ярости совершать набеги на его хозяйство.

Мне довелось дважды в жизни впрямую столкнуться с этой абсурдной человеческой завистью. Первый раз это произошло в маленьком подмосковном городке, где я ребенком жила со своими родителями. В те годы большинство людей жили бедно, но моим родителям каким-то чудом удалось скопить немного денег, ущемляя себя во всем, и они купили телевизор — первый в городке. Уже на следующий день в нашу комнату в коммунальной квартире робко стучались совершенно незнакомые люди и, смущенно улыбаясь, просили хоть одним глазом взглянуть на «чудо». Люди шли и шли, десятки людей; отец гордо демонстрировал работу «чуда», а мать сбилась с ног, угощая

чаем незваных гостей. А через три дня отца вызвали в милицию и потребовали дать подробный отчет о доходах — пришла анонимка о том, что наша семья живет не по средствам. С тоталитарным государством шутки плохи, но, к счастью, скрывать было нечего. Молодой милиционер вздохнул облегченно, увидев, что доходы позволяют скопить денег на телевизор, но напоследок посоветовал не пускать в дом чужих. «Люди все разные», — вздохнул он.

Двадцать пять лет спустя, уже в Москве, произошла почти такая же история. Анонимка, направленная в милицию и прокуратуру, утверждала, что наша семья живет не по средствам, поскольку имеет автомобиль, а источником наших доходов, по сведениям неизвестного автора, является изготовление и продажа самогона. Указывалось даже место — антресоли — где мы якобы храним полуфабрикат производства. Представители власти, пришедшие к нам домой для выяснения этого дела, были немного смущены — не каждый день увидишь, как заслуженный врач, инвалид войны (моя свекровь), инженер (мой муж) и научный сотрудник Академии наук (я сама) пишут объяснение, призванное убедить правоохранительные органы, что мы самогон не гоним и не продаем.

Эти два спектакля театра абсурда были разыграны по разным сценариям, но написанным одним автором, имя которому — зависть.

Чем большее разнствие в нашей стране получает развитие, тем более невероятные проявления безудержной, неконтролируемой зависти предстают перед нами в газетных публикациях и по телевидению.

Две школьницы до смерти избивают свою одноклассницу и на суде открыто заявляют, что поводом к преступлению было ее новое платье.

Мирные граждане, в разных городах, не в силах примириться с обогащением кооператоров, громят кооперативные предприятия и магазины, не получая от этого ничего, кроме морального удовлетворения.

Хулиганы, забирающиеся зимой в подмосковные запертые дачи, не ищут в них убежища или продуктов. Их цель — сломать мебель, разбить стекла, посуду, разлить на диван или на пол чернила, порвать одежду.

Несколько лет назад во дворе весьма престижного московского дома был пойман вредитель, действовавший в течение многих месяцев. Им оказался сотрудник одной из центральных газет, пожилой человек. Регулярно, раз в несколько дней, он выходил по ночам из дома с ведерком, полным экскрементов, и с удовольствием, орудуя кистью, мазал автомобили своих соседей, уделяя особое внимание окнам и дверным ручкам.

Какую же безумную зависть может

испытывать рядовая советская женщина, не имеющая ни сил, ни времени для ухода за собой, для элементарного отдыха после рабочего дня и часов, проведенных в очереди, и бесконечных пинков в транспорте, которой и мысль о зарубежных поездках в голову не приходит, при виде Раисы, взлетевшей на самую высокую ступень женской иерархической лестницы шутя, без усилий, без всяких оснований? И думает она: «Ну чем я хуже ее? А почему у нее муж страной правит, а мой водку пьет?» Конечно, не будет рядовая замученная советская женщина как-нибудь вредить этой, неизвестно откуда взявшейся виновнице ее мрачных мыслей, да и нет у нее способов навредить ей, но уж ненавидеть ее никто не может запретить.

Мужчины куда опасней. Мне даже стало как-то не по себе, когда кандидат в депутаты от недавно возникшего профсоюза военнослужащих на своем предвыборном выступлении в одном из академических институтов, в ответ на мой вопрос, поддержал ли его коллеги Горбачева, резко сказал: «Да никогда в жизни. Разве народ простит ему Раису?» Он, правда, не смог мне внятно объяснить, чего именно не простит «народ», но какая злоба, какая мужская несостоятельность вдруг появилась на его лице! И сразу всем стало ясно, что это опять она, бессмертная зависть, и что не серьезные промахи Горбачева в руководстве, о которых говорит вся страна, привели этого человека в ряды оппозиции, а примитивное, первобытное чувство зависти к более сильному, сумевшему выдвинуться самому, да еще предъявить всему миру жену, обеспечив ее не только деньгами, но и известностью. Разве такое можно простить?

А если разобраться!

Да, народ ничего не прощает своим руководителям. Правда, и ошибок эти руководители делают немало. Но расплачиваются они не только за собственные промахи, но и за ошибки и преступления своих предшественников.

Исторический опыт советского государства заставил людей усвоить аксиомы: если человек попал в высшие эшелоны власти, значит вокруг него пахнет коррупцией. Следствие: если рядом с лидером появилась жена, то это еще один человек, претендующий на народные деньги. И вот ползут слухи — они строят дачу, потом — две дачи, потом — три; купили виллу на Мальте, или нет, кажется, в Швейцарии; скупают драгоценности (видимо, на черный день) — и все в таком же духе. И мало кому приходит в голову, что Горбачев — первый советский «хозрасчетный» лидер, который вместе со своей супругой пока не задолжал народу ни копейки — ва-

лютные гонорары за издание его книги, в отличие от книг его предшественников, написанной им самим, остающейся бестселлером во многих странах, уже вполне обеспечили семью Горбачевых до глубокой старости, а также принесли немалый доход в партийный бюджет. Еще ни один лидер не делал валютных пожертвований из собственного кармана в общественные фонды помощи пострадавшим от стихийных бедствий, как это делает Горбачев. Существенную валютную поддержку получил от него и Фонд культуры.

Но вернемся к «нелюбимой Раисе». Пока народные массы недоумевали и злились по поводу ее появления, она не теряла времени даром. Это она помогла всемирно известной Третьяковской галерее, уже много лет находившейся в полуразрушенном состоянии, получить средства на ремонт здания и восстановление картин. Это с ее помощью мы впервые увидели в новом выставочном зале бесценные произведения русского авангарда, вытасченные из мокрых подвалов Третьяковки. Это она приложила усилия к действительной реабилитации в советской литературе таких выдающихся имен, как Н. Гумилев, Б. Пастернак и др. Конечно, не только она, но все же...

И кто знает, может быть, пройдет время и унесет с собой незаслуженную неприязнь к ней. Одна моя весьма скептически настроенная подруга случайно оказалась свидетельницей визита Раисы Максимовны в Центральную детскую больницу, где лечатся дети, пострадавшие от землетрясения в Армении. «Раиса производит потрясающее и совершенно забытое впечатление женщины абсолютно счастливой, а потому доброй», — удивленно призналась мне подруга. — «Она принесла туда чек на сто тысяч долларов, посланный Горбачевым, и была так искренне рада, что может это сделать! Да, она говорит банальности, она скованна, но ведь ее никто не готовил к роли «первой дамы». Зато она такая обаятельная, особенно когда на нее не нацелена камера. Вообще она мне ужасно понравилась».

Я была поражена. Ведь среди интеллигенции давно и прочно установилось негласное табу на похвалу в адрес кого-либо из властей предрержащих. Тот, кто нарушал это табу, сам становился предметом насмешек и недоверия. Но, наверное, в нашем стремительно меняющемся мире, когда рушатся даже стены между государствами, приходит конец и этой традиции. И мне кажется, не стоит так отчаянно цепляться за стену нелюбви. Может быть, гораздо проще относиться к человеку в соответствии с его реальными, а не придуманными достоинствами и недостатками? Давайте будем справедливыми. А лично мне Раиса просто нравится.



РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА ПЕРЕД СУДОМ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ (1871—1945), писавший чаще всего под псевдонимом **АСКОЛЬДОВ** и с этой фамилией вошедший в историю русской философии, был незаконным сыном известного философа А. А. Козлова (1831—1901), которому его первая жена не давала развода. Аскольдов получил хорошее домашнее воспитание и, закончив естественный факультет Петербургского университета, поступил в акцизное ведомство, рассчитывая заниматься любимой им философией в свободное время. Однако к сорока годам Аскольдов, как в свое время и его отец, полностью отдается академической деятельности.

После революции Аскольдов все больше приближается к религии, и поэтому его карьера профессора философии была недолгой (с 1916 по 1919 г.). Оставив философскую кафедру, Аскольдов до середины двадцатых годов преподает химическую технологию в Ленинградском политехническом институте, повторяя в какой-то мере путь о. Павла Флоренского. Тогда же, в середине двадцатых годов, Аскольдов развивает бурную религиозную деятельность. Он основывает негласный студенческий философский кружок, а затем тайное религиозное братство преподобного Серафима Саровского. Но в 1928 году братство было раскрыто и для Аскольдова начинается его крестный путь, который, впрочем, был похож на крестный путь всех крупных русских философов, оставшихся в России при большевиках (о. П. Флоренский, А. Ф. Лосев) или попавших к ним в перипетиях второй мировой войны (Л. П. Карсавин). Аскольдов несколько раз арестовывался, был в лагерях, а потом в ссылке — сначала в Коми АССР, а потом в Новгороде, где его и застала война. Пережив войну в Новгороде, Аскольдов оказался в числе беженцев, которые к концу войны попали в Германию, где он и умер — в Потсдаме — 23 мая 1945 года. К тому времени в Потсдаме уже работали чекисты, очищая город от антисоветских элементов. Аскольдов не мог уйти от них, так как с ним случился сердечный припадок. Арестовали его сразу же после прихода в город Красной армии, сначала выпустили, не распознав в нем врага народа — философа-идеалиста. А когда опомнились и пришли во второй раз, Аскольдова уже не было на свете.

Трагическая судьба Аскольдова, переплетенная с трагическими судьбами России, не дала возможности вполне раскрыться этому яркому философскому таланту. Многие философ не смог написать, многое написанное утеряно навсегда. Но даже то, что стало достоянием российской философской общественности, вносит существенные штрихи в общую картину русской философии.

В своей философии Аскольдов находился под сильным влиянием отца и продолжил развитие философии «панпсихизма» и «персонализма», хотя и с существенным уклоном в религиозные проблемы. И чем дальше тем больше ощущался у Аскольдова этот религиозный фон его философского творчества. В конце концов он пришел к выводу о бесполезности философского системотворчества: «Прошло то время, когда построились целые гносеологические небоскребы, — говорил Аскольдов в 1924—1925 гг. — Постарел я, состарился и мир. В одной хорошей книге дух говорит схимнику: «некогда строить монастыри». Да, некогда сейчас строить системы типа Канта или даже Гуссерля. Приспело время говорить прямо: с кем ты? С Ним или с ним? И я в последние годы занимаюсь почти исключительно вопросами онтологии и религии. Все мои молодые увлечения вопросами «Мысли и действительности» отошли далеко, далеко...» (Цит. по: Б. Филиппов, С. А. Аскольдов-Алексеев. — в кн.: Русская религиозно-философская мысль XX века. Сб. ст. под ред. проф. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1975. с. 188.)

В свете начала религиозных исканий Аскольдова следует воспринимать и его статью в сборнике «Из глубины», где он пытается рассмотреть религиозный фон любой революции и, в частности, русской, а также дать некое типологическое описание революционного преобразования общества. Для нас сегодня особенно важно отметить, что революцию Аскольдов определяет как явственно противохристианский общественный акт, направленный на разрушение религиозных основ жизни общественного организма, на разрушение целого. Но, кроме того, Аскольдов пессимистически смотрит на возможность восстановления общественного целого, видя только деспотический вариант такого восстановления. Мы же сегодня с уверенностью говорим о возможности возрождения Белой России («животворящий белый цвет целостной полноты общественно-религиозного сознания»), которая сможет преодолеть в себе и смыть с своего лица «мятежный красный цвет революции», «черный цвет хаотической анархии» и получившуюся в результате «бесцветную белую немочь, имеющую лишь внешнее подобие жизни».

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

«ИЗ ГЛУБИНЫ. СБОРНИК СТАТЕЙ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

СЕРГЕЙ АСКОЛЬДОВ

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. Общее в революциях

Прежде чем говорить о религиозном смысле русской революции мы поставим вопрос о религиозном смысле революции вообще. Однако, есть ли что-либо типическое и общее для процесса, именуемого революцией? Если это понятие брать в его наиболее первоначальном и общем смысле, то, по видимому, мы будем иметь дело с чем-то слишком общим и неопределенным и потому не поддающимся той или иной оценке. В сущности, всякий исторический кризис, несущий с собою тот или иной «переворот» внутренних государственных отношений, есть революция. В известном смысле и война есть революция. И это особенно ясно на переживаемой нами войне, составляющей с русской революцией одно неразрывное целое. Дворцовые перевороты, например, убийство Павла I, по своим последствиям для жизни государства тоже могут подходить под понятие революции. Очевидно, что о таких разнообразных процессах не может быть высказано какого-либо единого суждения. Но сузим понятие революции; и мы получим уже некоторую определенность, которую в пределах поставленного нами вопроса нам нельзя не подвергнуть особому обсуждению. Мы будем разумеать под революцией ниспровержение народом того или иного государственного строя. Здесь имеются уже некоторые характерные, общие для процессов этого рода, черты. Основной такой чертой является особая психология народных масс, чувствующих себя вершителями своей новой исто-

рической судьбы. В революциях того типа, о котором мы говорим, новый строй возникает для народа не как внешняя перемена к лучшему или худшему, как бы дарованная судьбой через посредство тех или иных отдельных лиц, а как некий творческий почин и действие, исходящие от всех и каждого. Этот своеобразный психологический момент некоторого своеобразного «народного самодержавия», — самодержавия, носителями которого являются тысячи и миллионы, — является чем-то весьма важным и роковым для жизни народов. Конечно, можно сказать, что таким распыленным самодержавием является не только революция как острый процесс переворота, но и всякая стойкая форма народовластия, например, всякая демократическая республика. Это несомненно так, однако все же мы должны признать этот момент в революции особенно подчеркнутым, поскольку в ней он переживается в особо резкой форме. Народоуправство *in statu nascendi**, т. е. в революции, и в тех или иных установившихся уже формах имеет все же далеко не одинаковую психологию не только по остроте переживаний, но даже по существу, поскольку в установившихся формах событиями начинают управлять именно уже эти сложившиеся формы, создаваемые каждым участником, как уже некая непреодолимая для него внешность. Но именно в моменты ломки и кризисов стихия народовластия еще бесформенна. В силу этого инстинктам своеволия дается неосуществимый при всяких стойких формах простор. Именно во время революций обманчивый мираж личной автономии в деле общественного устройства для всех и каждого гораздо сильнее и соблазнительнее, чем ког-

да-либо. Этот соблазн своеволия с разительной быстротой и силой распространяется в революционных мятежах на миллионы душ, до того не помышлявших ни о каких своих правах или, во всяком случае, не сознававших их в себе в качестве реальной силы. Что сказать об этом моменте с религиозной точки зрения? Очевидно, что в нем именно мы имеем наиболее явное и резкое нарушение того высшего религиозного принципа жизни, который составляет основу религиозной жизни как индивидуальной, так и общественной, т. е. ее органическое единство. Революция есть по преимуществу власть множественности над государственным единством, в какой бы форме оно ни выражалось. В ней именно расплавляются те спайки, которые соединяли множественность элементов в стойкие формы государственности, и расплавляются не под влиянием каких-либо внешних формирующих сил, как это бывает в войнах, а именно под напором внутренних молекулярных сил общественного целого. Именно в эти моменты множество овладевает целым, заступая место его формального и реального единства. Это овладение целым множественностью составляющих его частей образует всегда уже некоторый, впоследствии неизгладимый, навык самовластия со стороны множественности. Несомненно, что это освобождение множественности от тяготевшей над нею в данный момент формы единства, формы, иногда искаженной, и в том или ином отношении ненормальной, может дать временный расцвет жизнедеятельности целого. Однако, вместе с этим расцветом в природе общественного организма внедряется уже неисцелимая склонность к новым овладениям целым со стороны множественности. Революция — это процесс, создающий неизбежность своих рецидивов. И каждый такой

* В предыдущих (4—6) номерах опубликована вступительная статья и статьи П. Струве, С. Франка, П. Новгородцева (прим. ред.)

* В стадии зарождения (лат. Прим. ред.)

рецидив является роковым приближением к последнему и непоправимому уже распаду целого на части, т. е. к смерти целого. Мы подчеркиваем, что этот своеобразный динамизм демократического принципа имеет преимущественное выражение и развитие именно в процессе революции и далеко не всегда — в стойких формах государственного народовластия. Эти стойкие формы всегда представляют в той или иной мере лишь обманчивый мираж демократического начала. Окристаллизовавшаяся государственность всегда налагает те или иные оковы на волю народа, как множественность волей, и незаметно для сознания народа, подчиняет его принципу целого и его живого единства. В свою очередь и это единство вовсе не должно непременно иметь свое эмпирическое выражение в лице монарха или того или иного диктатора. Оно может иметь свое осуществление в организации парламента, палаты, той или иной преобладающей партии, вообще в той или иной окристаллизовавшейся государственной конструкции. Динамика народовластия, как действительного овладения государственным целым и его жизнью со стороны составляющей это целое множественности, есть некоторое специфическое состояние как бы расплавленности всяческих конструкций, характеризующее именно революционные периоды в жизни народов. Мы утверждаем, что, по основному противоречию этой динамики с высшим религиозным принципом жизни, она всегда носит в себе начало смерти общественного целого. В эпохи революций над страной всегда носится призрак смерти, подобно тому, как это бывает в процессе всякой тяжелой болезни. Революция есть опаснейшая из болезней государственного и общечеловеческого целого. Точнее говоря, это даже не болезнь, а некоторая стадия в процессе многих общественных болезней, — именно та стадия, когда жизнь подавляется теми распадами и нарушениями физиологических отправления, которые уже грозят смертью. Однако, подобно тому, как тяжелые болезни зачастую преодолеваются и даже иногда ведут к тому или иному обновлению заболевшего организма, так и революционные процессы сменяются возрождением жизни. Собственно духовное обновление приносит всякая болезнь, хотя бы в самой примитивной форме, в виде того или иного диетического научения и устрашающего воздействия на человеческое благоразумие. Но вместе с тем революции, как и тяжелые болезни, несут свои уже неустрашимые последствия, и в них общественный организм делает всегда некоторый бесповоротный, хотя бы и может, внешне и незаметный шаг к своему последнему пределу. В сущности, история вполне подтверждает это на

примерах, из которых самыми поучительными являются крушения древних государственных организмов Греции и Рима. На демократии Афин это особенно ясно видно, в истории же Рима затушевано еще многими привходящими обстоятельствами и процессами.

Признавая динамику народовластия заключающей в себе начало разложения целого на свои составные элементы, мы тем самым закрепляем за этим процессом вполне определенный отрицательный религиозный смысл. И в данном случае теоретические соображения вполне подтверждаются самой жизнью. Религиозная и революционная настроенность представляют два психологических образования, весьма трудно друг с другом совместимые; всегда одно возрастает за счет другого. Революции готовятся и наступают обыкновенно на почве ослабления религиозного сознания. Это характерно как для древних, так и для новых исторических эпох. Религия всегда являлась силой, связующей государство со стороны его органического единства, в какой бы политической форме оно ни выражалось. И потому-то всякое революционное движение обыкновенно имеет перед собой, в качестве подготовительной фазы, тот или иной процесс увядания религии, иногда своего рода «век просвещения». Он был в Афинах в V веке, в Риме во II и I до Р. X. аналогично тому, как во Франции в XVIII.

Это противоположение религии и революции, имеющее силу в той или иной мере в отношении всех религий, является особенно подчеркнутым в отношении Христианства. В революции мы видим не только перестановку метафизических начал жизни — единства и множества — одно на место другого в порядке подчинения, но и весьма ярко выраженную психологию политического стяжения, относящегося не только к формальным правам власти, но и к реальным объектам материальной действительности. И опять-таки эта психология распространяется на массы, переходит от тысяч к миллионам. Могут ли быть в это время услышаны слова Христа о самоотречении? Вообще «христианская политика», как активное устроение государственности, имеет свой естественный предел, за которым неизбежно начинается антирелигиозный уклон воли. Таким пределом является роль как бы третьей судьбы. Христианская политика может быть лишь направлена на осуществление чужих, а не своих политических и социальных прав. Но всякого рода стяжание для себя уже несовместимо с Христианством. Конечно, и революция имеет свою направленность к сверхличным объективным целям. Но эта сверхличная психология в общем и целом лишь удел

немногих, массы же затрагиваются, зажигаются, именно в своих эгоистических инстинктах. Эволюционный порядок усовершенствования государственных форм поэтому именно более соответствует Христианству, что в нем метаморфозы этих форм происходят через центральные органы государственного организма без возбуждения к активному стяжанию народных масс. С другой стороны, и эволюционная политика может быть, конечно, глубоко антихристианской. Однако в ней все же массы народные находятся под охраной тех или иных скреп государственных форм. В этих формах может скрываться и развиваться та или иная болезнь общественного организма, но эта болезнь еще не овладевает всем телом. Именно революция есть как бы разлитие этой болезни на весь элементарный состав организма, своего рода горячее состояние, сопровождающееся потерей сознания и другими явлениями, угрожающими жизни. Вообще, если эволюцию и революцию сравнивать *ceteris paribus**, то мы можем сказать, что Христианство требует органического, а потому эволюционного развития жизненных форм. О Христианстве, как «революции», можно говорить только условно, обозначая этим термином лишь коренное преобразование и новизну религиозного творчества в застывшей и омертвевшей религиозной среде. «Революция» Христа и первоначальной Церкви и состояла, между прочим, в коренном отрицании всякого механически-правового стяжания мирских благ и в призыве к внутреннему органическому преобразованию мира. Конечно, и в этом преобразовании внутреннего строения души может быть своя резкость и внезапность. Но между этой резкостью религиозного обновления и государственным революциями такая же коренная разница, как между внезапным прорывом свежего ростка сквозь земной покров под влиянием лучей солнца и механическим срезом стальным лезвием живого побега, хотя бы искривленного и в том или ином отношении больного. Конечно, к этой принципиальной религиозной оценке революции мы должны присоединить и весьма существенные ограничительные дополнения. Нельзя не признать, что нормальная, с религиозной точки зрения, эволюция, конечно, невозможна в эмпирических условиях земного существования. Здесь на земле неизбежны всякого рода механические срезы и катастрофы. И несомненно, что и через них тоже происходит религиозное творчество и созревание. В этом смысле религиозное отрицание революций есть такая же практически бесплодная оценка, как и религиозное

* При прочих равных условиях (лат. *Primum* ред.)

отрицание войны. Но, признавая всю силу и своеобразную правду такого аргумента в смысле указания на эмпирическую неизбежность, мы все же утверждаем, что революция, как война внутригосударственная, имеет глубокое отличие от войн между отдельными государствами. Война внешняя, при всех разнообразных ее последствиях во внутренней жизни страны, вовсе не связана непременно с внутренними разрывами народно-государственного организма. Она никогда не бывает процессом, в такой мере дезорганизуящим общественное целое, как революция. В войнах организмы государственные имеют лишь ту или иную депрессию извне без всякого нарушения основного органического начала единства. Никогда русский народ не был так органично спаян, как в войну 1812 г., несмотря на то, что враг был в сердце государства. Мы не говорим уже о глубокой разнице в психологии внешних и внутренних войн. Внешние войны, основанные в общем и целом на воинской повинности, гораздо меньше имеют в своей психологии чувств вражды и ненависти, чем внутренние гражданские войны. Солдат, отбывающий воинскую повинность, посылая на вражеский фронт разрушительные снаряды, вполне способен в то же самое время воспринимать своих врагов, как товарищей по несчастью, и даже им сочувствовать. Эта психология сочувствия часто и обнаруживается на гуманном и сердечном отношении к пленным. Всему этому нет места в типичных гражданских войнах. Классовая вражда, борьба партий гораздо более совпадает с чувствами личной вражды и ненависти, чем всякого рода столкновения между государствами, где личный и общегосударственный интерес разобщены друг от друга множеством чрезвычайно сложных промежуточных отношений.

Но, конечно, неизбежно как-то религиозно принять и по-своему оправдать не только войну, но даже и революцию. Дезорганизуящие процессы так же необходимы в человеческой истории, уже неисцелимо отравленной стихией зла, как необходимы хирургические операции и вообще внешние способы воздействия на человеческий организм, уже пораженный теми или иными болезнями. Однако это приятие и оправдание с точки зрения неизбежности не должно нас обманывать относительно смысла совершающегося и его дальнейших последствий. Религиозно приходится принять и смерть. Однако мы все же понимаем, что именно смерть есть последний и самый роковой результат греха. Революция есть по существу предварение общественной смерти, лишь осложняемое последующим возрождением и обновлением. Возможность такого сочетания жизни и смерти в одном про-

цессе станет нам понятной, если мы поймем, что по замыслу своему революция есть все же стремление, утверждающее жизнь, именно попытка произвести некоторую жизненную метаморфозу, хотя и вопреки закону органического развития. Это есть некоторая безрелигиозная замена того, что в плане религиозном является преобразованием. Именно потому, что революция пытается произвести обновление форм общественности не изнутри через единство, а извне через посредство множественности, она и претерпевает более или менее далеко идущий процесс распада целого на свои составные части и элементы. Но этот распад, в силу присущего общественному телу инстинкта жизни, вызывает реакцию собирания множественности в то или иное органическое целое, чтобы избежать гибели. Таким образом, к революции, как к процессу политической метаморфозы, присоединяются два производных и, по видимости, противоположных момента: распада или анархии и, во-вторых, момент стягивания или собирания. Но так как весь этот процесс протекает вопреки закону органической жизни, то и последний момент приводит лишь к ложным формам возрождения и обновления. Соединение в целое происходит уже не по заранее намеченному плану, а до известной степени случайно, чтобы только сохранить жизнь. Как и все в революции, он происходит не внутренне-свободно, а внешне-насильственно. Это насильственное стягивание, являясь как бы второй половиной революционного процесса, создает ту или иную форму государственного деспотизма. Революционизм, анархизм и деспотизм, это три порыва в жизни общественных организмов, которые при всем своем внешнем несходстве внутренне между собою связаны и непосредственно порождают друг друга. Революция есть порыв творчества целого, порыв положительный в своем созидательном замысле, однако ложно исходящий не от центра, а от периферической множественности и будничной ее хаотические силы. По происхождению своему этот порыв зарождается даже не в самой множественности, а в тех или иных промежуточных областях, иногда стоящих близко к центральному единству. Это, так сказать, возмущение вторичных единств целого против первичного, возмущение, поднятое, правда, во имя того же целого, лишь ложное по избранному им пути и средствам. В плане религиозной онтологии этому возмущению соответствует возмущение Люцифера против плана божественного миростроительства, желание направить его по-своему, присвоив себе значение центрального единства. Конечно, существенной разницей является здесь то, что в эмпирических земных усло-

виях этот замысел имеет свое оправдание в том зле, которое проникает все земные формы государственности. Земное люциферянство имеет, конечно, все основания желать лучшего, каких оснований не имел ближайший к Богу Ангел первозданного мира. Однако, это оправдание лишь относительное, поскольку зло мира сего, по закону Христа, преодолевается не внешним сопротивлением, не механическими средствами насилия, но лишь внутренним органическим замещением его силою добра. Но все же несомненно, что революционная идеология, рассматриваемая сама по себе, еще проникнута созданием целого и ради целого поднимает свое знамя. Однако для достижения своих целей она обращается к силам, в которых сознание целого слишком слабо. Она бросает свой мятежный призыв в темную среду, не желая считаться с тем, что на нее же потом эта среда и восстановит. В этой среде ее световая энергия может светиться лишь красным потухающим пламенем. И этот красный цвет Денницы есть не случайное ее знамя, но именно символ преодоления света тьмою. Свет, оторвавшийся от своего первоисточника и брошенный в поглощающую его темную среду, неизбежно потухает. Тьма его объемлет и восстановит на все и вся. Эта тьма есть черный цвет анархии, того порыва множественности, который не хочет знать никакого целого, никакого закона, созидающего органическую жизнь, и выражает лишь эгоистическую самость каждого элемента в отдельности. Если разгадка основных демонических начал зла Христианства и древнего Парсизма, предложенная Вяч. Ивановым в его глубокомысленной статье «Лики и личности России» (см. сборник «Родное и Вселенское», стр. 125), верна, то демон, одушевляющий это своеобразное царство тьмы, носит имя Аримана. Это царство с точки зрения принципа жизни есть уже агония, хотя и могущая быть долговременной. Она неизбежно вызывает обратный жизненный рефлекс, стремящийся сохранить жизнь, вновь построить и воссоздать разлагающееся целое. Однако, для воссоздания ее единственно правильным религиозным путем, т. е. посредством приятия организующих и пластических сил из центрального единства, уже нет возможности. Безрелигиозная и противорелигиозная психология уже атрофировала в элементах общественного целого те религиозные стремления, которые только и могли быть действенными факторами восстановления органического единства. Вместо любви, смирения, преумножения своей значимости в составе целого и самоотречения, люциферянская и аримановская психология воспитала в массах чувства классово-ненависти, самоуверенности, преувеличения своего значения, вооб-

ще психологию самоутверждения во всех отношениях. На такой почве невозможно органическое единство, возникающее из внутреннего тяготения каждого элемента к другим и к целому. И место органического единства заступает холодное рассудочное построение плана целого, которое приходится приводить в исполнение вопреки развившимся и укрепившимся инстинктам и тяготениям масс, — приходится создавать насильственно путем устрашения и различных средств принуждения. Но тогда и самый принцип органической формы получает ложный противоречивый характер, поскольку эта форма стремится спаять в одно целое то, что неудержимо распадается в разные стороны. Это мучительное для всех и каждого и все же сознаваемое, как жизненно неизбежное, насильственное и чисто-механическое стягивание общественно органического в целое осуществляется путем той или иной формы деспотизма. В деспотизме уже потухает революционное творчество, он уже не пытается строить лучшее по идеальным формам, но фиксирует те формы, которые нужны, чтобы только существовать. Это механическое делание жизни, являясь приостановкой надвигающейся черной смерти, не есть уже ни животворящий белый цвет целостной полноты общественно-религиозного сознания, ни мятежный красный цвет революции, ни черный цвет хаотической анархии. Это некоторая бесцветная бледная немочь, имеющая лишь внешнее подобие жизни. Это тот «конь блед», о котором говорит Апокалипсис.

В своих религиозных откровениях, слишком многозначительных, чтобы сетовать на временное невнимание к ним, А. Н. Шмидт истолковывает значение этих трех последних коней, как три кратких апокалиптических эпохи, мятежа (рыжий), ереси (черный) и безверия (бледный)¹. В этом истолковании есть своя рационализация, с которой наше рационалистическое понимание этих символов несколько не совпадает. Однако это несовпадение не имеет характера противоречия, поскольку и в том, и в другом случае имеются в виду лишь стороны одних и тех же, но лишь весьма сложных по своему составу событий. Самым многозначительным в истолкованиях А. Н. Шмидт, в деталях к тому же колеблющихся, является для нас не та или иная рационализация, могущая быть ошибочной или односторонней, но то, что она уловила внутренний мистический смысл этих образов, как последних потуг мирового зла, выливающегося в формы человеческой общечеловечности. Именно в ее истолкованиях вид-

на не одна лишь символическая значимость цветов апокалиптических коней. Эти цвета уже оправданы историей. Сама действительность дала уже разительное подтверждение ее пронизательности. Легко было в ее время говорить, что рыжим назван конь в Апокалипсисе «по красному знамени, которое уже теперь избрали подготавливающие его». Но при жизни А. Н. Шмидт ей еще не могло быть известно, что через 12 лет после ее смерти на улицах русских столиц появятся и черное знамя анархии, этой поистине своеобразной ереси, которая, будучи порождением красного коня, против него же и обратит свое оружие. Конечно, анархическое движение в России в качестве принципиальной социальной политики есть лишь слабый предвестник апокалиптического господства всадника черного коня. Однако, именно русская революция впервые и, так сказать, чувственно оправдала этот символ будущего, доставив анархическому движению еще небывалое в истории влияние и развернув даже его чувственный символ — черное знамя. После русской революции можно уже не сомневаться в том, что анархизму, как социальному учению, предстоит своя будущность, что в нем есть свой соблазн и своя неизбежность, еще не вполне созревшие ко времени русской революции. Этот соблазн обусловлен тем, что анархизм есть учение, наиболее пародирующее христианство и в порядке его гуманистических извращений наиболее напоминающее теплую беспечную интимность христианского идеала общечеловечности. Анархизм именно и предлагает жить, как живут птицы небесные, не заботясь о завтрашнем дне и не различая «моего» и «твоего». Но были ли в истории предвещения бледного коня и того его всадника, которому имя Смерть? Надо думать, что были, поскольку смерть не раз витала если не над человечеством, то над отдельными государствами. Однако, здесь мы имеем дело с чем-то скрытым за еще более туманными завесами. Сущность смерти — в застытии жизни и ее внутренних движений. Если революция и анархия есть состояния тяжелой болезни периода горячки и внутреннего хаотического брожения дезорганизованных элементов тела, то приближение смерти являет собою некоторое успокоение хаотического возбуждения элементарных сил. Эти силы уже истощаются перед смертью и как бы побеждаются какой-то предсмертной конвульсией жизни. Но это кратковременное водворение некоторого органического порядка есть в то же время бледное лицо смерти. Это некоторое спокойствие перед последним вздохом. Таким леденящим спокойствием и будет царство всадника на бледном коне. Можно думать, что некоторые предвещающие и

во всяком случае намекающие формы этого последнего апокалиптического периода, по существу сливающегося с царством Антихриста, были и в прошлом человеческой истории. Эти формы по преимуществу следует искать в следовавших за революционными движениями периодах политических реакций. В этих реакциях характерно именно это утомление и общее безверие, позволяющее принимать все и со всем мириться. В них духовная жизнь замирает, и остается лишь одна материальная внешность жизни. В истории, конечно, этот характер реакции осложняется новым возрождением, поскольку история человечества еще не знала полной смерти и всякий ее кризис разрешался в благоприятную сторону притоком свежих оживляющих сил. Царство всадника бледного коня наступит в своем полном и характерном обнаружении лишь тогда, когда этих оживляющих сил уже не будет. Однако все же с известным правом его исторические предвещения можно находить в древней истории Афин и Рима в кратковременной тирании 30-ти, в эпоху смерти Сократа, в деспотиях ставленников римских войск в I веке по Р. Х. Но, быть может, наиболее характерным выражением этих состояний приближения смерти был последний период французской революции, а также эпохи директории, консульства и даже Наполеона. В самом Наполеоне несомненно было нечто апокалиптическое и антихристово. И, быть может, более всего — его циничская утилизация христианства, как орудия его личной политической власти, при полном его безверии и даже внутренней противоположности христианству. В сущности, отделение Церкви от государства, введенное революцией, было менее опасной для христианства мерой, чем наполеоновский конкордат, по которому первому консулу, а потом императору, предоставлялось право назначать архиепископов и епископов, а учащимся в особом катехизисе внушалось, что «почитать императора и служить ему все равно, что почитать и служить самому Богу»². Уже на острове св. Елены Наполеон раскрывал свои планы, по которым фактическим руководителем и повелителем в области церковной жизни был бы он. «Я, — говорил Наполеон, — возвысил бы папу выше всякой меры, окружил бы его великолепием и почетом. Я устроил бы так, что ему нечего было бы сожалеть об утраченной светской власти, я сделал бы из него идола, и он оставался бы около меня, Париж стал бы столицей христианского мира, и я управлял бы религиозным миром так же, как и политическим»³. Все эти черты

¹ «Из рукописей А. Н. Шмидт», стр. 178—179.

² Кареев — «История Зап. Европы», т. IV, стр. 123.

³ Там же, стр. 124.

религиозной политики Наполеона являются чрезвычайно многозначительными, если принять во внимание, что Наполеон по существу мечтал о всемирной монархии и наполеону уже осуществил свою мечту, покорив почти всю Европу. Вообще, если Вл. Соловьев «угадал» Антихриста, то Наполеон гораздо более на него похож, чем какой-нибудь Робеспьер или кто-либо другой из породы «тигров» революции, открытых гонителей Церкви. Открытая вражда государства к Церкви скорее может служить к ее возрождению через мученичество. И именно предательское покровительство может водворить «мерзость запустения» на святом месте. Наполеону не удалось этого сделать. И дух антихристов в нем, конечно, еще не созрел. Вообще наполеоновский режим, заключая в себе внутренние последствия пережитого Францией смертельного недуга, в виде безверия и некоторой механичности государственной жизни, т. е. вея призраком бледной смерти, обнаружил также и явственные притоки свежих возрождающих сил. В результате и в нем прошлая история дает нам лишь некоторое приближенное подобие того, что ждет человечество у последнего предела. Человечество в целом не умирает, и в сущности нельзя даже говорить про умирание отдельных государств, поскольку государства никогда не обладали той законченностью и обособленностью организмов, которая позволяла бы говорить о их рождении и смерти. Являясь несомненно органическими образованиями, государства все же находились всегда в некоторой неразрывной и тоже органической связи между собою и всем человечеством. И эта связь была всегда исцеляющей для самых опасных моментов государственной жизни. Умирая в том или ином своем составе, государства в то же время непрерывно возрождались притоками свежих сил, приходящих извне. В этом отношении их скорее можно сравнить не с отдельными организмами, а с отдельными органами в составе организма, именуемого человечеством и, быть может, землей. Вообще, настаивая на законности и даже необходимости органического понимания общественной жизни, мы насколько не упускаем из виду всю приблизительность и осложненность возможных на почве этого понимания аналогий. Но эта приблизительность зависит не от неприменимости нашей точки зрения к рассматриваемым явлениям, а исключительно от того, что принцип органичности гораздо сложнее и разнообразнее в своих проявлениях, чем это можно видеть на малом клочке органической жизни, представляющем доступное опытное поле для человеческого наблюдения. И именно по отношению к истории человечества мы выходим из пределов привычных нам

форм и закономерностей низшей органической жизни и принуждены постигать высшую форму жизни, в которую мы сами входим в качестве составных элементов.

Рассматривая революцию, как болезненный процесс, мы вовсе не думаем возлагать на этот процесс всю ответственность в том, что человеческая история именно в революциях движется к своему концу. Как всякая тяжелая болезнь человеческого организма отчасти предвещает смерть и заранее знакомит с нею, так и революция, являясь наиболее опасными болезнями в жизни государств, включают в той или иной степени все основные симптомы смерти, которая, конечно, с религиозной точки зрения является наиболее полным обнаружением мирового зла. Но это наибольшее обнаружение злых дезорганизующих сил общественности в моменты революций имеет, конечно, свои порождающие причины в предшествующие эпохи, иногда по внешности вполне благополучные. И подобно тому как внешне и по своему самочувствию здоровый человек уже носит в себе неугрозимую болезнь, внешнее обнаружение которой сказывается не скоро, так и революции всегда зарождаются во внешнем спокойствии и благополучии предшествующих эпох. И, быть может, на этих-то эпохах и лежит наибольшая морально-религиозная ответственность за последующее зло, имеющее в них свои корни. К этому вопросу мы возвратимся, когда будем рассматривать специально русскую революцию, являющуюся как раз в этом отношении особенно показательной, т. е. зародившейся задолго до ее внешнего обнаружения. Но прежде мы подчеркнем еще один, быть может, религиозно наиболее положительный момент во всякой революции. Являясь наиболее плодоносящей в отношении зла и обнаруживая его в явных, и, так сказать, созревших формах, она тем самым служит и добру. Именно в ней плоды зла, так сказать, спадают с породившего их организма, а главное — ясно обнаруживают свою природу. Поскольку революции являются именно опасными болезнями, а не окончательной смертью, поскольку они до сих пор находили свое исцеление, они именно и имеют этот двойственный характер: с одной стороны, наиболее полного и яркого обнаружения зла, с другой стороны, наиболее радикального от него освобождения. Однако, эта двойственность совершается, так сказать, не в одном месте. Зло и добро имеют в революциях свои разные фокусы и центры притяжения. Именно революции способствуют разделению добра и зла, выявляя и то и другое в наиболее яркой форме. И, как процессы очищения добра от выявившегося зла, они и с религиозной точки имеют

некую печать благодетельности и в сущности наиболее реализуют религиозный смысл истории, состоящий именно в разделении добра и зла в их созревших формах. Христианству нечего бояться смерти, как индивидуальной, так и общечеловеческой, так как в смерти погибает лишь то, чему и надлежит погибать, т. е. злые начала жизни. Но верная Христу часть человечества в революциях, как в грозе, лишь очищается и просветляется. И как пришествие Антихриста в силе знаменует собою и близкое торжество Христа, так и все взрывы злых сил в процессе революции являются провозвестниками новых религиозных подъемов и, быть может, даже преобразований.

II. Душа русского народа.

Пишущему эти строки задолго до русской революции пришлось вести беседу с одним из своих друзей, ярким ненавистником старого строя, о возможности революции в России. Мой собеседник настаивал, что революция в России возможна и необходима и что, конечно, по своему течению она не будет представлять ничего особенно устрашающего. «Вот даже турки отлично все это проделали, так просто и легко, — говорил мой собеседник, — отчего же и нам не скинуть с себя всю эту шапку негодяев, называемую русским правительством». Я утверждал обратное, а именно весьма малую вероятность революции в России. В случае же, если она произойдет, то, предостерегал я моего друга-оптимиста, она разыграется в масштабах и формах, напоминающих французскую революцию и даже, наверное, превзойдет ее по силе революционного террора. Как на основании для своего последнего предположения, я указывал своему собеседнику на слишком сложный и взаимопротиворечивый состав русского народа в смысле его идеологии и жизненных инстинктов и, главное, на типическую размахистость его воли. Мой друг оказался правым в первом, а я во втором. Вопреки моим предположениям, русская революция все же совершилась. Но она совершается в формах и размерах, даже и теперь во многих отношениях превосходящих по своему размаху великую французскую революцию.

Русская душа, как и всякая, трехчлестна и имеет лишь своеобразное сочетание своих трех основных частей. В составе же всякой души есть начало святое, специфически человеческое и звериное. Быть может, наибольшее своеобразие русской души заключается, на мой взгляд, в том, что среднее специфически человеческое начало является в ней несоразмерно слабым по сравнению с национальной психологией других народов.

В русском человеке, как типе, наиболее сильными являются начала святое и звериное. Этот своеобразный душевный симбиоз может показаться странным. Однако, на наш взгляд, именно такое сочетание является наиболее естественным. Ангельская природа, поскольку она мыслится прошедшей мимо познания добра и зла и сохранившей в себе первобытную невинность, во многом гораздо ближе и родственнее природе зверя, чем человека. Правда, святость есть нечто иное, чем ангелоподобность. Но и она ей все же близка и возникает в преодолении специфически человеческой духовной культуры. Конечно, это сближение имеет силу, если в звериной природе иметь в виду, кроме начал ярости и лютости, также и начала мягкости, кротости и добродушия. Русская душа в этом отношении включает в себя все богатства этой природы. Любость и добродушие, тихость и беспокойство, — словом, все то, что обособленно и раздробленно сквозит в звериных обликах волка и зайца, лисицы и медведя, заключено в русской душе в сложных и подчас неожиданных сочетаниях. Этот своеобразный зверинец русской души в достаточной мере ярко и художественно правдиво представлен нашими бытописателями: Гоголем, Островским, Лесковым, чтобы его нужно было подтверждать и иллюстрировать теми или иными примерами. Разве Собакевич не медведь, Коробочка не овца и Петух не добродушный боров, как-то странно очеловечившиеся и сохранившие в человеческом облике добрую половину своей как телесной, так и духовной природы. И где, кроме как в России, возможны и так символичны такие наименования людей, как Кит Китыч? Столь же ярко выражена и высшая часть русской души. История России и литература дают нам такие же многообразные примеры святости, как в специфической области церковной жизни, так и в формах духовной высоты и чистоты в общих жизненных отношениях. Но как бледно выражен в русской истории и литературе «человек» как таковой. Три-четыре типа и даже не типа, а все же до известной степени искусственно созданных фигуры вроде Чацкого, Рудина. И это не потому, что мы запоздали в культуре и что тип гуманиста — а в нем-то и выражено начало человечности по преимуществу — есть уже тип культурного человека. Нет, мы скажем обратное, не гуманизм у нас запоздал от запоздания культуры, а культуры у нас не было, и нет от слабости гуманистического начала. Гуманизм — это независимая от религии наука, этика, искусство, общественность и техника. Это есть то, чем человек отличается от зверя. Но именно русский человек, сочетавший в себе зверя и

святого по преимуществу, никогда не преуспевал в этом среднем и был гуманистически некультурен на всех ступенях своего развития. Нельзя не коснуться еще и другого своеобразия русской души. Революция по первоначальному своему стимулу есть порождение некоторого этического пафоса. Но нельзя не признать, что этого пафоса в русской душе в общем и целом никогда не было. Вообще этический уровень русской души не высок. Недаром поэт-славянофил, от которого скорее всего можно было бы ждать идеализации русского народа, произнес о России весьма суровые осуждения, суммирующиеся признанием, что она «в всякой мерзости полна». И, как своеобразно в русской душе святое сочеталось со звериным, так же своеобразно оно сочеталось и с греховным, с некоторым неискоренимым злом душевно-материальной оболочки. Это своеобразное сочетание святого с греховным уясняется через понимание того, что между добром и злом могут существовать не только внешние механические связи, когда, например, злое начало пользуется доброй внешностью, как своей маской, но и своеобразные органические сращения. Иногда даже особым видам добра в душевной организации соответствуют определенные виды зла. Как благоуханность некоторых цветов связана с ядовитостью, красота трав — с непригодностью служить пищей животным и, напротив, полезность с невзрачностью, так и в мире духовном — в человеческой душе — бывает особая благоуханность порочных душ, пошлая приниженность добродетели и тому подобные странные сочетания. И это не простые случайные ассоциации. Именно на определенных видах зла и душевного распада наиболее успешно развиваются и пышно расцветают, как бы в унавоженной почве, превысшие и редкие душевные ценности. Если обратиться к типичному в этой области, то таковым нельзя не признать особую связь религиозных талантов с анти-гуманистическими наклонностями. Эта связь характерна именно для средних уровней. И она несомненно органична именно в том смысле, что гуманистичность отражает человеческий интерес от неба. Она слишком обнадеживает землей и, даже в самых отчаянных положениях, верой в человека поддерживает устремление все же лишь к земле и к осуществимым лишь через человека идеалам. Напротив, на почве безверия в человека, известной мизантропии, а в результате даже холодности и безнравственности в отношении человека, а, следовательно, и эгоизма, зачастую прочно теплится вера и любовь к горнему, правда, чаще всего обращенная к нему через осязаемые и чувственно конкретные формы культа. Так русская церковность ти-

пично срасталась с кудачеством и вообще всем гуманистически диким бытом. Это срастание греха с благочиствием хорошо изобразил Блок в следующих многозначительных строках:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад,

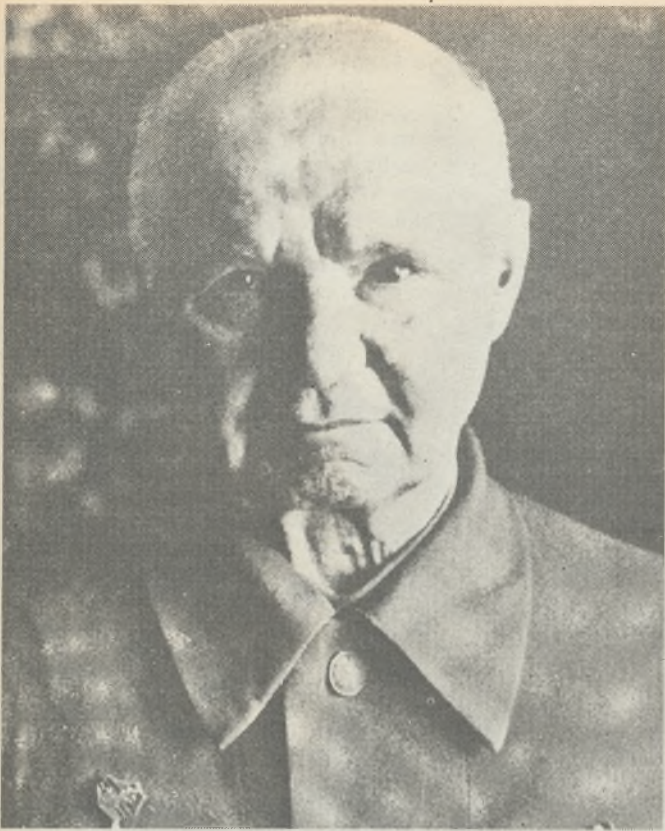
А воротясь домой обмерить
На тот же грош кого-нибудь
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет,
Потом переслунить купоны,
Пузатый отворить комод,

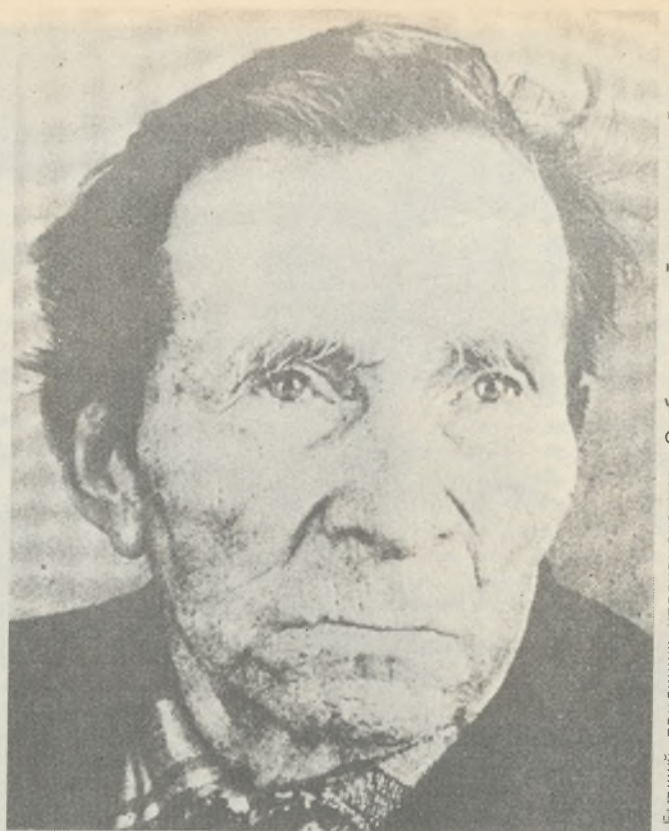
И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне... —
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Почему и такая Россия оказалась для поэта дороже всех краев? Вероятно, потому, что он интуитивно понял, что с этой пьяной икотой как-то неразрывно сочетались — пусть не в одном и том же человеке, а быть может, в других, ему близких — какие-то нигде не встречаемые духовные ценности и красоты. Полярную противоположность такого рода сочетаниям составляют люди, иногда глубокие гуманисты, искренно отзывчивые и самоотверженные, но все же в этих своих качествах до противности пошлые в восприятии и оценках жизни, глухие к ее духовным красотам, не замечающие никаких высот и глубин, живущие вечно на плоскости благ культуры в смысле науки, техники и общественного благоустройства. Для средних уровней это процветание определенных ценностей на почве вполне определенных же недостатков и обратно прямо-таки даже характерно. Но как будто того же нельзя сказать про высокие образцы добра и зла. И прежде всего святые обнаруживают на себе единство и букет религиозных и моральных достижений. По крайней мере в сфере индивидуальных личных отношений типичная святость вне всякой опозоренности. Но общественно и святые могут принадлежать к «партии», гуманистически неправой. И здесь та же органическая связь добра и зла выступает лишь в иной области отношений, — отношений сверхличных.

(Окончание следует) Ю. КОКОШИН



Бывший осведомитель, солдат карательной дивизии ОГПУ, кадровик, уголовный преступник, пенсионер Иван Потупчик. Магнитогорск, 1981.



Бывший помощник уполномоченного Особого отдела Тавдинского райаппарата ОГПУ по Уралу персональный пенсионер Спиридон Карташов. Ирбит, 1982.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

КТО ЖЕ УБИЙЦА?

Проводя наше частное расследование, мы то и дело натыкались на препятствие, затрудняющее поиск: следствием и показательным процессом занимались чекисты, но ни на процессе, ни в печати в связи с убийством детей Морозовых ОГПУ вообще не упоминалось. Кем, как и где проводилось следствие — об этом зрители и читатели могли лишь догадываться. Любопытно, что именно эта, действующая тайно организация стремилась сделать процесс как можно более шумным.

Когда ОГПУ начало расследовать убийство? Из специальной записки по вопросу террора, находящейся в секретном деле № 374, видно, что РУП (районный уполномоченный) ОГПУ Быков «от милиции забрал дело к себе» и начал допросы деда и Данилы 16 сент. 1932 года, то есть через десять дней после того, как были обнаружены трупы детей. А 17 сентября Быков уже отправил

спецкурьера в Свердловск с рапортом, что райаппарат готовит процесс.

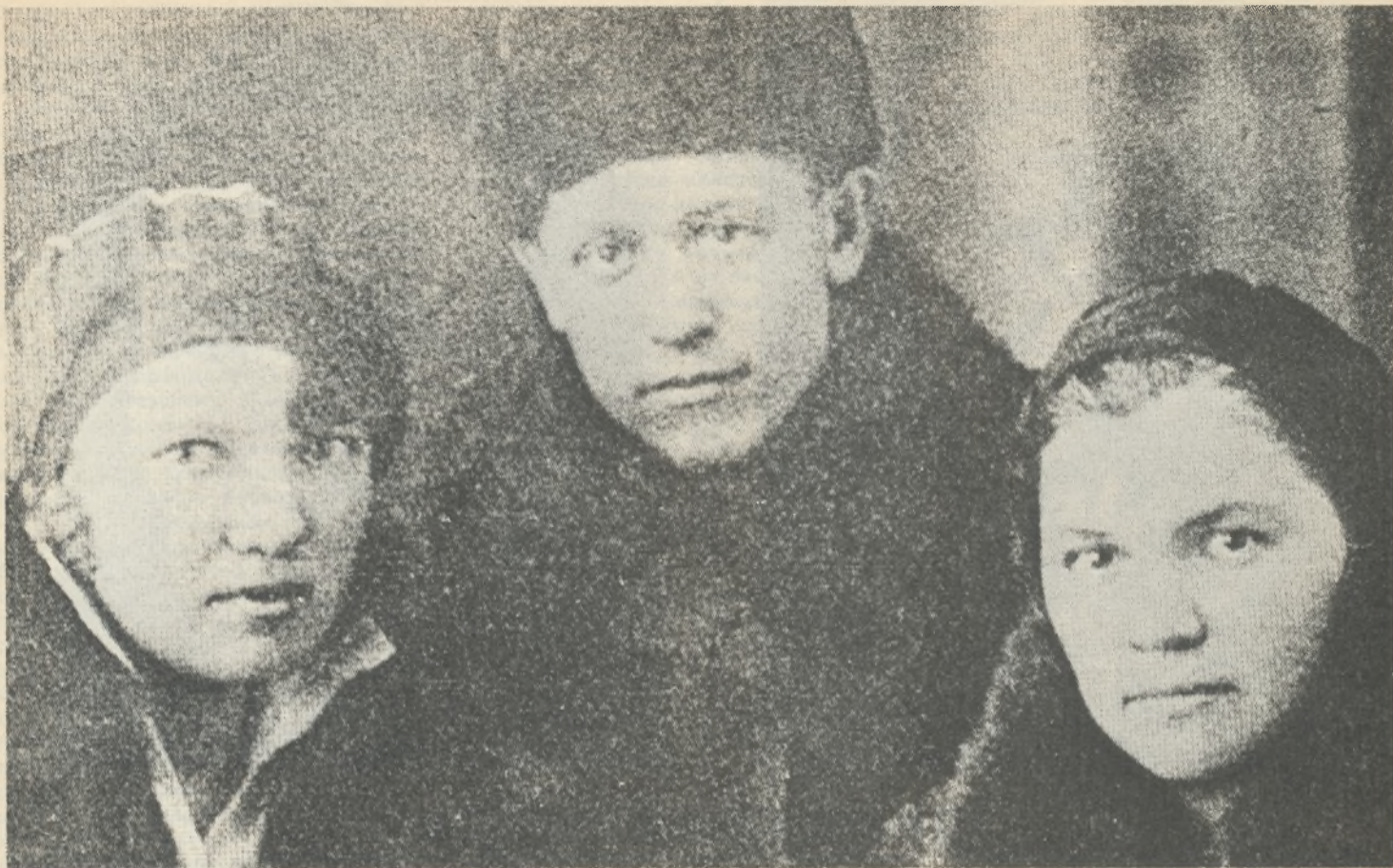
Быков не точен. Его подчиненный, помощник уполномоченного особого отдела Карташов, как видно из другого постановления, забрал дело в ОГПУ 13 сентября. Но и Карташов составил постановление позже, чем принялся за работу. Еще 12 сентября Карташов провел в деревне Герасимовка собрание, выступил на нем и отправил своему начальнику Быкову «Протокол № 4». Текст гласит, что «убийство братьев Морозовых происходило по ранее намеченному плану группой чуждого элемента (кулачества и их подпевал)» и что «группа людей свой план ранее намеченный ударом ножом по несколько раз обоим братьям Морозовым привела в действительность». Собрание просит пролетарский суд выехать на место и эту группу чуждого элемента «привлечь к высшей мере социальной защиты — расстрелу». Одновременно неграмотные крестьяне, зная, что в деревне не было ни пионерии, ни комсомола, рапортуя наверх, что взамен выбывшего из рядов пионеров Павла записались в комсомол

Чухонцев и Юдов, а Иван Потупчик и четверо других (из двадцати двух присутствующих) вступили в колхоз. Под протоколом интересная подпись: «Копия верна: РУП ОГПУ Быков». А подлинник о своевременной организации колхоза отправлен наверх, где его ждут.

Значит, 12 сентября ОГПУ организовало колхоз, и Карташов выступил на собрании от имени общественности, требуя расстрела убийц. В постановлении он сформулировал все те политические фразы, которые войдут потом в обвинительное заключение и лексикон прессы на долгие годы. Но и это не все: первый допрос Татьяны Морозовой сам Быков провел накануне, 11 сентября.

Рассмотрим теперь загадочный документ, обнаруженный нами. Это «Протокол по делу №...». Номер дела не проставлен, поскольку оно еще формально не заведено. Но место для номера оставлено. Опрашивающий указывает свою фамилию и должность: «пом. уполномоченного Карташов». «Опрошенный в качестве свидетеля» — Потупчик Иван, «образование низшее, канд. ВКП(б)»,

(Продолжение. Начало в № 4.)



Корреспондент свердловской газеты «Всходы Коммуны» П. Соломеин с учительницами З. Кабиной (слева) и А. Григорьевой после суда в Герасимовке.

«отношение к подозреваемому или потерпевшему — посторонний». На самом деле опрошенный — внук Сергея Морозова и двоюродный брат Павлика Морозова.

В этом протоколе Иван Потупчик показал, что убийство было совершенно «с политической точки, так как Морозов Павел был пионером и активистом, часто выступал на общегородских собраниях и говорил за проводимые мероприятия Советской власти, а также говорил про Герасимовских кулаков...» Далее перечисляются героические поступки пионера-активиста, разоблачавшего антисоветски настроенных лиц.

Но самое странное — дата на секретном документе: 4 сентября 1932 года. Ведь жители деревни и милиция узнали об убийстве только 6-го! Выходит, два человека — помощник уполномоченного особого отдела ОГПУ Карташов и его осведомитель, двадцатилетний деревенский парень, только что вступивший в кандидаты партии Иван Потупчик — уже 4 сентября знают все подробности дела?! 4-го трупы еще лежат в лесу. Через

двое суток крестьяне будут искать, и Потупчик «случайно» обнаружит детей. «Я их первым нашел», — гордо расскажет нам Потупчик через полвека о своем героизме, не подозревая о том, что нам известен секретный документ. Ведь выходит, что

Потупчик знал, где искать! Крестьяне добиваются приезда следователя, а следователь уже находится в Герасимовке. За двое суток до нахождения трупов Карташов уже опросил свидетеля Потупчика, и бумага готова. Преступники в ней уже указаны. Убийцами названы те самые антисоветски настроенные лица, которых после расстреляют, но пока они сами еще не знают, что они убили двоих детей. Потупчик будет активно участвовать в арестах. В документе ни слова о том, когда и как совершено убийство, но уже утверждают, что оно политическое, классовое («по кулацкой агитации»). И заявлено, что убит пионер и активист, то есть представитель революционной организации, — все, что надо для показательного процесса.

На осведомителя Ивана Потупчика, милиционера Якова Титова и двух следователей ОГПУ Карташова и Быкова ложится тяжелое обвинение. Двоих из четырех нам удалось разыскать.

Итак, что известно об Иване Потупчике? «Иван пошел в школу уже взрослым, — вспоминает Королькова. — Ходил он в класс со мной и Павликом к учительнице Кабиной. А после на ней женился. Прожил с ней года два и бросил». В упомянутом протоколе допроса Потупчик назван «одиноким», значит женился он на

учительнице после убийства. «Ванька сам сроду досыта не едал дома, так ямы в чужих дворах разрывает», — говорил о нем его дед Сергей Морозов в книге Соломеина «Павка-коммунист». Учительница Кабина рассказывала нам: «Иван часто бывал в Тавде по делам, а в деревне следил за односельчанами. Он был здоровый, энергичный, в партию первым в деревне вступил, держал дома винтовку. Он любил по ночам поручения выполнять, в дома заходить: «Одевайся! Вези хлеб в Тавду!» Сонные мужики пугались, везли». Он грозил Арсению Кулуканову еще до ареста самолично отправить его в лагерь. В газете «Тавдинский рабочий» от 21 ноября 1932 года мы нашли два доноса на соседей. Один анонимный, за подписью «Знающий», другой за подписью Ивана Потупчика.

У Ивана были основания для злобы на деда. Устинья, мать Ивана, рассказывала Соломеину, что дед приходил и требовал от нее, чтобы внук прекратил доносы на соседей. Устинья пересказала этот разговор сыну. «А ему чего нужно? — закричал Ванька. — Могила ему нужна? Вырою. Знаю, что делаю. Никому не указывать!»

В квартире Ивана Потупчика, на центральном проспекте Ленина в Магнитогорске, где мы навестили его, на видном месте стоял портрет Сталина, который при нашем следующем

посещении был убран. Потупчик говорил медленно (перед этим у него был инсульт), жаловался на то, что случайные люди оттеснили истинных героев коллективизации. Подробности он рассказывал осторожно, пытаясь выяснить, что мы уже знаем. Впрочем, может, это нам только показалось, что он был настороже, так как наши подозрения зашли довольно далеко.

Потупчик охотно рассказал, что он с милиционером Титовым организовал поиски в лесу и трупы детей нашел первым именно он.

«Только места убийства, на которых сейчас стоят два обелиска — Павлику и Феде, — фальшивые. Действительное место происшествия — на километр глубже в лес. Там, в высокой траве, дед с Данилой их зарезали. А близко к деревне ни один убийца не стал бы убивать».

Мы спросили у него дату, когда были найдены убитые дети, а также дату, когда был составлен первый протокол. Потупчик был готов к ответу. «За пятьдесят лет многое позабылось, — сказал он, — числа в печати неточные. Детей убили третьего сентября, это правильно, а найдены они были сразу. Так что протоколы вполне могли быть составлены 4 сентября. Потом сюда прибыла следственная группа из Свердловска и сразу заявила: «Здесь был террор». Допрашивали полдеревни. Ну, я, конечно, участвовал, помогал. Взяли тех, на кого я указал. Никаких экспертиз не нужно было, и так ясно».

Потупчик рассказал, что его вскоре перевели из кандидатов в члены партии, а затем, сразу после суда, отправили служить в карательную дивизию ОГПУ. «За заслуги в области коллективизации», — добавил он.

Об Иване Потупчике много написано. Он был почетным гражданином Герасимовки, почетным пионером. Газеты называли его даже следователем, который раскрыл убийство Павлика Морозова. В 1961 году почетный пионер исчез с общественного горизонта. Он был осужден за изнасилование несовершеннолетней девочки. Вернулся он на свободу по амнистии, не отбыв срок полностью. После лагеря его опять хорошо устроили — на кадровую работу. Каждый, кто жил в СССР, знает, кто «занимается кадрами». Газеты снова начали писать о нем как о герое, но уголовный розыск вскоре информировал газеты, и Потупчика перестали упоминать. Следователь уголовного розыска города Магнитогорска Яковенко, у которого мы навели справки, хорошо знал Потупчика и сказал о нем: «Почетный пионер изнасиловал пионерку. Как правило, такие люди совершают преступления неоднократно, но не попадают». Мы уже заканчивали работу над книгой, когда узнали, что Иван Потупчик умер.

Остановимся на второй фигуре из

числа должностных лиц — на милиционере, а точнее, участком инспекторе Якове Титове. «Я, участковый инспектор 8-го участка Управления РК (рабоче-крестьянской. — Ю. Д.) милиции Титов, принимал протокол-заявление от гражданина Морозова Павла, за ложные показания предупрежден по ст. 95 УК 1932 г. 27 августа в 9 часов дня я, Морозов Павел, пришел к Морозову Сергею за своей седелкой, где меня Морозов Данила избил и говорил, что я тебя в лесу убью. Больше показать ничего не могу. Протокол со слов записан верно, прочитан мне вслух, в чем подписуюсь. — Морозов. Протокол принял участковый инспектор 8-го участка — Титов».

Это заявление имеется в деле № 374, но мать Павлика сначала утверждала, что он к милиционеру ходил, а потом — что не ходил. Титов знал, что он имеет дело с ОГПУ, и понимал, что в одно мгновение сам окажется на скамье подсудимых в числе тех, кто погубил Павлика, если не найдет виновных, и хотел застраховаться. (И правда, незадолго до показательного суда в газете «Уральский рабочий» репортер В. Мор писал: «То ли по политической близорукости, то ли по другим причинам, участковый милиционер не успел вмешаться в дело». Что это за «другие» причины? Халатность Якова Титова, нежелание заниматься этим «мокрым» делом или — его соучастие в убийстве подростка, не дающего жить деревне?

Милиционер сперва участвовал в расследовании дела, но был быстро отстранен. Потом его сделали свидетелем на суде. Затем суд решил привлечь Титова к уголовной ответственности за то, что он не защитил Павлика от кулаков. Причем ему инкриминировали не должностную халатность, а — политическую близорукость. Участковый Яков Титов был арестован вскоре после показательного процесса. Как сообщил нам Иван Потупчик, делом милиционера занимался помощник уполномоченного Особого отдела ОГПУ Карташов. «Карташов не любил Титова за то, что тот лез не в свое дело», — сказал Потупчик. Не исключено, добавим мы, что Титов что-то подозревал или знал об убийстве, и Карташов с ним считался. Титова судил военный трибунал Урала. Ему дали семь лет. Он отсидел, вернулся, жил в Тавде. Умер он задолго до нашего приезда. В убийстве детей Морозовых Титов соучастником не был.

Первые секретные документы следствия по делу об убийстве детей, как помнит читатель, подписаны работниками ОГПУ Карташовым и Быковым. Сколько мы ни искали в печати тех лет этих имен, встретить их не удалось. Никто из очевидцев, включая Ивана Потупчика, этих имен не называл. Однажды пожилая библиоте-

карша в Свердловске вынула из папки и протянула нам газетную вырезку, которую она хранила для очередной выставки, посвященной пионеру-герою. Под статьей «Песня о нем не умрет», опубликованной в газете «Восход» маленького уральского городка Ирбита, что неподалеку от Тавды, стояла подпись: «С. Карташов».

Через 31 год после убийства, 3 сентября 1963 года, следователь ОГПУ вдруг заговорил о себе в газете. Отбросим словесную шелуху о героедоносчике и отметим новые важные детали. Следователь сообщает, что Федор был убит обухом топора, а не ножом, что трупы «сложили рядом». Что нашел убитых детей Данила, который стал кричать, решив, что это снимет с него подозрения. А самое главное, в статье утверждалось, что Павлик с братом ушли в лес и были убиты не третьего сентября, как всегда считали, а на сутки раньше. Карташов — единственный человек, который назвал эту дату.

Почему же Карташов, тщательно избегавший славы, вдруг заговорил о своих заслугах, и не к круглой дате, а тридцать один год спустя? Решил, что дело за давностью лет списалось? Или хрущевская оттепель развязала язык? Сомнительно. Главным было то, что Карташову как раз исполнилось 60 лет и он пытался оформить персональную пенсию. Для этого давно выкинутому из секретных органов большому человеку надо было доказать свои выдающиеся заслуги перед партией, а документов у него на руках было мало. И расчет опытного чекиста оказался точным: персональную пенсию ему начислили.

В потоке юбилейных статей к 50-летию подвига героя-пионера имя Карташова появилось второй раз. Свердловский писатель Балашов в журнале «Уральский следопыт» назвал Спиридона Карташова старым чекистом, «кому мы обязаны тем, что дело об убийстве Павлика Морозова стало известно всей Советской России». В интервью впервые открыто говорится, что делом Морозова занимался ОГПУ. Карташов вспоминает, что он узнал об убийстве Морозова, когда находился в соседнем селе Городищи, выполняя другое задание. Поинтересовавшись, начал ли следствие Титов, и выяснив, что нет, он поехал в Герасимовку, арестовал всех, кого надо, и за ночь арестованные признались.

В 1982 году мы приехали к Спиридону Карташову в Ирбит. Сидя с нами в захлапленной и убогой комнате, напоминающей ночлежку, и вспоминая свою жизнь, персональную пенсию Карташов рассказывал: «У меня была ненависть, но убивать я сперва не умел, учился. В гражданскую войну я служил в ЧОНе (части особого назначения). Мы ловили в лесах дезертиров из Красной армии и расстреливали на месте. Раз поймали двух

белых офицеров, и после расстрела мне велели топтать их на лошади, чтобы проверить, мертвы ли они. Один был живой, и я его прикончил».

Одно время Карташов служил в Одессе в погранотряде и с группой чекистов задержал пароход с людьми, пытавшимися бежать от большевиков. Всех их построили на берегу моря и расстреляли. Потом наступила коллективизация, и Карташова, выросшего из солдата в помощника уполномоченного Особого отдела ОГПУ, прислали в Тавду. Ему давали разнарядку, сколько человек раскулачить. Карташов вспоминал, как он с солдатами карательного батальона сгонял под конвоем в церковь зажиточных крестьян со всего района. Оттуда без суда сразу отправляли в ссылку.

«Коллективизацию проводили всяко, — вспоминает он. — Бывало, сгонял единоличников в помещение, и кто не хочет вступать в колхоз, сидит на собрании под дулом моей винтовки до тех пор, пока не согласится». Карташов всегда носил два нагана: один в кобуре, другой, запасной, в сумке.

В 1932 году районный аппарат ОГПУ получил секретный приказ выявить, кто в деревнях антисоветчики и кто выступает против колхоза. Возле их фамилий в списках ставили букву «Т» — террор. В Герасимовку Карташов стал часто ездить потому, что там никто не хотел вступать в колхоз. Осведомителями у него в этой деревне были Иван Потупчик и еще двое.

«Вечером 11 сентября (новая дата, а не 13-е, как в журнале «Уральский следопыт») я приехал в Герасимовку и остановился на квартире у Потупчика, — рассказывал Карташов. — Детей уже похоронили, и осталось привлечь убийц. Никого Потупчик сам не арестовывал. Он был у меня осведомителем. Он только нашел трупы. Лица, настроенные антисоветски, уже были в списках с буквой «Т», они и убили детей. Я их сразу арестовывал. На место убийства я не ходил, так как все было ясно. Никаких экспертиз не было. Преступники сознались — зачем же проверять?»

Карташов вызвал конвой из Тавды. Пришли пять солдат, и арестованных этапировали туда. «Конвоирование врагов советской власти на деревню подействовало хорошо, — сказал Карташов. — Тут же было организовано собрание, чтобы зачислить крестьян в колхоз».

Мы спросили помощника уполномоченного о его начальнике.

— Быков в Герасимовку вообще не приезжал, — ответил Карташов, — он руководил из района. Без меня с этим делом Быков бы не справился. А командовали нами из Свердловска и Нижнего Тагила. Быков потом еще недолго работал и исчез.

— Куда исчез?

— А куда все. Работа у нас такая.

И Спиридон Карташов показал нам приказ по ОГПУ о себе: ему объявлялась благодарность «за преданность, дисциплинированность и стойкость при исполнении служебных обязанностей».

Многое выветрилось из памяти Карташова за истекшие полвека. Простим помощнику уполномоченного районного ОГПУ его стремление все заслуги в расследовании убийства приписать себе. Авторы книг о Павлике Морозове его вообще не упоминали, работа Карташова в те годы была не из легких.

— Я подсчитал, — скромно сказал он, — мною лично застрелено тридцать семь человек, большое число отправил в лагеря. Я умею убивать людей так, что выстрела не слышно.

— Это как? — удивилась мы.

— Секрет такой: я заставляю открыть рот и стреляю вплотную. Меня только теплой кровью обдаёт, как одеколоном, а звука не слышно. Я умею это делать — убивать. Припадки были еще до войны, но я не придавал им значения. А в войну потом попал в госпиталь.

В медицинском заключении говорится, что Карташову в связи с эпилепсией противопоказано нервное перенапряжение.

Мы спросили о протоколе от 4 сентября.

— Не помню такого, — отвечал Карташов. — Это Потупчик врет. Я был в те дни в Тавде, с Быковым, в Герасимовку приехал 11 сентября.

Разговор наш закончился после полуночи, и Карташов, несмотря на возражения, заявил, что проводит меня до гостиницы. Он порылся в какой-то тряпке и сунул под пиджак за пояс солдатский клинок. «Немечкий, — сказал он, — сталь хорошая. А то у нас на улицах, бывает, балуются. Вы идите впереди, а я сзади». Мы молча шли в полной темноте минут двадцать. Спокойнее стало, когда показался фонарь возле гостиницы. Через лестничный пролет я увидел, как Карташов подошел к дежурной гостиницы и что-то записал на клочке бумаги, наверное, сведения обо мне. Когда мы заканчивали книгу, пришло письмо о том, что Карташов умер.

Вернемся еще раз к событиям в Герасимовке осенью 1932 года, когда теоретическая база террора против крестьян была узаконена. Политические убийства санкционировались сверху. «В борьбе против врагов Советской власти, — писала «Правда», — мы не останавливаемся перед зверством». За четыре месяца до убийства Морозовых в Москве было совершено покушение на немецкого посла. Покушавшиеся были задержаны ОГПУ, и было объявлено, что они дей-

ствовали по приказу Польши. На самом деле они были секретными сотрудниками ОГПУ, и это была инсценировка для разжигания конфликта между Германией и Польшей. Таким же методом, то есть убийцей, направленным ОГПУ, позже был убит лидер партии Киров. Аналогий слишком много, чтобы их перечислить.

За десять дней до убийства Павлика и Феди вышло постановление советского правительства, разрешающее расправляться с кулаками, подкулачниками и спекулянтами на месте, без суда и без права амнистии. Обжалование беззакония запрещалось, на местах узаконивался произвол ОГПУ. Для показательного процесса на Урале требовалось показательное убийство. А в Герасимовке, где районному аппарату Секретно-политического отдела надо было организовать процесс, уголовного дела не произошло. Крестьяне были мирными, убивать друг друга не хотели, и им надо было помочь.

Попытаемся представить себе, как было осуществлено убийство.

Следствие, пресса и суд немало потрудились, чтобы способ убийства (один нож, два ножа, палкой, обухом топора и т. д.) и количество убийц остались невыясненными. Криминалисты и патологоанатомы (сегодня мы еще не можем назвать их имен), которых мы ознакомили со всеми имеющимися в нашем распоряжении материалами, утверждают, что непосредственный убийца, судя по ряду прямых и косвенных улик (способ убийства, действия после преступления и пр.), был один. Факт тем более весомый, что он противоречит всей логике следствия, стремившегося сделать виновными группу лиц. Вопрос в том, кто был этот один.

Итак, из Тавды в Герасимовку для выполнения специального задания направляется должностное лицо Особого отдела, которое для простоты мы будем именовать «исполнителем». Чтобы в Герасимовке его не видели, исполнитель останавливается в соседнем селе, в часе езды верхом, под предлогом расследования там уголовного преступления (которым он не занимается). Хотя исполнителю в принципе известно, что по будущему процессу пройдет семья Морозовых (спецзаписка по вопросу «террора»: «перечисленные неоднократно в рабочих сводках проходили как лица, настроенные антисоветски»), он собирает дополнительную информацию от осведомителей — сам или через подставное лицо. В частности, он узнает об угрозе деда Сергея внуку Пашке, который донес на отца, о том, что мать Пашки Татьяна просила Данилу зарезать ей теленка, мясо которого она повезла в Тавду, о том, что Пашка с братом ушли в лес на Круглый мошók (место за деревней, где много клюквы), где, возможно, заночуют.

¹ Цитируем по статье Евг. Замятина «Елизавета Английская» («Страна и мир» № 5, 1984).

Эти сведения были получены исполнителем 2 или 3 сентября. Кого убивать, исполнителю было в принципе все равно, лишь бы убийство было зверским. В тот день он отправился в лес, без особого труда разыскал детей и убил их, скорее всего, проколов их штыком винтовки, не слезая с лошади, чтобы не оставлять отпечатков подошв. Подбежавшего младшего мальчика исполнитель уложил ударом приклада, отсюда упоминавшийся след от удара на теле и рваные раны, по-видимому, от штыка.

Выждав время в соседнем селе, 4 сентября исполнитель вызывает к себе осведомителя из Герасимовки и сообщает ему, что в ОГПУ поступили сведения о политическом убийстве в Герасимовке. Исполнитель и осведомитель отправляются на место убийства, где составляют «Протокол опроса по делу № . . .». Исполнитель приказывает осведомителю в силу важности преступления молчать о случившемся, пока не поступит особое распоряжение.

В течение последующих трех суток по тайге прошли дожди.

Теперь конкретные следы преступления смыло. 7 сентября Потупчик, получив указание, организовал шумные поиски детей, и крестьяне (их было, по разным оценкам, от семи до пятнадцати человек) обнаружили убитых мальчиков.

В деревне началась паника, всеобщий плач, вопли женщин, испугавшихся за собственных детей и готовых отдать хлеб и все что угодно, лишь бы их сохранить. Страх сковал округу. Распространили слух, что будут судить всю деревню целиком за то, что не вступают в колхоз.

Милиционер Титов составил полуграмотный «Протокол подъема трупов». Он и сельсовет пытаются вызвать следователя из Тавды, но оттуда поступает неожиданная команда захоронить убитых без формальностей. После этого в деревне открыто появляется исполнитель и совместно с Титовым и своим осведомителем проводит обыски у ничего не подозревающих Морозова, Силина и Кулуканова. Зоя Кабина вспоминала: «Никакого закона не было. Вошли в избу и сказали деду: «Давай ножик, которым убивал». И сами взяли его из-за иконы». Между тем нож для резки животных всегда там лежал, о чем внуку-осведомителю было известно, и Данила, зарезав теленка, положил нож на место. Позже в печати этот хозяйственный нож был превращен в финский, то есть профессиональное орудие убийства. В качестве улики при обыске забрали и одежду, которую Данила забрызгал кровью теленка, а бабушка не постирала. (К обвинительному заключению, составленному позже в ОГПУ, прикладывались нож, штаны и рубаха с пятнами крови, экспертизы которых не производилось.)

После арестов и оформления протоколов первых допросов миссия исполнителя в Герасимовке успешно завершилась, и «кулацкую террористическую банду» переместили в Тавду, где следствие взял в свои руки сам уполномоченный районного аппарата ОГПУ. В течение двух недель продолжалось полное молчание прессы по поводу случившегося в Герасимовке. Уральские газеты сообщали о расстрелах в Москве служащих за хищения, о том, что газета «Дейли Уоркер» обещает сделать Америку советской республикой, о подготовке рабочего класса всего мира к юбилею бунтовщика революции Максима Горького, о похищении партбилетов таких-то номеров, которые считаются недействительными, о полетах под куполом цирка акробатов Джиовани, и ни слова — об убийстве. Дело согласовывалось и увязывалось в инстанциях. Оно очищалось от ненужных улик, лишних свидетелей и подгонялось под заранее приготовленную для пропаганды форму: «Убийство пионера, представителя советской власти, кулаками и их агентурой».

Через две недели, как мы уже знаем, все обвиняемые «сознались», 17 сентября газета объявила, что следствие закончено. В этот же день районный уполномоченный Быков рапортовал в Свердловск начальнику Секретно-политического отдела ОГПУ по Уралу, что специальное задание выполнено.

Теперь Павлик Морозов заполняет собой все средства массовой информации. Начинается «показательное следствие». В Свердловске возмущены теми районными властями, которые «не приняли мер по организации политического протеста против вылазки классового врага», то есть попросту еще молчат. «Никакой пощады классовому врагу», — заявила «Пионерская правда» 2 октября и сразу сформулировала суть подвига и будущей приговор суда: «Активисты пионеры Павел и Федор вскрыли и разоблачили кулацкую шайку, которая проводила в сельсовете вредительскую работу».

Корреспонденты газеты работают «совместно со следственными органами», — информировала читателей «Пионерская правда» 15 октября, — и им удалось установить полную картину преступления». В действительности журналисты даже опередили не только следствие, но и суд. Они в своих статьях доказали вину всех, кто был арестован, не дожидаясь процесса, и требовали одного наказания для всех — расстрела. Вот названия статей в октябрьских номерах газет за 1932 год:

«Концентрационный лагерь — за спекуляцию»;

«Найти и судить виновных в утере тринадцати телят и одной коровы».

«Немедленно и сурово осудить расстратчиков»;

«10 лет лишения свободы за воровство колхозной собственности».

Газеты печатают списки приговоренных к расстрелу в разных районах страны. Началась «волна народного негодования». Уже печатаются не письма, но списки организаций, проведших митинги и единодушно требующих «высшей меры». Тысячи мальчиков и девочек, все как один, призывают власти расстрелять взрослых. Суд, назначенный на октябрь, откладывается, чтобы политическая кампания охватила всю страну. Наконец, 29 октября в газете «Колхозные ребята» обобщение: «Пионеры и школьники СССР требуют: расстрелять кулаков-убийц!»²

Суд несколько задержался из-за невероятной стойкости обвиняемых, которые упорно отказывались взять вину на себя. Но было бы наивностью полагать, что путаница, ложь и подтасовки — результат несерьезно проведенного следствия. Следы преступления умело ликвидировали с самого начала. Произвол демонстрировался преднамеренно, чтобы создать атмосферу беззащитности и страха. В основном, то есть в политических формулировках, никаких противоречий не было. Организация колхоза в Герасимовке, прием крестьян в партию (Потупчик был среди принятых), массовые собрания по всей стране с резолюциями, осуждающими обвиняемых, демонстрации — все говорит о том, что пропагандистская машина работала, как раскручивающийся маховик. Через три недели после процесса праздновался 15-летний юбилей ОГПУ — «недремлющего ока диктатуры пролетариата». Сталин торжественно приветствовал работников тайной полиции, назвав их «обнаженным мечом».

После процесса таинственно исчезли возможности дополнительного расследования убийства Павлика Морозова: сгорел дом, в котором он жил, в лагерях оказались отец Данилы, а также родственник матери Павлика Лазарь Байдаков. Осведомителя Ивана Потупчика и помощника уполномоченного Особого отдела Спиридона Карташова отправили в разные концы страны служить в карательных отрядах ОГПУ, занимавшихся жестоким подавлением недовольства.

Чистка коснулась и уральской партийной верхушки. Секретарь обкома Кабаков, руководитель террора на Урале и один из инициаторов создания показательного процесса о кулаках — убийцах Павлика Морозова, был арестован в 1937 году. Рядом

² В труде писателя Балашова о Павлике Морозове имеется поистине гамлетовская фраза уполномоченного ОГПУ подле трупов Павла и Федора: «Не бережем мы личностей при жизни». (В. Балашов. Костер рябиновый. 1969, с. 75.)

с его фамилией председатель Совета Народных Комиссаров Молотов поставил знак «ВМН», что означало «высшая мера наказания», то есть расстрел. Уральский город Надеждинск на реке Какве, переименованный в царствование Кабакова в Кабаковск, два года жил без названия. Потом город назвали по имени героя-летчика — Серов.

После смерти Сталина в Тавду поступило указание перенести могилу братьев Морозовых с кладбища под окна правления колхоза в Герасимовке. Вышедший на пенсию работник райисполкома, принимавший участие в перезахоронении, рассказал нам, что обычное для таких случаев торжественное перенесение праха героев на этот раз выглядело странно.

Операцию назначили секретно, на ночь, так как боялись волнений в округе. Сколотили один ящик, куда в свете автомобильных фар сотрудники КГБ лопатами побросали все найденное в старой могиле, где лежали два гроба. Скелеты рубили лопатами, и кости обоих детей перемешали в одном ящике. Переносили его в темноте, под усиленной охраной. Другой очевидец нам рассказал, что один череп потеряли, и школьники после играли им в футбол. Опущенные в новую глубокую яму, останки пионера-героя и его брата были залиты двухметровым слоем жидкого бетона, на котором поставили скульптуру мальчика в пионерском галстуке. Перенос останков таким способом был санкционирован теми, кто начал опасаться подлинного расследования дела. Теперь ревизия могилы невозможна.

Об изъятии или засекречивании дела Морозова в архивах мы уже говорили. Даже местные газеты с наиболее важными материалами, связанными с процессом, в библиотеках Москвы и на Урале отсутствуют. Достать их нам помогли наши добровольные помощники. С ними мы откровенно обсуждали, кто же все-таки совершил убийства в Герасимовке.

Как уже заметил читатель, в картине убийства, нами выше набросанной, реальные имена осведомителя, уполномоченного ОГПУ и исполнителя (то есть профессионального убийцы) опущены, хотя весьма прозрачно проглядываются. Опущены имена потому, что это лишь гипотеза, в которой есть значительный процент вероятности, но — не окончательный ответ. Для того, чтобы вписать имя убийцы, у нас недостаточно доказательств.

Потупчик и Карташов отрицательно отвечали на все вопросы, их компрометирующие. Титова и Быкова мы не застали в живых. Эти четверо унесли тайну в могилу. Не исключено, что все знал лишь один из них. Можем добавить то, что говорили нам некоторые свидетели. Учительница Позднина: «Карташов — страшный человек, а больше ничего не скажу». Врач

психиатрической больницы, в которой лежал Карташов: «Он на себя наговаривал, как он детей штыком колот и на лошади топтал». Но и это не доказательство.

Оставим окончательный приговор тем, кто сумеет раскопать дело об убийстве Павлика Морозова глубже нас. Наверняка ясно одно: кто бы ни был исполнителем, убийство либо совершено руками ОГПУ, либо им спровоцировано. Преступные действия ОГПУ остаются даже в том случае, если удастся доказать, что убийство двух мальчиков совершено родственниками из мести доносчику. Сотрудники тайной советской полиции сделали все, чтобы это убийство состоялось.

Пока мы не знаем всех секретных документов по делу об убийстве Павлика Морозова, не знаем и всех лиц, этим делом занимавшихся. Но, кроме упомянутых следователей, можем назвать еще пятерых организаторов дела № 374. Это уполномоченный второго отделения Секретно-политического отдела полномочного представительства ОГПУ по Уралу Шепелев, временный начальник того же отделения Воскресенский, начальник Секретно-политического отдела Прохоренко и заместитель начальника ОГПУ по Уралу Тучков. Их подписями скреплены итоги труда ОГПУ — обвинительное заключение по делу Морозовых. К ним нужно прибавить тогдашнего начальника Уральского ОГПУ Решетова. Все они в 30-х годах проживали в Свердловске и Нижнем Тагиле. Кто из них уцелел, мы не знаем. Это они — подлинные герои сложившейся системы, участники реальной, а не придуманной государственной террористической организации. Вряд ли их будут когда-нибудь живых или посмертно судить, но мир должен знать их имена.

МИФ: ОБРАЗЕЦ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Можно считать доказанным, что при жизни Павлика Морозова никто героем не считал. Ни слова о его подвигах написано не было. Никто за пределами деревни о его существовании не знал. Смерть его героической также никак не назовешь. Убийство было совершено не с целью сделать из мальчика мученика-героя, но для запугивания крестьян и ускорения коллективизации. Морозов стал героем потому, что такой герой понадобился. Аппарату пропаганды предстояло создать образец человека, наделенного нужными качествами, эталон, по которому можно оценивать пригодность людей и делить их на своих и врагов.

В тот самый день, когда в Тавде открылся показательный суд над убийцами Морозова, в Москве начался пленум Центрального комитета комсомола. На нем говорилось об идео-

логической подготовке юношества к служению партии, о воспитании преданности. Эту установку дал от имени Сталина выступивший на пленуме член Политбюро Павел Постышев. «Павлик должен быть ярким примером для всех детей Советского Союза», — заявил в докладе заместитель председателя Центрального бюро юных пионеров Василий Архипов, и «Пионерская правда» это опубликовала.

Имя Морозова зазвучало с трибун съездов и совещаний, ЦК комсомола разработал план пропаганды подвига Морозова. В декабре выходит специальный бюллетень ТАСС № 50 «всем комсомольским и пионерским газетам Союза». Сверху спущен приказ «обеспечить написание сценария для кинофильма и пьес для детских театров», издания книг и плакатов о пионере-герое Морозове. Все это означало, что простым усилием воли руководителей партии один из двух зарезанных в Герасимовке мальчиков воскрес из мертвых и начал свою новую жизнь.

«Пионерская правда» сообщила, что собраны десятки тысяч рублей на самолет «Павлик Морозов», предлагалось организовать сбор средств на постройку танка имени героя. Весь 1933 год в детской и юношеской прессе страны проходил не в борьбе с кулачеством (с ним было в основном покончено), но в воспитании преданности так называемого третьего поколения партийного руководства.

По Ленину следовало «строить коммунизм из массового человеческого материала, испорченного веками и тысячелетиями рабства». Ленин требовал переделывать этот испорченный человеческий материал. Этим испорченным материалом были те, кто мешали Сталину. Начал он с первого поколения старых большевиков, занимавших государственные посты. Второе поколение, воспитанное до революции, тоже несло груз отживших моральных принципов. У порога стояло третье поколение, родившееся в послереволюционные годы. Именно они, сверстники Павлика Морозова, и предназначались для того, чтобы выполнять любые указания вождя.

Старых моральных критериев эти молодые люди не знали. Они не имели возможности сравнивать и всегда были «за», готовые, как предлагала популярная песня тех лет, «петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». Пропагандистские формулы гипнотизировали: «Модель трактора мы заимствовали у Америки, — писал в «Комсомольской правде» Илья Эренбург. — Но наши трактористы — модели новых людей, которых не знает старый мир».

Заместитель наркома просвещения, вдова Ленина Надежда Крупская,

⁴ В. И. Ленин. ПСС. Изд. 5-е, т. 37, стр. 409

требовала «получить определенный тип человека».⁵ Нарком просвещения Анатолий Луначарский с трибуны Всероссийского съезда педагогов так разъяснял сущность задач большевистского воспитания: «Поскольку государство является военной диктатурой, в нем нельзя проводить гуманитарных начал, тех начал, которые являются основой нашей веры. Практиковать сейчас добро и человечность — предательство, нужно сначала с корнем вырвать врагов».⁶ Пропаганда ненависти, направленной на классовых врагов, на родственников и соседей, и обучение бдительности, то есть постоянной подозрительности ко всем людям, включая отца и мать, стали фундаментом этой новой системы воспитания.

За полгода до убийства Морозова, 13 февраля 1932 года, газета «Дружные ребята» вдруг решила изменить название. Приведем объяснение редакции: «Дружные — плохое название, — заявили ребята. — Ведь мы не дружим с кулаками». Через несколько дней газета вышла под названием «Колхозные ребята б. дружные». Согласно разъяснению заместителя председателя Центрального бюро юных пионеров Архипова в «Пионерской правде», основная задача пионерской организации — «воспитывать ненависть». Морозов стал образцом для воспитания ненависти к врагам партии. Первое художественное произведение о Морозове поэта Михаила Дорошина называлось «Поэма о ненависти». Новое поколение приучилось к тому, что оно живет в стране врагов, что дети должны с детского сада разоблачать троцкистов, кулаков и шпионов. И в наши дни, переиздавая книгу о Морозове, Соломеин называл первую главу весьма недвусмысленно: «Не всякий брат — брат».

Молодой лидер комсомола Александр Косарев говорил с трибуны: «У нас нет общечеловеческой морали. Мораль — классовая. Наша мораль — это та, что взрывает капитализм, уничтожает его остатки, укрепляет диктатуру пролетариата, двигает вперед строительство социализма» («Правда», 1 июля 1932 года). Создавалась кастовая модель взамен отмененной общечеловеческой. Этой новой моралью отменялись стыд, совесть, жалость, сострадание, великодушие, доброжелательность, сопереживание, терпимость — то есть оттенки, которые и составляют особенность человека, отличие его от зверя. Но зверь никогда не предаст, не донесет. Что же это тогда — новый человек?

Показательный процесс по делу об

убийстве Павлика Морозова освещался в газетах с частым использованием известного афоризма Максима Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают». Так имя Морозова с первых публикаций оказалось рядом с именем основоположника социалистического реализма, назначенного в начале 30-х годов главным инженером душ третьего поколения новых советских людей. В статье «О старом и новом человеке» Горький писал: «В Союзе Советов растет новый человек, и уже безошибочно можно определить его качество. Он обладает доверием к организующей силе разума (к диктатуре, по-видимому, Ю. Д.) — доверием, которое утрачено интеллигентами Европы, истощенными бесплодной работой примирения классовых противоречий».

Горький писал, что «масса все более героизируется». Его теорию надо было подкрепить практикой. «Пионерская правда» и другие газеты обращались с призывами к писателям показать пионера-героя Павлика Морозова. И Горький тоже обратил на мальчика внимание. Помог ему в этом молодой журналист из провинции Соломеин, которого мы многократно цитировали выше. Именно Соломеин создал первую версию мифа о Павлике Морозове.

В автобиографии, предоставленной нам его дочерью, Соломеин писал, что происходит из середняков, но его отец имел две лошади, а такие считались кулаками. Мать его потом вышла замуж за кулака. Отчим жестоко избивал Соломеина, а потом убил его мать. Соломеин бесприморничал, жил в детских колониях. Образование получил трехклассное. Он был учеником столяра, рабочим бойни и махорочной фабрики, копал каналы, работал рассыльным, пока в 30-м году не был послан как кандидат в члены партии в колхоз в числе двадцати пяти тысяч других таких же уполномоченных проводить коллективизацию. Это и было началом его партийно-литературной карьеры.

Он начал писать, и вскоре его взяли в редакцию свердловской газеты «Всходы коммуны», где он дорос до заместителя редактора. После этого Соломеин сменил не менее шестидцати должностей в местных газетах на Урале и умер от хронической болезни сердца в 1962 году. О мировоззрении Соломеина в какой-то мере можно судить по его сравнению капитализма и социализма: там бьют детей, а здесь бьют барабаны. Толчком к тому, чтобы сделаться писателем, Соломеину послужило специальное распоряжение Уральского обкома написать книгу о новом человеке — Павлике Морозове. Срок установили — десять дней.

В Герасимовку Соломеин приехал примерно через месяц после убийства. Он был не просто представителем газеты, но и уполномоченным

райкома партии по раскулачиванию. Его называют даже председателем колхоза в Герасимовке, но, хотя в музее висит его фотография с соответствующей подписью, это домысел. Собирая материал для книги, Соломеин не надеялся на память, благодаря чему мы получили тщательные записи всего, что он первым увидел в Герасимовке.

К несомненным достоинствам Соломеина следует отнести его неравнодушное отношение к жизни, трудолюбию и скромность. В отличие от большинства авторов, Соломеин добросовестно опрашивал людей. Но он был представителем органов пропаганды, имеющих определенную задачу. Честный интервьюер, он записывал подчас и то, что работало против героя. Партийный журналист, он рапортовал только о подвигах пионера-доносчика.

В воспоминаниях Соломеина, относящихся к жизни в Герасимовке, имеется второй герой-доносчик, и читать о нем не менее интересно, чем об официальном герое Павлике Морозове. Соломеин искренне рассказывает, как после смерти Павлика из-за отсутствия доносов стало трудно выполнять хлебозаготовки. Тогда он стал искать в деревне доносчика, который заменил бы Морозова. Васька Карлович был дурашковат и пьянчуга. «Только через неделю, после неоднократных разговоров, Васька согласился помочь сельскому совету найти кулацкий хлеб. По утрам приходил ко мне в квартиру или в сельсовет и рисовал в моем блокноте план с надписями: «Конюшня. Десять шагов по направлению к бане». Или: «Баня. Восемь шагов вправо, к большой сосне». Я перерисовывал эти планы своей рукой на маленьких листочках и передавал их членам комиссии сельсовета. Комиссии приходили во двор кулака, заглядывали во все уголки и в конце концов, как правило, «случайно обнаруживали» яму, наполненную хлебом. В красных обоях имени Павлика Морозова, которые мы направляли в Тавду один-два раза в неделю, было немало вожов, найденных в ямах».

Доносил Васька, простодушно объясняет Соломеин, не от любви к советской власти, а за бутылку водки. Соломеин скрывал имя личного соглядатая и говорил, что у него «сорок помощников-пионеров», то есть, вообще-то, подвергал детей риску разделить участь Морозова. Следом за конфискацией хлеба шли процессы, на которых общественным обвинителем выступал сам Соломеин, а каждый крестьянин, укравший хлеб, получал причитающиеся ему пять или десять лет лагерей. Соломеин ходил по деревне с пистолетом в кармане, а когда ему пригрозили, стрелял и ранил крестьянина. Он же арестовывал людей, которые заглядывали в окна сельсовета — по подозрению

⁵ Н. К. Крупская. Идеалы социалистического воспитания. Соч., т. 2, с. 83

⁶ Детская дефективность, преступность и беспризорность. Сборник. М., 1920, с. 11

в покушении на него, журналиста, а по совместительству — уполномоченного райкома.⁷

Как видим, первому биографу Павлика Морозова пришлось не только создавать светлый образ доносчика в литературе, но и самому заниматься доносительством, что он успешно совмещал. Однако с первой книгой Соломеину не повезло. Он написал «В кулацком гнезде» за двадцать дней и ночей и — за опоздание на десять дней — получил партийный выговор. Издавали книгу поспешно, о чем свидетельствует множество корректорских ошибок. Книга была быстро издана на других языках народов СССР. Отрывки из нее печатались в Париже, в журнале компартии «Мон Камрад». Соломеин послал книгу в дар вождю пролетарских писателей Горькому и еще нескольким писателям. Ответил ему только Горький, причем сразу.

Известно, что основоположник соцреализма охотно хвалил ничтожные и полуграмотные книги, если они принадлежали перу пролетарских авторов. Какой бы неумелой ни была книга «В кулацком гнезде», она, казалось бы, как нельзя более к стати иллюстрировала задачи, поставленные перед новой литературой и отвечала призывам самого Горького. И вдруг: «Плохая книжка; написана — неумело, поверхностно, непродуманно. Героический поступок пионера Павла Морозова, будучи рассказан более умело и с той силой, которая обнаружена Морозовым, — получил бы очень широкое социально-воспитательное значение в глазах пионеров. Многие из них, наверное, поняли бы, что если «кровный родственник является врагом народа, так он уже не родственник, а просто — враг, и нет больше никаких причин щадить его». Далее критика книги приобретает сатирический характер: «Читатель, прочитав ее, скажет: ну, это выдуманно, и — плохо выдуманно! Материал оригинальный и новый, умный — испорчен. Это все равно, как если б вы из куска золота сделали крючок на дверь курятника или построили бы курятник из кедра, который идет на обжимки карандашей».

Зубодробительный ответ корифея советской литературы, опубликованный много раз, закрыл Соломеину пути в издательства, заставил десятилетиями думать, как переписать книгу, чтобы герой «соответствовал». Переделать книгу Соломеину мешала катастрофическая безграмотность. Уже немолодым он делал упражнения по школьным учебникам русского языка, но издательства отвергали его рукопись из-за недостаточного коли-

чества запятых. Перед смертью с помощью журналистки-дочери и бойкого собрата по перу он снова переписал книгу. Освеженная легенда вышла под названием «Павка-коммунист».

Горький отчитал Соломеина за то, что тот не обобщил черт нового героя. А Соломеину мешало, что он слишком хорошо знал подлинные события и был неопытен в умении их извращать. Последующие авторы предпочитали поменьше соприкасаться с живыми фактами и просто конструировали образ Морозова, каким он должен быть. К этому с опозданием пришел и Соломеин.

Через месяц после письма Соломеину центральные газеты выходят со статьей Горького, в которой в совершенстве сделаны обобщения, оказавшиеся не под силу провинциальному журналисту. «Борьба с мелкими вредителями — сорняками и грызунами — научила ребят бороться и против крупных, двуногих. Здесь умелно напомнить подвиг пионера Павла Морозова, мальчика, который понял, что человек, — родной по крови, вполне может быть врагом по духу и что такого человека — нельзя щадить».

Устами Горького партия провозглашала, что главное теперь — выявлять двуногих вредителей, врагов по духу в среде своих родных и близких, а это значит, подозревать, следить и сообщать. Отныне главным героем Страны Советов провозглашался не маленький борец за коллективизацию, а — доносчик.

По странности человеческой судьбы статья Горького появилась как раз в то время, когда по Москве поползли слухи, что его сын Максим Пешков завербован и сообщает личному секретарю писателя чекисту Петру Крючкову, о чем отец беседует дома в отсутствие своего помощника. Об этих разговорах у Горького докладывалось главе ОГПУ (с 1934 года НКВД) Генриху Ягоде и лично Сталину. Чуть позже Максим, по официальным данным, был умерщвлен врагами партии. Два года спустя та же участь, если верить печати 30-х годов, постигла Горького, затем публично судили и расстреляли его секретаря Крючкова и Ягоду.

После статьи Горького миф обогащается: деревенского мальчика-доносчика газеты стали называть «непримиримым бойцом за дело рабочего класса». «Память о нем не должна исчезнуть, — заявил Горький, — этот маленький герой заслуживает монумента, и я уверен, что монумент будет поставлен». Уверенность Горького, полагаем, исходила не от него самого: не сам же он решил воздвигнуть монумент в центре Москвы. А уже начался сбор средств среди детей на постройку памятника Павлику Морозову. Рядом с Тверской, главной московской улицей, переименованной к этому времени в улицу Горь-

кого, в столице предстояло вознести фигуре пионера-доносчика, который оказался в центре внимания Первого съезда советских писателей, торжественно открывшегося в августе 1934 года.

Вопрос о Морозове возник сразу после приветствия, которое писатели направили Сталину. Горький обратил внимание писателей на то, что «рост нового человека особенно ярко заметен на детях». После содоклада Самуила Маршака о детской литературе совершился ритуал приветствия участников юными пионерами. Опубликованный стенографический отчет и газетные статьи сильно отличаются, поэтому сведем их здесь вместе.

От имени пионеров Сибири выступила пионерка Алла Каншина: «Алексей Максимович совершенно правильно сказал, что Павлику Морозову памятник нужно поставить. Нужно это сделать, и мы, пионеры, этого добьемся. Мы уверены, что вся страна нас поддержит. Павлик Морозов заслужил этого. Где еще в мире вы найдете, чтобы страна ставила памятники ребятам? Слышали мы, что где-то за границей есть один-единственный памятник: голый парнишка стоит около фонтана. Вот война была, и на него надели генеральский мундир. Что может сказать этот памятник? Ничего. А наш памятник будет звать всех нас, ребят, к героизму (аплодисменты). Товарищ съезд, организуем это дело! Поставим памятник! (продолжительные аплодисменты)». Как возникают подобные детские инициативы, читатель знает не хуже нас.

Согласно отчету в «Комсомольской правде», девочка заявила с трибуны: «А ведь у нас таких тысячи!» Далее газета пишет: «Тут же вносится предложение президиума немедленно организовать сбор средств на памятник отважному пионеру Павлу Морозову. Алексей Максимович берет стопку писчей бумаги и пишет: «На памятник пионеру-герою Павлу Морозову. М. Горький — 500 р.». Горького окружил весь президиум. Лист покрывается длинной вереницей фамилий».

В «Пионерской правде» дело описывается иначе. После обращения девочки не Горький, а Николай Тихонов «предлагает немедленно начать сбор средств... Максим Горький первым вносит 500 рублей, затем подписывается Демьян Бедный, персидский поэт Лахути, Тихонов и другие делегаты съезда». В заключительном слове Горький не забыл мальчика, усыновленного Союзом писателей, и опять просил правительство разрешить союзу литераторов поставить памятник герою-пионеру.

Основной задачей советской литературы с начала 30-х годов становится внедрение в сознание общества стереотипов поведения, требующихся власти в данный момент. Едва Павлик

⁷ Эти воспоминания Соломеина опубликовала газета «Тавдинская правда» 5 и 7 сент. 1967 года к очередному юбилею подвига П. Морозова

МЕНС

Там, за образом ствола,
За столетием макуши,
Света теплится смола,
Звезд засвечивая души.

Скрещиваются лучи:
Точка — кон, а крест — оконник.
Что зазидется в ночи:
Ромб, округность, треугольник!

Близь размоет штрих лица,
Даль развеет выраженьё;
Перед взором без конца —
Свёрнутое отраженьё.

Там, под видимой корой,
Точка форме не дается.
... Может быть, и не дырой —
Бабочкою обернется.

...

Случается, слово молчит.
Но радужки синяя кровь —
Росой, — где страдают ключи,
Рыхля камнезёма покров.

В молчании тёмном струясь,
Живому не слиться, пока,
Сметя наваждения грязь,
На сердце не ляжет рука.

И рук роковое кольцо
В орбиты всосёт роговиц.
Покатит земля колесом
Рассыпавшихся колесниц.

И семя отыщёт роса,
И солнце осой зазвенит,
Слетит. Поцелуев пыльца ...
Узлом — плодородия нить.

Не — слово, но — завязь — уже ...
Ещё не тоска, но — сосёт ...
И соки бегут по душе,
И полнится звуками рот.

Свернётся поблекшая синь,
Сгорев, распадётся кольцо.
Но, в ниточках нежных морщин,
Живое появится О.

На старинных голландских сухопутных картах
из Амстердама в Московию, дюнная дорога
от Кенигсберга до Либавы значится:
Белый путь в Ливу.

В белой жемчужной воде, в море купается август.
Небо над тихой землей старым плывет серебром.
Выпрыгнул в мягкий полет из танца наземного аист.
На Запад — белым потоком — дорога с поющим песком.

Как надо отыграна здесь уже половина трагедий.
И половину трагедий должно еще совершить.
Ветер ударил по крыльям старинных каменных
мельниц, —
Путник «взошел» на дорогу узоры истории вить.

Когда закричат в небесах над лесом последние птицы,
Когда на Святого Мартина гусь славу споет вертелам,
Алым ноябрьским утром, по снегу, странник из Ливы,
из троязыкой и белой в веселый войдет Амстердам.

Кошкой беспечной лежит меж морем и озером Лива.
Умной Тигрицей стоит на Прегеле город другой.
Меж саламандр-городов далеких дорог серпантины.
Прибрежный платок многоцветный помечен Литовской
корчмой.

Вандергезелле Крейцфельд!
В бархатной шапочке белой,
Красавец, иди погадаю,
неблизок еще рассвет.
По узкой ладони — ты мастер,
резчик и живописец,
смерть тебе в троязыкой,
заплачут мать и отец
в Любеке дальнем,
в Любеке вольном,
каменном и морском ...



КОРНИ

Русский бревенчатый северный дом.
Нерусский акцент любимого деда.
На мезонине с разбитым стеклом
Смуглая внучка читает с рассвета до послеобеда.
Рай золотящийся в корешках энциклопедии
энциклопедии братьев Гранат.

В окне аромат пролитого дождя
с огромного русского неба.
В немецком заброшенном парке липы и тополя,
чума маргариток,
гармошка «про удаль и небыль».

Где-то в зигзаге истории,
в спицах ее колеса,
где цветет, сумасшедше дурманя, лупинус,
девочка,
четырёхкровный мутант,
с удивленным лицом
и в грязи от проселочной глины.

ЗИНОВИЙ ЗИННИК

РУССКАЯ СЛУЖБА

«Грибоеда везут», вздохнула Циля Хароновна. «Это Пушкин, что ли, сказал? Как это звали, кстати, русского художника-анималиста, который ездил в Персию? У нас в петербургской гостиной висела его картина маслом. Покойный муж очень его любил. Анималист».

«Анималист? Может, Коровин?» предположил доктор.

«Коровин не ездил в Персию. И он не анималист. Он рисовал портрет девушки с персиком. А в Персию не ездил».

«Из ездивших в Персию я припоминаю только Верещагина. Он рисовал черепа. Горы человеческих черепов».

«Череп? значит, не анималист. Если черепа, то скорее канибал, а не анималист», зашла в тупик Циля Хароновна и вдруг вспомнила: «Мясоедов! Может, Мясоедов?» Но доктор тут же возразил, что Мясоедова Циля приплела только потому, что в его фамилии слово «мясо», от коров и овец, чем, собственно, и занимается анималист: животными. «Это все равно, что, вспоминая слово «гуманист», цепляться за слово «канибал», поскольку людоедство связано с человечеством и, следовательно, гуманизмом. Рука Москвы тоже связана, в таком случае, с гуманизмом: кто ее первый отъест?» отшучивался доктор, а Циля утверждала, что Мясоедов вспомнился ей только потому, что Иерарх заморочил ей голову голландцами, отрезавшими на продажу мясо с костей реформатора, а от малых этих голландцев и пошел разговор про художников; Наратор течение разговора не ухватывал, а про голландцев знал, что они делают голландский сыр.

«Когда в Москве на Мясницкой открыли памятник Грибоедову, на углу той же площади закрыли магазин под названием «Грибы и ягоды». Хороший был магазин», осмелился встрять Наратор. Сказал он это хоть и вслух, но как бы про себя, потому что привык, что на его слова никто внимания не обращает. Но тут произошло как раз обратное, в комнате установилась тишина, и доктор и хозяйка дома обернулись к нему в замешательстве, как пара влюбленных, обнаруживших на скамейке третьего лишнего. В оранжевом свете абажура с восковой яркостью застыли их лица — с поворотом мебели, кружевной скатерти с бахромой, слоников на комод, с вазой с печеньем и серебряными подстаканниками, как на старой пожелтевшей фотографии. Резко запахло валидолом, громче затикали часы с кукушкой, и все это место представало как хрестоматийное прошлое, глядящее на него застывшими безобидными манекенами — перенесенными сюда останками другой неведомой страны, той дореволюционной России, которой он не знал, о которой он знал только как о родимых пятнах капитализма, где низы не хотели, а верхи не могли. Но вот у этих манекенов вдруг шевельнулись зрачки в глазницах, и они взглянули на Наратора, как на единственного свидетеля того, что они все-таки не манекены; его присутствие среди них было доказательством того, что существовали те дни,

которые были все там, которые были их несуществующим настоящим, неосуществленным прошлым и несостоявшимся будущим; он был участником той жизни, без которой их жизнь здесь по-английски называется сплин. И они как будто проснулись от присутствия этого вахлака в матросском бушлате, мявшего в руках бескозырку.

«Позвольте, позвольте», снова зашевелился в своем танце по комнате Лидин. «Как же, как же! Грибы и ягоды, конечно, еще в свое время острили насчет, как же там, про Ягоду, этот чекист, не могу припомнить: Ягода, ягода, это все цветочки, как же там, ежи, Ежов и Ягода, так смешно увязывалось», и он замолчал. «Так вы из недавних дефекторов?», помялся он. «Я имею в виду, давно ли вы примкнули к русской общине, черт бы побрал эту общность, в изгнании?»

«Не община, а община. Кроме того, не из дефекторов, а из дефекторов. По современным законам русского языка: инженерá, слесаря, проводá, дефекторá; но я не дефектор. Это англицизм. Я невозвращенец», поправил его Наратор.

«Ну, вас-то там, в Совдепии, не по правилам ударения к расстрелу приговорили», нахохлился доктор Лидин. «Инженера человеческих душ! А в России вы чем же занимались? Тоже правилами ударений?»

«У себя на службе я отвечал за орфографию. Там за букву, а здесь за правильный звук», и Наратор громким тягучим голосом стал растолковывать насущную необходимость стандартов в произношении и произнесении русских слов в эфире. И как ему приходится втолковывать товарищам по службе, где работают с голоса, со словарем диктора в руках сугубую важность правильных ударений, а от него отмахиваются, посылают куда подальше, а в результате слушатель на далеком конце эфира за железным занавесом не может порой понять, о чем собственно идет речь, про замок или замо́к. Им бы, этим работникам голоса, того начальника из московского министерства, который швырял в морду докладом за одну орфографическую ошибку, хотя сам, заметьте, не слишком поднатерел в грамоте. Но грамоту уважал. А тут каждый сам себе начальник, вдаряет по слову, где бог на душу положит, на словарь диктора плюет и еще утверждает, что в его кругу все так говорили и были представителями культурной элиты, а советский словарь диктора они, мол, в гробу видели, как и Ленина в мавзолее. Но говорят ведь они не каким-нибудь языком, а именно советским, это значит человек самому себе в рот плюет и в гробу себя видал при таком отношении к словарям. Наратор забыл, что когда-то в Москве в этой неправильности и заключалась для него притягательность эфирных голосов.

«У вас типично конформистское отношение к языку», прервал его жалобы доктор. «Я за бардак в орфографии. Что же касается силлаботоники, ее все равно глушат».

«Это на вас, Лидин, глушилки не хватает», взвизгала Циля Хароновна, кремлевские слухачи, сказала она, как раз и боятся, чтобы население не восприняло сообщения Иновещания за советские, и поэтому заинтересованы в

неправильных ударениях, противоречащих законам советского диктора, чтобы слушатель за железным занавесом отнесся к сообщениям Иновещания с недоверием по причине их иностранщины и даже антирусской направленности. Бардак в орфографии всегда был связан с левачеством и кровопролитными революциями. И пусть доктор Лидин, хиромант и клинический демагог, с ней, дипломаткой Мариинской гимназии, не спорит. Она тоже изучала латинский. Эти французские революционеры, навывдумывавшие всякие брюмеры и мартобри, а за ними и советская власть потянулась со своим седьмым ноябрю по новому стилю. Да и этот хваленый остроумец, лоябый парадоксалист Иерарха, Бернард Шоу, тоже, по слухам, завещал все свое состояние, нажитое сомнительными шутками о социализме, на орфографическую реформу английского; этот язык, по его мнению, недемократичен, видите ли, английскому, видите ли, народу не нужно столько букв в алфавите: чтобы как пишется, так и слышится. Слыхали мы.

«Хрущев хотел, чтобы говно, извините, через «а» писалось», вставил Наратор.

«Сталин в языкознании тоже толк понимал», подхватила Циля Хароновна. «Все диктаторы на свете подстрекают рвение толпы к уравниловке. Каков был первый декрет Наркомпроса? Упразднить яти. Отменили яти, а что мы имеем? Кукиш, а не культуру. Кукиш без твердого знака и разумения. Кремлевским грамотеям не жалко алфавита: они ведь мычат», развивала свою секвенцию Циля Хароновна, уже вышагивая по комнате, как будто настигая ретировавшегося доктора Лидина. «Скоро дело дойдет до того, что советские навяжут Западу детант по разоружению алфавита: каждый год сокращать по одной букве — одну из английского, одну из русского алфавита, и советские, конечно же, останутся в выигрыше, потому что в русском алфавите 36 букв, а в английском всего 26». Но доктор Лидин сказал, что советское руководство на такое сокращение пойти не может: десять букв не хватит на всех членов политбюро. На что Циля Хароновна отпарировала, что культ личности в период диктатуры пролетариата нуждается всего в шести буквах: «Сталин» — так будут называть каждого последующего руководителя. Короче говоря, подвела итог Циля Хароновна, если бы не такие скромные блюстители орфографии и акцентуации, как наш молодой соотечественник Наратор, давно бы русская культура предала забвению и Грибоедова и Мясоедова. Неудивительно, что Наратора третировали и там и сям, на Иновещании, потому что рука Москвы уже давно пролезла и сюда и пытается устроить бардак в орфографии и наставить клякс в эфире. Пока все это выражается во вредной псевдошутильной атмосфере фамильярности по отношению к русскому языку, в мелких издевках и третировании ревнителей правильных ударений, но скоро от этих шуток станет жутко, и все мы залаем советским матом. «Ведь вас в этой стране из четырех букв преследовали, Наратор? У вас были столкновения с советской цензурой?»

С цензурой у Наратора столкновений не было, разве что лишили его однажды премиальных за неприличные выражения в присутствии женского состава общежития, где Наратор проживал от места работы, пока не получил государственной комнаты в коммуналке. Женский состав состоял из работниц швейной фабрики, и каждый вечер начинался в общежитии такой пошивочный конвейер их хахалей с токарного завода, что стены ходили ходуном и трудно было игнорировать грамматику женских взвизгов и мата по всему коридору, где на двадцать комнаток всего одна уборная. Когда же хахали отшивались, швейные работницы стучались в комнату к Наратору, не давая ему выспаться и избавить глаза от мельканья буквочек, проверенных за рабочий день. В конце концов Наратор не выдержал и однажды вышел в коридор на очередной стук прямо в кальсонах, гаркнув на ошалевших работниц пошивочного цеха: «Когда вы меня в покое оставите, инаугурантки!» И на следующий день весь женский состав общежития подписался под жалобой на Наратора по месту

работы за употребление неприличных слов. А что в этом слове неприличного — инаугурантки? Он «инаугурацию» вычитал из доклада, и она засела у него в голове, потому что правописание этого слова нельзя было проверить ни по одному словарю, пока, наконец, он не встретил его в газете «Правда» и все равно не понял, что же это делают с американским президентом заокеанские воротилы, когда над ним производят эту самую инаугурацию. Швейные работницы тоже не поняли, обиделись, а в результате жалобы по месту работы его лишили премиальных, хотя слово-то цензурное, если в газете «Правда» и докладе министру тоже без стеснения употребляют.

«Наша кухарка Даша в таких случаях говорила: если мужик не пьет, не курит, с бабами не гуляет — значит эгоист», отвернул доктор. «Вы, молодой человек, отделялись от коллектива в своих кальсонах, а своим словоупотреблением выпали из рамок советского языка, а все, что выпадает, — неприлично. Вот если бы сказали, скажем: «отъебитесь, пиздорванки злоебучие», извините, Циля, никто бы и не заметил. Не следовать советскому словарю — это и есть антисоветчина!» Но Циля Хароновна стала настаивать на том, что в обстановке, где к штыку приравняли перо, антисоветчиной может оказаться вот именно как раз дотошное следование словарю во имя отделения его от штыка и отстаивания классической традиции инаугурации, ненавистной революционным толпам, жертвой которых Наратор чуть не стал в этом самом общежитии, и кто знает, что может приключиться в ближайшем будущем, если он, Наратор, пытается, пытается предотвратить революционный бардак в ударениях на Иновещании.

«Сегодня к штыку приравняли перо, а завтра вместо пера пырнут в тебя отравленным зонтиком», твердила Циля Хароновна. «Вы что, не понимаете, Иерарх, что происходит? Про албанца забыли?»

История с албанцем из хорватской службы Иновещания прошла бы мимо Наратора, если бы албанец не погиб по причине контакта с зонтиком. Про этого албанца он мог вспомнить только, что тот работал влево по коридору и носил на голове феску, такой тюрбанчик ведерком по голове, и всегда суетился, как будто это было ведро с кипятком, которое ему на голову опрокинули. Впрочем, он путал албанцев с болгарами, и что в Албании турок много, а русских нет, или это, может, в Болгарии много албанцев и нет турок. Во всяком случае, в убийстве человека в феске обвиняли руку Москвы, поскольку ткнули его в спину зонтиком, а зонтик, соответственно, сжимала рука, которая, конечно же, рука Москвы: после вскрытия в спине обнаружили капсулу с ядом размером с блоху умельца Левши, патент на которую приписывают только советским органам. Сотрудники службы собирались кучками в коридорах и припоминали, как албанец явился на работу, ругая нахального типа в котелке, который на автобусной остановке ткнул ему в спину зонтиком, извинился с явно иностранным акцентом и укатил на подъехавшем к тротуару такси. Албанец в тот день потирал спину, ругал иностранцев и английские зонтики, говорил, что в Албании в это время года голубое небо и никакие зонтики не нужны, потом он упал в обморок и скончался в горячке за сутки. Одни не сомневались, что тут действует рука Москвы, в основном так считали болгары, поскольку они с Советским Союзом народы-побратимы, и после албанцев — за ними очередь. Другие же считают, что албанцы, они же бусурмане и немчура, и взяли китайскую линию, а может быть, во всем хорваты виноваты, которые друг у друга берут глаз на анализ. Наратор в этих разговорах не участвовал.

«Разве русский человек будет с зонтиком якшаться?», говорил доктор Лидин. «Русский человек или прямо нож под сердце, или горячим оружием пулю в затылок. Помните, Циля, как они разделились с Львом Борисычем».

«Что вы, Лидин, Троцкого забыть не можете. Я всегда подозревала, что вы левый уклонист. Но учтите, что с той поры наши любезные западные союзники снабдили



Рисунок ИНГРИДЫ ЗАБЕРЕ

чекистов самой совершенной техникой. С тех пор у них на вооружении химическое оружие. Или запустят в тебя луч на расстоянии, ничего не заметишь, а придешь домой, у тебя опухоль мозга. Может, это не зонтик был, а лазер? Вы бы лучше непосредственного свидетеля послушали, ведь вы с албанцем бок о бок работали?», обратилась Циля к Наратору.

Но Наратор ничего толкового сказать не мог, и вообще в этой истории его интересовало только зонтик. Дело в том, что после убийства албанца на Иновещании усилили меры безопасности, и основной мерой стала проверка зонтиков у входа в здание, и проверенный зонтик вешался на крючок, и вовнутрь вносить его запрещалось. Крючков было много, и зонтиков оказалось не меньше, и трагические результаты всей этой албанской операции и пытался объяснить Наратор метавшейся по комнате бабочке доктора и оренбургскому платку машинистки. Как начальник службы выскочил, как обычно, впопыхах из кабинета, сделал Наратору очередное последнее предупреждение и, пробегая мимо крючков у портала со скульптурой музы красноречия, сорвал с крючка по ошибке юбилейный зонтик Наратора. Разве в веренице висящих, как черные сморчки, ничем не примечательных зонтиков, которые все как один разворачивались на улице черными поганками под проливным дождем, можно было различить надпись на ручке «от товарищей по службе — для борьбы с непогодами жизни?». На следующее утро Наратор стал рваться к начальнику, чтобы обменять обратно свой юбилейный зонтик на доставшийся ему начальствующий зонт с костяной ручкой в форме Спасской башни Кремля. Но выяснилось, что срочный «приватный митинг», на который опаздывал вчера начальник, затянулся допоздна, и, опаздывая обратно в Лондон на поезд, начальник впопыхах оставил в прихожей юбилейный зонтик Наратора и прихватил случайно зонтик хозяйки дома. Выслушав сантименты Наратора, начальник обещал сделать все возможное, чтобы разрешить эту двойную подмену ко всеобщему удовлетворению, но на быстрое разрешение конфликта предлагал не надеяться, поскольку «митинг» был черт знает где, в каком-то «сексе», то ли Сассексе, то ли Мидлсексе, а времени туда тащиться нет, потому что в эфире аврал. Более того, в один из дождливых понедельников Наратору было дано знать через секретаршу, чтобы зонтик начальника с костяной кремлевской башней Наратор вернул, а в обмен от непогод жизни получил зонтик той самой дамы, с которой у начальника по ночам были «приватные митинги». Циркулировали слухи, что супруга начальника была ультимативно против женских зонтиков в руках своего мужа. Так и достался Наратору дамский зонт оскорбительного розового цвета с непонятной надписью, хоть и по-русски: «Мне Голос был», гласила надпись, и дальше, наверное, имя владелицы зонта — Анна Ахматова, из-за которой, в конечном счете, подмена приняла такой фатальный характер. Конечно, иновещательный голос и албанец в феске тоже сыграли свою зловещую роль, но ведь правда и то, что в нашем деле бабы — бич божий. Недаром в ветреные ночи, когда пронизывающий норд закручивался сквозняком вокруг постели Наратора, этой одинокой раскладушки посреди британских островов, в его беспокойный сон стал вторгаться повторяющийся ночной кошмар. Этот кошмар врывался ураганом сквозь распахнувшееся окно, выхватывал его из-под одеяла, и Наратор всякий раз успевал ухватиться за розовый женский зонт, как за спасательный якорь. На этом зонте, с непонятной надписью про голос, несся Наратор над народами и государствами и через советские рубежи приземлялся прямо посреди грязно-желтых стен партийного собрания с обязательной явкой для беспартийных. Оказывался он стоящим перед зеленым столом президиума, потрепанный и мокрый от всех непогод жизни; зонтик никак не складывался, и с него с громким капаньем стекали воздушные воды на учрежденческий линолеум. Председательствующая за столом президиума проектировщица Зина вырывала у него из рук зонтик и, тыкая толстым пальцем на ручку

с надписью, вопила: «На кого променял товарищей по службе? Кому предпочел брак с советской проектировщицей? Анна Ахматова! Внутренней эмигрантке, у которой кроме голоса ни гроша за душой, а у меня бычки в томатном соусе. Член ты нетрудовой без зонта над головой!» И Наратор просыпался, покраснев от стыда.

«Немудрено. По-моему, это оскорбление памяти Анны Андреевны», прервал бессвязный рассказ Наратора доктор. «Объясните ему, Циля, что Ахматова не владелица зонтика, а национальная гордость русской словесности».

«Чего это вы вдруг, Лидин, за Россию стали беспокоиться? Вы бы Коран, что ли, изучили бы, про то, как муллы в Мекке, а русская словесность сама пальцем за себя почешется», обрезала его Циля Хароновна.

«Вы хотите сказать: ей палец в рот не клади?», переспросил доктор.

«Я с вами по-русски говорю, Лидин: чем, интересно, чешутся, как не пальцем?»

«Палец в рот не клади», упорствовал доктор. «Или, если хотите, пальцем не пошевелит».

«А как же там, в пословице, насчет «не почешется»? Без пальца, что ли? Глупости!»

«Кто из нас, интересно, за бардак в русском языке и, по-вашему, за диктатуру пролетариата, вы или я?! Пальцем за себя почешется? Неслыханно!», выходил из себя доктор.

«Не вам судить», ставила точку Циля Хароновна. «Вот сидит живой носитель языка. Продолжайте, Наратор».

«Где твой зонт, товарищ?», спрашивали товарищи в президиуме из кошмара, и Наратор каждое утро навевался к кабинету начальника, откуда его отшивала секретарша. Наконец Наратор подкараулил начальника в коридоре, и тот, загнанный в тупик, помялся, похлопал Наратора по плечу и сказал: «Вы, Наратор, лучше со своим зонтике забудьте. В Восточной Европе ваш зонт, а на слово Европа сами знаете, какая рифма». И объяснил, что хозяйка дома, у которой произошел злополучный обмен зонтиками, злополучно обменялась зонтиками по третьему кругу с еще одним визитером, а тот визитер работает не-будем-называть-где и увез зонтик в Чад.

«Чад?» переспросила Циля Хароновна.

«Государство Чад, в Африке», пояснил Наратор.

«Чего только в Африке не бывает! Но зачем же в Африке — зонтик?!» удивилась Циля Хароновна.

«Я сам сначала был будучи быть удивлен», сказал Наратор. Но начальник ему объяснил, что этот визитер использовал Чад как пересадочную станцию, видно, для прибытия в Москву обманным путем, как гражданин Третьего мира.

«В Москву?» переспросила Циля Хароновна.

«В Москву», подтвердил Наратор слова начальника.

«Вы хотите сказать, что ваш зонт попал в Москву?! Обратно?» не успокаивалась Циля.

«Через третий мир», кивнул головой Наратор и попытался объяснить, что сначала ему даже полегчало, что зонт обратно в Москве, потому что перестал его преследовать по ночам кошмар с президиумом, но, проспав без сновидений несколько суток, он вдруг стал ощущать потерю: он уже свыкся с этим кошмаром партийного собрания с проектировщицей Зиной в президиуме каждую ночь, как свыкся с холодом внутри, а не снаружи в дневное время, к штепселям, которые не вставляются в три дырки розетки, и к разделным крамам, где вода из одного обжигала кипятком, а из другого леденила душу. Этого кошмара ему стало не хватать, и как всякая потеря, даже если это и привычный кошмар, вызывала беспокойство, с позывом шарить руками в пустоте, как это случается со внезапно ослепшим. Даже правила орфографии перестали его интересовать, а вместе с ними и доказательства, где надо ударения ставить: как будто исчезло последнее начальство в его сердце и пошло оно слоняться без директив. Наратор продолжал делать вид, что все так же обеспокоен судьбой выходящих в эфир слов. Но, как у профессиональной машинистки соскочит с правильной позиции всего один из десяти паль-

цев и уже выходит из-под ленты полная абракадабра, так и у Наратора, несмотря на видимость соблюдения служебного расписания, каждое появление на Иновещании заканчивалось полной белибердой. Во все это не вникал Наратор, излагая свои злоключения с юбилейным зонтиком, а лишь пожаловался, что начальство сделало ему последнее предупреждение и надо ждать увольнения.

«Не нравится мне все это», пробурчала грозно Циля Хароновна. «Кого же это они метят на ваше место? Вся эта тройная подмена зонтиков, труп албанца, а зонт ваш в Москве, и после этого мне будут говорить, что тут рука Москвы не моет рыбку в мутной проруби».

«Рука руку моет, а не рыбу, а если ловит, то не в мутной проруби, а в мутной воде», снова вставил свои поправки приехавший было доктор. Но Циля Хароновна сказала, что его, доктора, мнение будут спрашивать при вскрытии трупа, а советологию он пусть оставит ей, Циле, которая ее, советологию, испытала на собственной шкуре. «Ничего подозрительного вокруг себя не замечали?» попыталась она у Наратора.

Наратору в этой стране все казалось подозрительным, включая штепсели с розетками, а особенно вежливость соседей в его нынешней собесовской коммуналке; в Москве ведь сосед тебе прямо в глаза говорит, что пишет тебе в суп, и ты этот суп или не ешь, или ставь кастрюлю из кухни на ночь к себе под кровать; здесь же сосед тебе улыбается, через каждое слово при встрече «сеньку» тебе говорит, но под этой вежливостью скрыт все тот же коммуналный садист. Соседи явно завидовали комнате Наратора с выходом в каменный дворик, тюремного вида, но все же дворик, камни которого заросли разнообразными могучими сорняками, утешающими глаз не хуже роз. Соседи, у которых для зелени были в распоряжении одни подоконники, явно завидовали, как всякий англичанин, зоопарку растительности во дворике Наратора и для нанесения вредительства использовали сток для трубы со второго этажа. Сток переполнялся мыльной пеной, которая предназначалась для отравления обожаемых им сорняков и колючек. Если бы дело ограничивалось только глумлением над бедными изгнанниками английской флоры: соседи ведь и Наратора хотели уморить этими потоками мыльных смывок из ванны и сортира со всех трех этажей дома. Ведь сток прямо перед дверью из квартир-ки, и все мыльные сливки из ванны наверху мощным потоком разливаются по каменному дворику прямо перед дверью, и если соседи настырно наполняют ванну один за другим, то все эти потоки начинают просачиваться прямо в жилое помещение Наратора. При такой системе канализации надо соблюдать строгую очередность в принятии ванной, которая одна на всех земля обетованная, а не плескаться один за другим злоумышленно, пока сток не переполнится и мыльные воды устремлялись к Наратору. Каждое утро по субботам, в банный день, Наратор стоял на страже перед стоком и сливной трубой со щеткой с резиновой насадкой на конце и этой самодельной помпой откачивал ваннные помои в стоке, орудуя щеткой вверх и вниз, а соседи сверху высовывались и насмехались: «физзарядка!» Отлучаясь на работу, Наратор забивал щель под дверь в каменный дворик тряпками, но зимой от тряпок этих вовнутрь помещения исходил пар, по стенам начинали течь ручьи, как в бане, а по ночам стены покрывались изморозью. Наратор кашлял, сморкался в бумажные платки и грел над газовой конфоркой отсыревшие простыни.

«Бедный наш брат, русский эмигрант», слушая его, вздыхала Циля Хароновна. «Дело серьезно», вторил ей доктор. «Надо было водопроводчика вызвать». Но Наратор от злоумышленности соседей перешел к обвинению всей улицы в целом и возбужденно излагал про штучки-дрючки с переговорным телефончиком, который при каждом звонке в парадной верещит, верещит, спать не дает. Он среди ночи снимает переговорную трубку с рычага, а в трубке голос: «Убирайся в свой Бангладеш!». И где этот самый Бангладеш, не говорит, гад; убирайся и все; но ведь Наратор, он ведь из большой страны России, советской,

можно сказать, но все-таки держава, где двести всяких Бангладешей, о которых никто не слышал, могут уместиться, и еще Наратору место останется, при чем тут Бангладеш какой-то, и что он ему, Наратору, этот Бангладеш?

«Бангладеш — это Пакистан», стал объяснять Наратору доктор. «У вас ведь в доме, как вы упоминали, пакистанец проживает? Так это ему предлагали убираться на родину. Вам не надо было на звонки отвечать. Здесь пакистанцев не любят».

«У нас в доме сосед индеец. Единственный хороший человек: ванной вообще не пользуется. Он мне со штепселями дал совет», сказал Наратор.

«Индеец? Индейцев тоже не любят. Я не про вас говорю, а про англичан. А еще больше не любят французов. Их здесь, как и в России, называют лягушатниками».

«Опять вы, Иерарх, начинаете разводить колеса на турусах, когда дело идет о типично советских штучках. Голос был с акцентом?» вмешалась Циля Хароновна Бляфер. И Наратор подтвердил, что да, голос был с акцентом, может, и с албанским, может, и русским, а наверное и с бангладешским, в общем, с английским акцентом голос был, поскольку говорил не по-русски: Наратор ведь в акцентах не разбирается, а только в ударениях русского языка. Чем больше говорил все это Наратор, тем больше хмурилась Циля Хароновна, все глубже куталась в оренбургский платок и бормотала: «Все та же увертюра!»

«Те же самые штучки проделывали и с несчастным албанцем», говорила она, качая головой, как талмудист, догадавшийся до хитроумного библейского комментария. Одно к одному, через инфльтрацию Иновещания подготовили увольнение единственного борца за права чистоты русской речи (албанец тоже был знаток албанского), параллельно шантаж под видом нахальных соседей и угрозы по телефону, и дело тут не в пакистанцах, а в попытке советских органов обескровить Европу и избавиться от присутствия русских эмигрантов третьей волны как единственных осведомителей Запада о нынешних делишках советской власти и лапы Москвы за рубежом, сослать нас всех в Бангладеш, вот что им нужно, или проколоть, как редких ценных бабочек, отравленными зонтиками. Еще неизвестно, через какие руки пройдет этот подарочный зонтик Наратора, подозрительным образом попавший в Москву. И неясно, какими отравленными капсулами этот зонтик зарядят кремлевские мудрецы, а потом, насадив на этот зонтик очердного инаугуранта, дефектора, подбросят Наратору через соседей этот самый зонтик, и ходи потом оправдывайся, что твой зонтик до убийства успел побывать в руках Москвы.

«Куда, кстати, делся подсунутый вам взамен фальшивый зонтик, этот самый «ахматовский», как вы его изволили называть?» ухватилась за будущую улику не осуществленного еще преступления Циля Хароновна. Если Наратор и не слишком следовал за железной логикой госпожи Бляфер, то уж непривычную концентрацию внимания на собственной персоне он (привыкший проборматывать собственную жизнь про себя как некое даже не слово, а анонимный звук) переживал так, как будто этот самый звук, монотонно хрипевший под сурдинку глушилки, вдруг выбрался чудом на соседнюю волну и забил в уши всеми репродукторами. Он знал, что за ним следят, что его ищут в грохоте и хрипе эфира и вот, наконец, нашли, и теперь на нем лежит миссия изложить устно, а может, и письменно всю немоту и мотню унижения, неизвестно откуда ниспосланного, от сиротства ночей суворовского училища до затурканного в эфире неправильного ударения, в которое превратилась его нынешняя жизнь. И от того, что его, наконец, спрашивали напрямик, что же, собственно, с ним происходит, впервые за его сорокалетнюю жизнь до него докатилась, как затерявшееся эхо, простая и печальная мысль, что если ты не заговоришь сам, тебя никто не услышит: не скажешь — не услышат, не просто ли?! И он заметался на стуле в своем матросском бушлате, как в панцире, и захотел подтвердить лестную угрозу в эти вихри враждебные, реющие над его головой, приподымавшие его над этим стулом, городом и, может

быть, страной; потому что угроза шла извне, откуда-то из страны четырех букв, где в неведомом тереме, забытом Кремле, враги народа, то есть его, Наратора, точили зонтики зубами и наполняли памятный ему подарок сослуживцев смертельным ядом из страшного дерева анчар, растущего посреди Красной площади, забытой им и потому более зловещей. Он вскопчил со стула и тут же обнаружил, что, хотя в душе у него бушевал ураган мыслей, сказать он мог только: «обокрали, инаугуранты!» И невольно вторя Цилю Бляфер как единственной и первой, одолившей ему слова напрокат, Наратор стал ругать Джона Рида, который, по всему видно, агент Кремля, собрал толпу, чтобы на нас, дефекторах и невозвращенцах, тренировать англичан для будущей революции, и недаром выгнал Наратора с роли знаменосца: если бы отдали ему это знамя, он, Наратор, может быть, махая этим знаменем борьбы всех народов, развеял бы дурман провокационной демагогии и манипулирования цифрами вместо слов человеческих в устах вождей революции; но этот самый Джон Рид через своих подручных выкрал у Наратора единственное доказательство его реабилитации в борьбе с непогодами жизни — розовый зонтик со словами «Мне Голос был» некой Ахматовой: этот зонтик был распиской, что юбилейный зонтик обернется ядовитым концом в Лондоне, какой «жирант» представит он ихней, то есть тутошной разведке, что зонтик был в советской командировке, как правильно указала товарищ, извиняюсь, госпожа Циля Хароновна. И в этом заговоре все та же рука Москвы была в бочку затычкой, та самая рука, которая списывала собственные преступления на мертвые души, а теперь подписывает приказы о глушении «голосов»; та самая рука, что лишила его отца роли знаменосца, когда революция пошла другим путем, а отец в могилу.

«Ваш отец по какому процессу проходил?» деловито осведомилась Циля Хароновна, как родственник с родственником.

«Мой отец участвовал в процессе ликвидации безграмотности», гордо сообщил Наратор. «Создавал ликбезы от Наркомпроса для искоренения ятей на местах», и почувствовал, что сказал не то, потому что увидел на себе остекленевший взгляд старых эмигрантов.

«Ликбез! От Наркомпроса? Яти искоренял?» забормotal доктор, нервно расхаживая по комнате, потом повернулся к Цилю Хароновне: «И после этого вы мне будете говорить!» и плюхнулся в кресло хозяйки дома. Очередь расхаживать перешла к Цилю Хароновне. Она оправилась от известия о семейных связях Наратора со станом заклятых врагов так же быстро, как и от обморока при виде его матросской бескозырки.

«А вы что предполагали?», перешла она из растерянности в атаку. «Что он окажется плодом брака боярыни Морозовой с мистиком Гурджиевым?» Как раз то, что отец Наратора был отъявленным революционером и комиссаром, отравленным идеей искоренения ятей и ижиц во имя процветания советской фени, подспудно двигало Наратором, утверждала Циля, в его орфографическом и ударном рвении. Как ни старались вожди революции и их сподручные искоренить любовь к Богу и православию, занимаясь распространением «образованщины», еще не выродились окончательно герои русской исконной орфографии, и не в первом, так во втором поколении недалек тот час, когда поправная грамматика будет восстановлена. Может быть, ему, Наратору, не под силу возродить яти и ижицы, но он делает все от него зависящее, чтобы по крайней мере здесь, в рамках языковой изоляции, среди враждебного языкового окружения, охранять и лелеять вишневый сад, уцелевший на пепелище советских речевых норм. «Сыновья отвечают за грехи отцов», декларировала Циля Хароновна. «И в этом деле самоочищения сыновья объединяются против отцов с дедками», то есть, говорила Циля Хароновна, с ними, с ней самой и Иерархом Лидиным, между прочим, как носителями традиций, подорванных большевиками. Но доктор Лидин сказал, что он больше об этих ятях и ижицах слу-

шать не желает, что пусть могучий русский язык разбирается в своих корнях сам, а он, за годы тягостных раздумий о судьбах своей родины, давно стал писать по-английски, где никаких кровавых революций по отмене артикля «тхе» не происходило, и это его вполне устраивает. Циля Хароновна в ответ издала иронический смешок и сказала, что, конечно же, Лидин как всегда прячется в свой английский, как «кенгуру головой в песок», когда речь идет о принятии решительных практических шагов для предотвращения гибели соотечественника. «Ясно как полдень», говорила Циля Хароновна, «что чекисты точат зонтик на Наратора», поскольку Наратор для них, через своего отца, есть подрыв изнутри, и проходит все по тому же делу ликбеза и Наркомпроса, с которыми они давно расправились, поскольку раб сделал свое дело. А тут Наратор, «у кормила голоса, который слушают миллионы», бередит старые раны, в молчаливом подвиге пытается реабилитировать поправные его отцом нормы обращения с русским языком, и, конечно же, его надо устранить до умпомешательства подосланными соседями и угрозами по телефону, чтобы его упрятали в психушку, или же, подстроив увольнение через подставных людей, прикончить в темной аллее тем же, украденным у него самого, отравленным зонтом.

«Вы, Циля, обвиняете меня в филонудрии, а сами нагородите всяких шизо-фантазмов, а потом требуете от других, чтобы вас от них избавляли», проворчал доктор Лидин. «У человека украли зонтик, а вы со своей рукой Москвы доводите себя до сердечного припадка». Это окончательно вывело из себя Цилю Хароновну Бляфер. Не хочет ли сказать Лидин, что Октябрьская революция — это тоже «шизо-фантазмы?» И что ее, Цилю, в ходе этой революции не изнасиловали? что это ей просто померещилось? И не кажется ли ему неуместной ирония в связи с ее сердечным припадком при виде революционного матроса в собственной парадной? Она вообще приходит к выводу, что напрасно на протяжении пятидесяти лет считала Лидина ближайшим другом и соотечественником. Но у нее постепенно открываются глаза, только вот, к сожалению, когда глаза окончательно откроются, дальновзоркость помешает ей заглянуть ему прямо в очи и задать ему окончательный вопрос: кто вы, доктор Лидин? Не странно ли, что вот уже который десяток лет он без устали огород городит про крепостное право и искаженное византийством православие, опричнину и марксизм как вывернутое наизнанку христианство, но как только от этой самой византийской опричнины и ее выкормывшей близок к гибели наш брат русский эмигрант, Лидин «умывает руки в мутной воде» и начинает медитировать насчет персидских имамов и римских пап. Не странно ли, что именно тогда, когда рука Москвы лезет ей под юбку на улицах британской столицы, Лидин пускается в рассуждения про людоедство среди средневековых голландцев, а левацкие инсинуации списывает на счет эмигрантских склок в русской общине? Она, конечно, понимает, что годы прошли, и теперь она для него, просвещенного доктора-космополита, эмигрантская карта, машинистка русской службы и мешает ему блистать в английском салоне и поплевывать на российские недуги свысока. Но нечего из Наратора строить манию преследования, когда на руках все доказательства готовящейся расправы, точно такой же, как и в свое время с Наумом Герундием, которого на глазах у всех свели в могилу гебешники, а Лидин «даже пальцем не почесался». Тут доктор Лидин возмутился и заявил, что пусть Циля не мелет ерунду и не порет чепуху: Наума Герундия свели в могилу не гебешники, а эмигрантские интриги, которые довели его до инфаркта: точнее, он сам себя довел до инфаркта, убеждая себя и всех вокруг, что третья волна эмиграции, затопившая континент, пытается смыть его с британских островов, а он плавать не умеет. Если какие-то разъезды, прибывшие в свободный мир прямо с закрытого партийного собрания, пытаются перелицевать русскую мысль в донос, намекая на то, что Наум Герундий агент советских органов только потому, что он не имел

чести знаться с поэтами Державиным и Пушкиным, — значит нужно расплываться с русской мыслью вообще, а не устраивать из мелкой подлянки всемирный заговор Кремля. Конечно, сказала в ответ Циля Хароновна, для вскрытия трупов никакой особой русской мысли не требуется, но не надо делать из тех, для кого без России жизнь не в жизнь, шутов гороховых с манией прозекуции. Каково Науму Герундию было услышать, что все его тридцать лет иновещания по-русски были якобы службой в советских органах только потому, что он отказывался хвалить на всю Россию вирши Державина и Пушкина, как попугай петуха. А если даже Науму Герундию просто померещилось нечто нехорошее в эфире, но он от этого стал хватать инфаркт за инфарктом. Иерарху Лидину, выдававшему себя за его лучшего друга, уместно было публично встать на защиту оклеветанного, а не утверждать, что все это ерунда на кукурузном масле. Но Иерарху, понятно, это невыгодно, неприятно и утомительно: раздавать пощечины, подписывать письма протеста и, главное, перестать пожимать руку Державину и хлопать по плечу Пушкина; ему же хочется, чтобы все видели, какой он обаяшка и великий манипулятор — здесь и там, и везде и нигде, промеж суннитов и шиитов, и не лыком шит, а кругом все узколобые провинциалы, погрязли в эмигрантских склоках, а он парит, как английский орел, с одинокой поднявшись вершины. Если ему на Россию наплевать, пусть так и скажет и сидит себе в своем морге и анатомическом театре, где никаких афiliation не требуется: трупы в рукопожатии не нуждаются; если ты такой и не наш и не ваш, не лезь в каждую бочку затычкой; но ему, доктору, хочется и трепаться про миссию России и Россию мессии, и одновременно поплевать свысока на якобы эмигрантские склоки, глядя, как у него на глазах доводят до инфаркта людей его круга, от Герундия до Наратора.

«Я Герундия в Москве слушал. А приехал: нет его, говорят, один голос остался», вставил Наратор.

«Ты, Герундий, политическая сволота, в аптеку дорогу не найдешь и будешь здороваться с нами с другой стороны улицы стоя на коленях. Пушкин и Державин. Вот какие директивы он от них получал. И вам, между прочим, тоже показывал копию. Но вы, Лидин, как всегда увильнули от подписи под письмом протеста», гнула свою линию Циля.

«Так чего же на эти поэтические творения в рифму отвечать? Надо или в полицию идти или вызывать на дуэль!»

«Он и вызывал на дуэль. Только он предложил в качестве оружия — слово. И вы, Лидин, отказались быть его секундантом».

«В качестве оружия — слово?! То есть он к шпаге приравнял перо. К штыку — перо, чем же он отличается от советской власти-то?» По словам Лидина, Герундий сам, не без помощи Циля, приравнял эмигрантскую жизнь к советской власти и стал требовать от своего круга верности и преданности, приставая с вопросами, вроде «ты меня уважаешь?» А с какой стати он, Иерарх Лидин, должен его уважать? Нет, он его не уважает. Он самого себя не уважает, с какой стати он будет уважать Наума? Если бы еще Наум и иже с ними жили бы не иначе как согласовывая каждый свой шаг с каталогом собственных принципов; так нет ведь, живут исключениями из правил. А тогда нечего делить людей на рукопожабельных и нерукопожабельных. Нечего требовать от него, Иерарха, верности в непожимании руки тем людям, которых он плохо отличает от тех, в отношении кого надо соблюдать верность в пожимании руки. И нечего ему навязывать концепцию нравственности как солидарности с неким кругом, к которому он никогда себя не причислял. И ему обрыдло называть «любовью к России» солидарность с личностями, которых якобы затравили в кругах эмиграции: эти личности, во-первых, сами ведут себя не менее похабно, чем те, кто их травит, а во-вторых, солидарность им нужна исключительно для того, чтобы не оставаться наедине с самим собой, когда они не знают, куда себя деть, а если бы знали, увидели, что ничего им не угрожает, кроме взаимного хамства. И пока эта так назы-

ваемая «Россия» не перестанет постоянно заглядывать ему в глаза, испытывая на верность тому, что давно превратилось в фикцию, он эту Россию в гробу видал, и у него с этой Россией или, если хотите, эмиграцией, романа не получится. На все эти инсинуации в неверности он, Лидин, всегда цитирует де Голля, который сказал, что он не принадлежит никому и принадлежит всей Франции. На что Циля Хароновна заявила, задыхаясь от возмущения, что ей неизвестно, по какому поводу это сказал де Голль, но в устах Лидина это звучит как профессиональная декларация проститутки: всем и никому. И что если она, Циля, своим существованием свидетельствует о том, что Иерарх занимается не метафизикой, а проституцией, пусть он, Иерарх, ей об этом прямо и скажет. «Вам, Лидин, хочется, чтобы и овцы были сыты и два зайца целы. Я вас, Лидин, знаю как облупленного, и я вам этим мешаю: если вам хочется развязаться со мной, нечего совать де Голля в бочку затычкой».

«Вы, Циля, сбрендили», хлопал себя по колену доктор Лидин и нервно поправлял на шее бабочку, как будто она его душила. «Но вам не удастся вынудить меня на лояльность к вашей псевдо-России, приписывая мне якобы не-лояльность лично к вам». Наратору, третьему лишнему в этой перепалке и перепатетике, не понимавшему слов, было, однако, видно, что в бившемся оренбургском платке Циля Хароновны была тоска человека, которого предали, а в метавшейся черной бабочке доктора Наратор угадывал беспокойство уличенного в предательстве.

«Не любите вы меня больше, Иерарх», после долгой паузы сказала Циля Хароновна. Доктор Лидин раскрыл было рот, потом передумал, повернулся, снова забегал кругами по комнате и, наконец, склонившись над креслом, поцеловал Цилю Хароновну в лоб, похлопав ее по плечу и сказал:

«Чтобы доказать тебе обратное, я, Циля, беру на себя дело Наратора. Ты меня переубедила. Ижицы и яти. Канализационная труба. Подменный зонтик. Рука Москвы. Ты меня убедила», и достав телефонную книжку в переплете свиной кожи, стал пролистывать ее по алфавиту, набарматывая, «так-с, Скотланд-Ярд», и заложив нужную страницу пальцем, повернулся к Наратору: «Ну-с, молодой человек, назовите мне фамилию хомосапиенса, курировавшего вас в первые дни дефекторства. Пока Наратор кемарил на стуле, ночной дежурный Скотланд-Ярда поднял на ноги всех сотрудников спецотдела по отравленным зонтикам. Как для примирения поругавшихся олимпийских богов нужны были подвиги земных героев, так в ходе этой эмигрантской склоки Наратор из никому неизвестного корректора-дефектора за один вечер превратился в знамя борьбы за дело, единственный смысл которого состоял в том, что оно могло служить знаменем борьбы не важно с кем; Наратору оставалось немного — стать жертвой: воплотив в жизнь (то есть смерть) предписанный заранее подвиг. Этих героических последствий Наратор пока не осознавал, а лишь чувствовал прекрасную тяжесть в руках, уже сжимавших еще не видимое знамя — знамя, ставившее его в один, дотоле недоступный строй с доктором и машинисткой и с «героически пропавшим без вести» отцом, как говорилось в официальном извещении совинформбюро. Пускай отец бежал со своим знаменем по другую сторону фронта исторической грамматики: отец и сын бежали друг другу навстречу».

Он выбрался из квартиры под утро, поеживаясь от утренней изморози в пустынном вагоне первого лондонского поезда. Хотя русский разговор в гостинице, непривычный: путанный и злой: и заставлял его дрожать предчувствием тревожных перемен, состояние его ума можно было бы назвать скорее праздничным, более того, вагон казался чуть ли не свадебным экипажем: если бы с будущим можно было бы заключать и регистрировать супружеский союз. Может быть, маскарад висевшего на нем бушлата и лихо сидящая на макушке бескозырка сыграли свою роль, но глядя на свое отражение в мутном зеркале, Наратор впервые увидел себя со стороны, заячьей

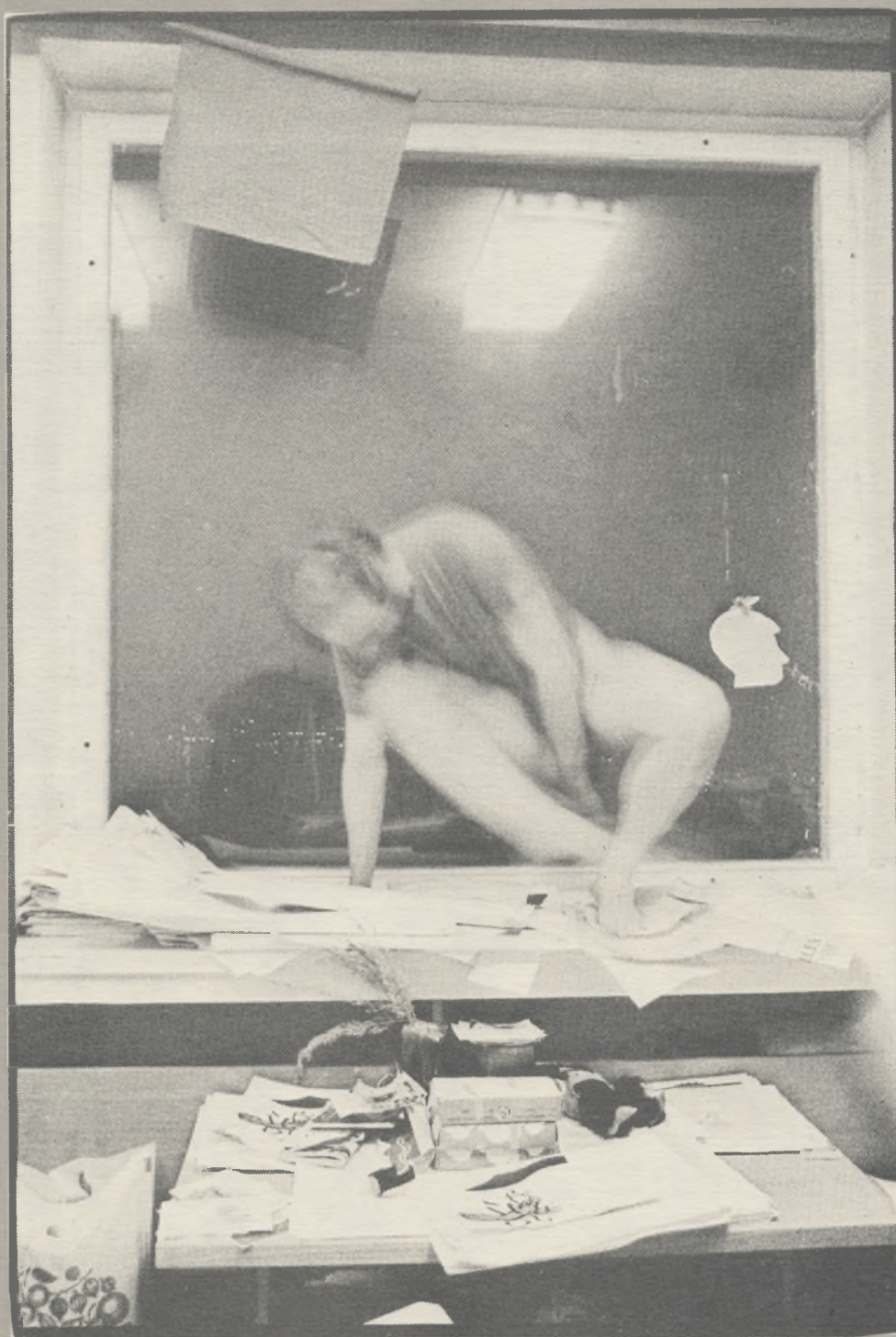
перспективой, достающей до затылка — увидел себя в округе, а не как раньше, когда глядел мимо изнутри. Он вглядывался и видел, что он уже не сам по себе, как вечно живущая раковина с эхом, запертым внутри, а имеет начало и конец, еще неведомый, но подводящий итог всему тому, что было в нем сначала. Ко всей прежней жизни и перебегу на здешнюю территорию, к пребыванию на здешних островах он относился как к некому изначально несчастному уделу, спущенному сверху, как директива с направлением в никуда, похожему на разбитую телегу, катящуюся со скрипом и скрежетом в далекий город, который никак не показывается; и вот вдруг ямщик, прикорнувшись на облучке, вздрагивает от неожиданной остановки. Все еще подросток в свои сорок лет, Наратор очнулся, узнав, что в этой сонной тряске по ухабам была миссия и даже подвиг: ставший его на одну ногу с отцом: который всегда был далеко и всегда был грозным взрослым, а теперь, как будто приравнявшись с ним в ранге, Наратор получал от него знания, и отец говорил: «Беги!», и показывал ему направление и вместе с тем конечную остановку: смерть. До подростка Наратора дошло, что она, смерть, вовсе не с большой героической буквы, а с маленькой, по плечу Наратору, что она коснется и его, и что он тоже смертен, даже если казался себе всю жизнь мертвым. Ямщик вздрагивает на облучке от неожиданной остановки, протирает глаза и видит, что телега встала на краю обрыва и лошадь прядет ушами и пощипывает траву. И ямщик впервые за долгую тряскую жизнь в полудреме вдруг различает с обрыва заученные гоголевским Селифаном из школьной хрестоматии — и скат небесный, и слободы, и изгиб реки с ивовым кустом, и как пастухи идут по лугу, и черно-пегие стада. Разные ямщики бывают: один, увидев такую картину, охнет, гакнет, хлестнет кнутом, гикнет на лошадь, потянет вожжи вскрутаря и снова выберется на проселочный тракт — вновь трястись на облучке изо дня в день, в полудреме понукая кобылу. Но бывают и другие ямщики: кто, взглянув на открывшуюся панораму, бросит вожжи, забудет про груз на телеге и пойдет, побежит к лугу, к реке и облакам, забыв раз и навсегда прежнюю жизнь. Наратор еще не решил, тот ли он ямщик или другой: он слышал пока что лишь хлопанье кнута, не подозревая, что это было хлопанье дверей остановившегося поезда, возвратившего его в Лондон.

«Уже будучи был неживым», нашептывал самому себе Наратор только что услышанные слова, стоя перед дверью столовой кантины Иновещания. Шепот его можно было услышать на расстоянии, но самому ему казалось, что существует невидимая глушилка, глушащая все звуки, которые он скрывает от всех, кроме себя самого. «Можно ли сказать, уже будучи был неживым?» спросил его с минуту назад Сева: когда Наратор торжественно прошествовал по коридору службы, спросил так, как будто действительно дорожил его мнением, переводя депешу про чужую смерть на другом конце света. Обращение к нему за грамматической консультацией со стороны презирающего сослуживца было для Наратора настолько невероятным, что он от неожиданности, вместо ответа, сказал Севе: «Спасибо». Тот поглядел на него внимательно и задумчиво, похлопал по-братски по плечу и предложил держать выше голову и отдавать себе отчет, что наша работа в эфире не зефир и не кефир, и что за железным занавесом шумит-гудит Гвадалкавивир. Наратор последовал было совету и задрал выше подбородок, вспомнив свою героическую миссию перед ушами всего мира невидимых слушателей, но тут как раз по коридору пронеслась вихлястая секретарша и, пуская пузыри жвачки, напомнила Наратору, что начальник русской службы Гвадалкавивир ожидает его у себя в кабинете ровно через сорок минут, вернув Наратора к мысли, что если кто-то на другом конце

света «уже будучи был неживым», то сам он, Наратор, скоро будет «уже будучи был уволенным». Намек же на зефир и эфир у Севы был аллюзией не на известное стихотворение Пушкина, а на фамилию начальника Иновещания американца восточных кровей мистера Гвадалкавивара. Ясно было, что через сорок минут дни Наратора на службе будучи будут сочтены, или подобное будучи быть сказанным по-русски не может, хотя и трудно поверить, что в таком могучем и свободном языке нету условного сослагательного будущего в прошедшем. «Уже будучи был находящимся в начале своего конца?» проверял на слух Наратор свой вопрос Гвадалкавивиру, когда тот подымется из-за своего стола, пожмет Наратору руку и объявит ему: «Можете быть свободным, не приходите завтра на сервис». Но куда ему на другой день будучи быть уходящим, куда?

Кантина, как всякая столовка, встречала неистребимым интернациональным запахом тряпки и котла, но еще и вечным электрическим светом: подвальное помещение было без окон, и посколку, передавая слова круглые сутки в эфир, охрипшие глотки требовали кофе и чая днем и ночью, свет здесь не выключался никогда, со времен закладки фундамента Иновещания. В этом никогда не меркнувшем свете было нечто от того света, с теми же лицами, что и наверху, только перекочевавшими в другой мир, и невозможно было утверждать с достоверностью, нет ли среди них еще и бывших сотрудников Иновещания, кто давно отошел в эфир и все еще продолжает вещать под кофе с чаем, выйдя на пенсию и даже будучи быть уволенным или неживым, но все так же проходящим по никелированному барьеру мимо котлов с кофе к кассе, день за днем, ночь за ночью, год за годом, где мертвому легко затеряться среди живых с мертвыми лицами, потому что тут важно не внешность, а голос, а голоса есть и у привидений. Пристроившись в эту похоронную процессию, Наратор донес до кассы черный кофе из котла с лимоном. Кассирша, глянув на темную жидкость с желтым околышком, спросила утвердительно: «Чай». Но Наратор сказал, что это не чай, а кофе, но с лимоном. Кассирша, из ортодоксальных абorigенов этого острова, никак не могла поверить: «Кофе? С лимоном? Уау! Это чай!» Нет, это кофе, но с лимоном; подобный спор с кассиршей происходил не в первый раз. «С лимоном нормальные люди пьют чай. Это чай». Наратор стал подробно, снисходительно и безграмотно втолковывать ей, что так пили кофе в России, даже в коммунистической России пьют кофе с лимоном, особенно после опохмела. «Коммунист!» захотела кассирша. Но Наратор своего инкогнито решил не раскрывать и кассирше не противоречить. «Дринк, дринк», объяснял он, «Россия, кофе, лимон». На кассиршу это не действовало, и она, упорствуя, взяла с него как за чай с лимоном, что, впрочем, было дешевле. Наратор утащил свой стаканчик в дальний конец, к углу за поворотом стены, по старой учрежденческой привычке прячась от глаз сослуживцев, что сейчас в связи с плохо понятой, но несомненно героической миссией, возложенной на него, приобретала дополнительный смысл. В спину дуло горячим воздухом: топили вовсю, как и во всех общественных местах, чтобы придя к себе домой и коченея без центрального отопления, человек сознавал, как дурно жить в одиночку и не ходить на службу: смысл службы был здесь первобытный — сгрудить всех вместе к одному костру, не дать разбрестись по холодным углам. В подтверждение этому Наратор обнаружил, что он в своем углу не один: по боку от него присел китаец, не обращая на Наратора никакого внимания. Часы над головой пропищали десять.

(Продолжение следует)



7.

Из цикла «Друг моих друзей...»

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

